

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

5

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

А. Мустайоки (Хельсинки). Разновидности русского языка: анализ и классификация	3
И.А. Виноградов (Москва). «Интерпретирующие» грамматические категории: к определению понятия	28
С.А. Крылов (Москва). Опыт изучения современного монгольского языка в количественном аспекте	46
Д.И. Эдельман (Москва). Еще раз о фонемном составе общеиранского праязыка (фонологический статус *l)	58
М.В. Шкапа (Москва). Клефт в ирландском языке: к типологии клефта и тетических предложений ..	89
Н.А. Ганина (Москва). Реликты готской апеллятивной лексики в латинских памятниках	106

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

М.А. Даниэль (Москва). <i>A.A. Kibrik. Reference in discourse. Oxford: Oxford university press, 2011</i>	118
Н.М. Стойнова (Москва). <i>J. Nørgård-Sørensen. Russian nominal semantics and morphology. Bloomington (Indiana): Slavica publishers, 2011</i>	125
Т.А. Майсак (Москва). <i>L. Johanson, M. Robbeets (eds). Copies versus cognates in bound morphology. Leiden: Brill, 2012</i>	130

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В.Б. Гулида (Санкт-Петербург). Конференция «“Народная лингвистика”: взгляд носителей языка на язык»	136
Д.Ф. Мищенко (Санкт-Петербург / Париж). IX Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей	144
Е.Г. Борисова (Москва). Международная конференция «Понимание в коммуникации. Человек в информационном пространстве»	150
Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, Е.Н. Никитина (Москва). XLIV Виноградовские чтения в МГУ	153
Ю.С. Капитанова (Москва). Виноградовские чтения 2013 г.	156

РЕДКОЛЛЕГИЯ

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), М.Д. Воейкова, Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, А.Ф. Журавлев, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), В.И. Подлесская, Е.В. Рахилина

Зав. отделами: *А.С. Кулева, М.М. Маковский, З.Ю. Петрова, М.В. Шкапа*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019 Москва, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

Интернет-сайт журнала находится по адресу:
www.ruslang.ru, см. раздел «Издания»

© 2013 г. А. МУСТАЙОКИ

РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА: АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Исходным пунктом статьи является известная статья Ю.Н. Караулова 1991 года «О состоянии русского языка современности», в которой излагается классификация форм и сфер существования русского языка. Цель настоящей статьи – постараться обновить идеи той работы, учтя развитие русского языка за последние 20 лет. За прошедшее время не только изменились само состояние, статус и употребление русского языка, но и накопилось немало новых исследований, посвященных разным вариантам русского языка. В новой классификации основное внимание уделяется целому ряду факторов, в частности, глубине владения языком (носитель – неноситель, носитель диалекта и т. д.), степени отличия конкретного варианта от стандартного языка, распространенности этого варианта в обществе, а также тому, какие характеристики имеет конкретная речевая ситуация.

Ключевые слова: языковая вариативность, варианты русского языка, разновидность, стандартный язык, нестандартный язык, узус, норма языка, носитель языка, неноситель языка

The starting point for the paper is the famous article by Ju.N. Karaulov from 1991 «On the state of the Russian language of our days», where a classification of the forms and spheres of existence of Russian was launched. The purpose of the present paper is to try to update the ideas expressed by Karaulov by taking into account the developments which have taken place in the Russian language and research on it during the last 20 years. In the new classification attention is paid, among others, to the following parameters: who, with respect to the Russian language, is the speaker (native/non-native, dialect speaker, etc.); what kind of characteristics the speech situation has; to what extent the variety differs from others; and how widespread it is in the society.

Keywords: linguistic variation, variants of Russian, variety, standard language, non-standard language, usus, language norm, native speaker, non-native speaker

Основой наших размышлений по поводу разновидностей русского языка служит известная работа Ю.Н. Караулова «О состоянии русского языка» [Караулов 1991]. Тогдашний директор Института русского языка АН СССР выделил восемь форм и сфер существования русского языка: 1) мертвый язык памятников письменности; 2) устный язык русских народных говоров, диалектный язык; 3) письменный язык литературы, прессы, государственной документации; 4) повседневный разговорный язык и просторечие; 5) научно-технический и профессиональный язык; 6) русский язык в машинной (электронно-вычислительной) среде; 7) неисконная русская речь; 8) язык русского зарубежья [Там же: 9]. Автор соединяет свою идею форм существования русского языка с теорией языковой личности. Согласно данной теории, язык репрезентируется тремя способами: текстовым, системным и сетевым (ассоциативно-вербальным) [Там же: 8–9].

Особая значимость работы Ю.Н. Караулова объясняется несколькими факторами. Престижный статус докладчика придал выдвинутым идеям программный характер. Текст, который был опубликован отдельной брошюрой, основывался на докладе Юрия Николаевича на конференции «Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики». Издание содержит, помимо доклада директора Института

русского языка АН СССР, материалы почтовой дискуссии, которые были присланы 18 известными лингвистами (в частности, Ю.Д. Апресяном, В.Г. Гаком, Е.А. Земской, В.В. Колесовым, О.Н. Трубачевым, Е.Н. Ширяевым). 20 лет тому назад предложенный список форм и сфер существования русского языка был достаточно оригинальным. Пророческим было выделение отдельных позиций для языка компьютерной сферы и языка зарубежья, т. е. тех, которые только позже стали предметом интенсивных научных исследований. Стоит также напомнить, что в 1990-е годы российское общество переживало один из переломных моментов своего существования.

Несмотря на большие заслуги Ю.Н. Караулова и перспективность его работы, она требует переосмысления. Это и является задачей настоящей статьи. Многие в русском языке изменилось за двадцать лет. Хотя сдвиги в статусе русского языка, в контингенте его пользователей, а также в формах его существования имеют черты, свойственные только русскому языку, верно и то, что он развивается не в изоляции от того, что происходит в других языках. Поэтому мы начинаем наши рассуждения с более общих вопросов.

ЭКСКУРС В ДРУГИЕ ЯЗЫКИ

Стимулом для появления новых научных идей часто бывает происходящее в других дисциплинах. Изучая развитие русского языка, особенно интересно посмотреть, какие вопросы актуальны в исследованиях английского языка. Несмотря на то, что это самый изученный язык в мире, наши знания о нем активно пополняются благодаря новым направлениям в его изучении. Положение английского как самого мощного мирового языка в истории человечества дало ученым повод поместить его в центр внимания как язык, употребляемый не носителями языка, а другими его пользователями. Так, изучение английского языка в качестве лингва франка (*English as a lingua franca*, ELF) стало самостоятельным направлением со своими конференциями и научными журналами.

Традиционно выделяются три основных типа английских языков [Kachru 1985]: 1) внутренний круг (*inner circle*) – в него входят страны, в которых английский язык является первым государственным языком, это США, Канада, Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия; 2) внешний круг (*outer circle*) – в него входят страны, в которых английский язык играет важную государственную роль (например, Индия, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Кения, Гана, ЮАР, Нигерия, Танзания); 3) расширяющийся круг (*expanding circle*) – в него входят страны, в которых английский язык широко употребляется как иностранный или как лингва франка; в современном мире это практически все остальные страны.

С точки зрения дискуссии по разновидностям русского языка интересно, как В.В. Кэчру характеризует роль разных типов английского при определении понятия **нормы языка**. По его мнению, расширяющийся круг, в отличие от других, является зависимым от нормы (*norm-dependent*), т. е. не играет собственной роли при кодификации норм английского языка. Такой подход принимается не всеми лингвистами. Верно, что у ELF нет родины, но из этого не следует, что он подчиняется нормам какого-то варианта английского языка. Наоборот, ELF развивается стихийно и без кодификаторских усилий, это самостоятельный и сравнительно независимый вариант английского языка. ELF – не «язык учащегося» (*learners' language*) или *interlanguage*, не достигший совершенства, а полноценное средство коммуникации, на котором миллионы людей свободно общаются во всех уголках земного шара; см., например, [Dewey 2009: 78–81]. Эффективность лингва франка подтверждается наличием небольшого количества коммуникативных неудач при общении на данной разновидности языка [House 2003; Maunanen 2006; Мустайоки 2011].

Другая тема, которая широко обсуждается в англистике, это вопрос о том, кому «принадлежит» английский язык. Ученые употребляют в этом контексте слово **ownership** (см., например, [Higgins 2003]), которое в данном значении трудно перевести на русский язык: ближе всего, наверное, вариант «собственность на язык». Сущность этих рассуждений заключается в определении того, кто имеет право решать, как надо

говорить по-английски. Наличие разных более или менее признанных национальных вариантов уже давно создало ситуацию, где немыслимо, чтобы жители Калькутты или Сиднея спрашивали у англичан или американцев, какую норму им следует соблюдать. Из-за быстрого распространения ELF и стремления к максимальному достижению целей общения среди неносителей английского языка возросла тенденция не уважать нормы языка, созданные в Британии или США. Хотя такой подход редко выражается открыто, на практике основная масса людей, говорящих на ELF, все меньше заботится о том, в какой мере их речь напоминает речь нормированную, предложенную кодификаторами английского языка. Достижение коммуникативных результатов «выигрывает» у стремления говорить правильно, т.е. происходит активная ориентация на взаимопонимание и практическое игнорирование нормы, см., например, [Hülmbauer 2009].

За таким подходом стоит идеологический постулат, который предписывает: важно не то, как мы говорим, а то, понимаем ли мы друг друга. Такая позиция оправдывается тем, что, благодаря своей простоте и направленности на понимание, речь на ELF считается ее пользователями более доступным средством общения, чем речь носителей английского языка [Firth, Wagner 1997; Hülmbauer 2009]. В этой связи стоит напомнить, что ориентированный на успешную коммуникацию подход, игнорирующий нормативность языка, является ингерентным, природным свойством общения между людьми. Собственно говоря, потребность во всеобщем нормированном языке в исторической перспективе – весьма новое явление, возникшее вместе с идеей национальных государств (nation-state) [Taylor 1990; Gal, Irvine 1995].

Также необходимо отметить один важный аспект, который встречается в научном дискурсе по поводу ролей языков, особенно английского, в современном мире. Это рассмотрение языка как предмета потребления. Рост такого интереса к коммуникативным способностям людей характеризуется термином «commodification of language» [Cameron 2005; Duchêne 2009; Heller 2010], под которым понимается первостепенность языка для осуществления таких форм экономической деятельности, как туризм, маркетинг и работа международных предприятий. А. Павленко [Pavlenko 2012] подчеркивает, что новый рост изучения русского языка в ряде стран объясняется этим же утилитарным фактором.

О статусе вариантов разных языков всюду ведутся большие споры. Иногда практические решения раскрывают реальную ситуацию более наглядно, чем какие-либо теоретические дискуссии. Так, в памяти компьютера, на котором написан этот текст, можно найти больше одного автоматического корректора текстов (спелл-чекера) по многим языкам. Вот некоторые примеры: по арабскому языку – 16, по английскому – 19, по французскому – 15, по немецкому – 5 и по испанскому – 22¹. Поскольку речь идет о коммерческом продукте, для выделения отдельного варианта требуется достаточно большое количество пользователей данной услуги при относительной устойчивости выделенной нормы в рамках означенного государства. Спелл-чекер предназначен в первую очередь для выявления опечаток и ошибок в орфографии и выборе слов, поэтому данный «метод» определения степени вариативности какого-либо языка отражает только эту сторону употребления языка.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, ДЕСТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОСЛАБЛЕНИЕ НОРМАТИВНОСТИ

Рост вариативности разных языков и возникновение ELF как самостоятельного варианта английского языка являются реализацией более общей тенденции в современном обществе, явления, которое британский социолог Антони Гидденс охарактеризо-

¹ Шведский язык тоже существует в двух самостоятельных вариантах, один из которых имеет статус титульного языка (в Швеции), другой – статус официального государственного языка (в Финляндии) [Thelander 2011; Östman, Mattfolk 2011]. В Норвегии наблюдается особая ситуация с двумя официальными норвежскими языками (nynorsk, bokmål) и живыми диалектами [Sandøy 2011].

вал термином «демократизация демократии» [Giddens 2000]. Данный процесс носит глобальный характер, хотя форма и глубина процесса разнятся. То, что происходит в России, отличается от того, что мы видим в Финляндии или в Египте, но направление одинаково – активизация роли широких масс, вследствие чего голос народа звучит все громче. Не только в тоталитарных странах, но и в странах, где наличествуют устойчивые формы демократического общества со свободными выборами, народ стал требовать, чтобы политическая и экономическая элита прислушалась к потребностям рядовых граждан. Интернет оказался мощным инструментом в распространении общественного мнения.

Что же это означает для языка? Чтобы ответить на такой вопрос, нужно сначала коротко коснуться сущности стандартизации и нормализации языка. Можно задать вопрос, влияют ли эти меры на демократию. Ответить можно двояко. С одной стороны, влияют, поскольку нормированный язык дает возможность всем говорить на «правильном», признанном языке. С другой стороны, кодифицированный язык убавляет демократию, поскольку за нормой всегда стоит элита, для которой регулирование правил языка является одним из способов диктовать свою волю широким слоям населения. Авторы вводной статьи к книге «Standard languages and language standards in a changing Europe» [Coupland, Kristiansen 2011] обсуждают этот вопрос на основе ряда социологических и социолингвистических теорий. Ученые, изучавшие соответствующие процессы в разных странах, различают два типа ослабления нормы: дестандартизацию и «демотизацию» (demotisation, Demotizierung), т. е. подъем более «низкого» варианта языка до более «высокого», переоценку ценностей в иерархии языковых разновидностей, связанную, в частности, с использованием новых стандартов в СМИ. В первом случае единые языковые стандарты постепенно теряют свое значение, а вместо них появляется множество способов говорения. Во втором происходит смена стандарта: официальная книжная речь вытесняется речью, содержащей элементы более низкого стиля или разновидности [Auer, Spiekermann 2011].

Нам кажется, что стандартизация действительно имеет эти две стороны, доля и значимость которых варьируются в зависимости от общественной и языковой ситуации рассматриваемой страны. Хотя каждый случай уникален, в данном процессе можно отметить некоторые достаточно регулярные и очевидные черты.

1. Создание и кодификация общенациональной нормы языка являются признаком любого современного независимого государства. Как показывает пример бывших республик Югославии, свой национальный язык является одним из самых существенных символов молодого государства². Это до такой степени важно, что если для развития национального языка нет естественных путей, он должен быть создан искусственным способом.

2. Если не имеет места официальное регулирование норм языка, носители языка стихийно и неосознанно создают общие варианты употребления языка, которые постепенно, по крайней мере частично, признаются данным коллективом.

3. Кроме единой общей нормы, существующей в каком-либо языковом сообществе, для разных социальных групп создаются варианты нормы, которым члены этих сообществ в общении между собой добровольно подчиняются.

4. Нормы иногда вызывают протесты у людей, не желающих или, в силу тех или иных причин, не способных подчиняться правилам сверху. Одним из проявлений такого рода непокорности можно считать создание разных арго, сленгов и других ненормативных разновидностей языка, отражающих отношение «не кто-то посторонний предписывает, как нам говорить, а мы сами определяем наши собственные нормы». Тем самым

² Свой титульный язык важен, несмотря на то что все новые государства по составу жителей – многонациональные и многокультурные. Возможно, именно данное обстоятельство увеличивает потребность в создании своего национального языка. Интересные рассуждения о значимости разных факторов для гражданской и государственной идентичности можно найти в работе [Сулейменова 2010].

создание своего языка служит эффективным средством выстраивания границы группы: «мы» – это те, кто вот так говорит.

5. Во всех современных обществах происходит процесс «онароднивания» (vernacularisation) языка: официальный, видимый всем язык становится менее официальным³. Особенно ярко это проявляется в массмедиа. Не только в устные формы, но и в письменные жанры СМИ проникают элементы разговорной речи. Содержание СМИ уходит все дальше от чистой передачи информации, приобретая развлекательный характер. Другое проявление толерантности к ненормированному языку заметно на телевидении, когда выступают люди, по-разному владеющие родным или иностранными языками. Одним из ярких примеров свободы выражения служит речь лидеров государств и других персон мирового уровня, публично выступающих на ломаном английском языке.

Эти общемировые тенденции затронули также и положение русского языка в России и мире.

ИЗМЕНЕНИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ И СТАТУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В последние годы в русском языке происходят заметные изменения. Они касаются всех уровней языковой системы: от фонетики и лексики до морфологии и синтаксиса. Отчасти мы имеем дело с тенденциями, которые проявляются спорадически и в речи не всех носителей языка, отчасти изменения охватывают все сферы функционирования языка. Эти процессы подробно описаны в книге «Русский язык конца XX столетия»; ср. также [Юдина 2010: 85–141].

Нас интересуют не конкретные изменения, происходящие в русском языке, а процесс в целом. Начнем обсуждение вопроса с «размывания стандарта» употребления языка, о котором шла речь выше. Данное явление носит в России более масштабный характер, чем в других странах, ср. [Коньков и др. 2004: 77–78]. Двадцать лет тому назад произошел коренной перелом, когда после десятилетий жестко регламентированной публичной речи, доминировавшей в советское время, любой носитель языка смог участвовать в живой дискуссии на телевидении или написать в газету или журнал.

М.В. Панов отмечает, что еще во время перестройки языковая норма утратила свое былое значение, однако более радикальные изменения в пространстве массмедиа начались только в 1990-е гг. [Панов 1988]. Эти процессы не прошли мимо внимания российских ученых. Согласно Л.П. Крысину, за этими изменениями стоят разные социальные причины, а именно, «демократизация русского общества, деидеологизация многих сфер человеческой деятельности, антитоталитарные тенденции, снятие разного рода запретов и ограничений в политической и социальной жизни, “открытость” к веяниям с Запада в области экономики, политики, культуры и др.» [Крысин 2000: 63–91]⁴.

В ряде работ при рассмотрении современного состояния русского языка авторы прибегают к оценочно-окрашенным выражениям. Вместо изменений и развития русского языка говорится о его **кризисе**. Вместо аналитического взгляда на демократизацию языка пишется о крайнем ее проявлении в виде **лингвистического нигилизма**. Опасным считается распространение **лингвистического утилитаризма**, при котором язык может эффективно решать только практические задачи коммуникантов. Отмечается тенденция к **семантическому примитивизму**, к распространению брутально-грубой лексики (см. обзор таких взглядов в [Юдина 2010: 9–16]). Действительно, положение русского языка волнует многих лингвистов. М. Кронгауз заканчивает свою книгу

³ Н.Б. Мечковская, изучая историю демократизации языков, употребляет яркие термины: «Процессам демократизации языков предшествовало культурное двуязычие – столетия социально-языкового апартеида» [Мечковская 2006: 131], «тупики языковой элитарности» [Там же: 135], ср. также [Майданова 2000].

⁴ Ср. также другие описания изменений в современном русском языке в [Норман 1998; Ryazanova-Clarke, Wade 1999: 308–339].

«Русский язык на грани нервного срыва» утешением: переживает и нервничает не русский язык, а его носители [Кронгауз 2009: 215]⁵.

У Е.А. Земской, одного из самых авторитетных исследователей русской устной речи, более спокойное отношение к изменениям в употреблении языка. Она видит следующие сдвиги в социо- и прагмалингвистическом пространстве России: 1) расширение состава участников массовой и коллективной коммуникации; 2) ослабление цензуры и автоцензуры; 3) рост личностного начала в речи, диалогичность общения; 4) расширение сферы устной спонтанной речи в ситуации личного и публичного общения [Земская 1996: 9–14]. Суммируя разные тенденции, Е.А. Земская считает основным проявлением демократизации языка размывание границ между неофициальным личным и официальным публичным общением. В этом отношении ситуация в России соответствует тем глобальным процессам, которые происходят практически везде в мире. Разница только в скорости этих изменений. То, чем Россия отличается от западных стран, – это отвлечение к сугубо бюрократическому стилю, который был распространен в советское время, и интерес к некоторым языковым явлениям прошлого, отвергнутым в качестве нормы в эпоху тоталитаризма.

Говоря о демократизации русского языка, нельзя оставить без внимания Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», поскольку одним из самых важных поводов для составления Закона была потребность очистить русский язык от вредного иностранного влияния и от других нежелательных черт⁶. В целом Закон можно истолковать как попытку усилить меры по стандартизации языка. Многие ученые считают достижение таких целей путем языковой законодательной политики невозможным. Один из критиков Закона Н.Д. Голев обвиняет в низкой языковой культуре российскую школьную традицию преподавания родного языка, в которой «правильность абсолютизируется, догматизируется, сакрализуется» и в которой грамотность отождествляется со знанием орфографии и пунктуации [Голев 2009: 387–389].

За 20 лет после выхода работы Ю.Н. Караулова изменились также статус русского языка и контингент его пользователей. В советское время русский язык широко употреблялся как язык-посредник в общении между носителями разных языков как в официальных сферах, так и в личных контактах. В этом отношении Советский Союз представлял собой единое языковое пространство, в котором у русского языка был бесспорный приоритет в качестве общего языка, обеспечивающего общение между людьми с разными родными языками. При учете охвата русским языком широкого географического пространства и систематического его употребления этот семидесятилетний период можно считать его значительным триумфом.

К тому же русский язык изучался как обязательный вне Советского Союза в странах Восточной Европы. Это не всегда приводило к подлинному владению языком, но и в худшем случае давало учащимся элементарные знания о нем. В других странах русский язык пользовался умеренной популярностью. В то время русский язык получил также официальный статус в некоторых международных организациях.

После распада Советского Союза положение русского языка и контингент его пользователей претерпели радикальные изменения. Существуют разные данные о количестве носителей русского языка и людей, владеющих данным языком⁷. В ходе

⁵ Дискуссия о «порче» языка и противоборствующих сторонах в ней описана в [Wingender et al. 2010], а мнения рядовых носителей в [Vanhalala-Aniszewski 2010].

⁶ Процессу создания Закона о русском языке как государственном, его содержанию посвящено немало исследований (см. обзор в [Юдина 2010: 26–55]). Кроме дискуссии вокруг Закона, рассматриваются также меры поддержки русского языка, такие как Год русского языка, целевые программы и др.

⁷ Данные о числе носителей русского языка и говорящих на нем в странах СНГ и Балтии даются, в частности, в [Лазутова 2010; Орешкина 2010]. Сведения по всему миру представлены, например, в [Mustajoki 2010]. Вследствие отсутствия достоверных источников приводимые разными авторами цифры сильно варьируются.

исторического процесса носителей русского языка сейчас оказалось намного больше за пределами России, чем их было за пределами Советского Союза. Носителей русского языка в некоторых странах уже такое количество, что они имеют определенный политический вес (особенно в Израиле). В рамках ЕС русскоговорящих достаточно много, и растет волна требований придать языку статус миноритарного. Особенно интересна судьба русского языка в странах СНГ и Балтии, в каждой из которых его статус определен по-своему⁸.

Данные о количестве русскоговорящих и сведения об официальном положении русского языка интересны и важны, однако не менее важно отметить изменение роли русского языка на уровне его практического употребления. Когда латыши и украинцы говорили между собой в советское время, русский язык был вполне естественным при выборе языка для общения, поскольку контакты были неизбежны и другого общего средства общения не имелось. Русский язык служил, как в то время говорили, языком межнационального общения и языком-посредником между представителями разных языков и этносов Советского Союза.

Ситуация совсем иная, когда эти же носители латышского и украинского языков встречаются на стройке в Ирландии и общаются там между собой на русском языке [Mustajoki 2010: 37]. По сравнению с ситуацией в Советском Союзе изменились три вещи: 1) выбор русского языка перестал быть автоматическим, ведь они могли бы говорить также на (ломаном) английском языке; 2) русский язык лишен для собеседников всякой политической окраски, а является просто самым удобным для них средством коммуникации; 3) языковая среда вокруг нерусская, вследствие чего поблизости нет носителей языка, контролирующих его употребление⁹. Второе и третье положения образуют хорошую почву для коммуникативно-ориентированного употребления языка без необходимости следовать каким-либо нормативным рекомендациям говорить «правильно». Другими словами, создается типичная для лингва франка ситуация, о которой упоминалось ранее.

Соответствующие ситуации наблюдаются также внутри России. Когда носители разных языков Дагестана употребляют русский язык в общении между собой, мы имеем дело с русским языком как лингва франка, достаточно сильно отличающимся от русского языка москвичей¹⁰.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 20 ЛЕТ

В обсуждавшейся нами работе Ю.Н. Караулов обращает внимание также на односторонность научного интереса к русскому языку: «...этим текущим языком общества русистика, да, пожалуй, и лингвистика в целом, никогда по-настоящему не занималась <...> мы привыкли ориентироваться на мэтров языка, на авторитеты, и старались избегать “отрицательного” языкового материала. Обыкновенный native speaker, своеобразный “речевой миноритет” <...> никогда не был предметом нашего исследовательского интереса» [Караулов 1991: 4]. Автор справедливо констатирует, что из живых устных

⁸ Положение русского языка в бывших советских республиках обсуждается, в частности, в [Pavlenko 2008a; 2008b; Лазутова 2010; Орешкина 2010]. В работе [Pavlenko 2011] рассматривается положение русского языка в ряде стран с точки зрения языковых прав.

⁹ В.Н. Белоусов отмечает по этому поводу, очевидно, с легким сарказмом: «...если два десятилетия тому назад русский язык употреблялся в качестве средства межнационального общения в одной стране, то сейчас – в нескольких» [Белоусов 2010: 222].

¹⁰ Языковая ситуация в Дагестане описывается, в частности, в работе [Daniel et al. 2010]. Дагестан – интересный пример потому, что там число носителей русского языка меньше 5%. В связи с этим его главная роль – служить в качестве языка-посредника. Иное положение у русского языка в Татарстане, где носителей русского языка почти 40%. Там налицо типичный случай несимметричного двуязычия: почти все татары говорят по-русски, а из русских мало кто говорит по-татарски [Байрамова 2001; Wingender 2003; Горячева 2010].

форм лингвисты долгое время интересовались исключительно диалектами. Сейчас, 20 лет спустя, можно задаться вопросом: изменилась ли ситуация в этом отношении?

Перед тем как ответить на поставленный вопрос, коснемся коротко дискуссии по поводу данной проблематики в западной лингвистике. Шведский лингвист П. Линелл не устает говорить о том, что в лингвистике существует определенный дисбаланс статусов устной и письменной форм языка (см., например, [Linell 1998; 2009; 2012]). Он вместе с другими учеными (см., например, [Mařková 1982]) ввел понятие «диалогизм» для того, чтобы подчеркнуть первостепенность устного общения среди разных форм существования языка. Идея, конечно, не нова. Как известно, диалогическое начало языка является одним из основных постулатов философии языка М.М. Бахтина, который считал устный диалог первичным жанром человеческой речи. То, что данное утверждение имеет давнюю историю, не делает его менее оправданным или менее веским. П. Линелл прав в том, что грамматики, словари и другие общие описания языка по-прежнему основываются на письменной форме, хотя устная разновидность является собственно родным языком всех людей; ср. [Земская 1987: 4]. С письменным вариантом мы знакомимся позже как со своего рода вторым языком, который выучивается более целеустремленно и менее стихийно, чем устный язык.

Что касается русистики, устная форма языка изучалась более систематически начиная с классических работ Е.А. Земской, О.А. Лаптевой и О.Б. Сиротининой. Если рассмотреть русистику в целом, то создается впечатление, что устная диалогическая речь до сих пор маргинальна, служит дополнением к научному мейнстриму. Так, грамматики и словари по определению отражают главным образом письменный язык. В этом отношении ситуация с русским языком не отличается от описания многих других «больших» языков. Исключение составляют языки, не имеющие письменности и своих исследователей – носителей языка.

Для русистики в течение последних двадцати лет характерно накопление исследований, предметом которых является какая-либо нестандартная разновидность русского языка. В частности, рассматривался язык диаспоры ([Протасова 1998; 2004; Земская 2000; 2001; Гловинская 2001; Голубева-Монаткина 2004а; 2004б; Ždanova 2007] и др.), разные формы языка Интернета [Асмус 2005; Горошко 2007; Какорина 2010], редуцированный язык в общении с иностранцами [Федорова 2002] и с детьми [Димитрова 2000; Гаврилова 2002], язык детей [Цейтлин 2000], язык староверов [Касаткин и др. 2000; Кюльмоя 2000; Синочкина 2004]¹¹, русские пиджины [Перехвальская 2008] и т. п. В центре внимания ряда работ [Китайгородская, Розанова 1999; 2010] стоит язык города. Кафедра русского языка Хельсинкского университета активно участвует в изучении нестандартных форм русского языка. Издано два сборника, посвященных данной тематике: «Русскоязычный человек в иноязычном окружении» [Мустайоки, Протасова 2004] и «Instrumentarium of linguistics: Sociolinguistic approaches to non-standard Russian» [Mustajoki et al. 2010]. В сборнике [Языки соседей 2011] опубликована часть результатов совместного финляндско-русского проекта «Русский и финский языки как лингва франка». Ожидаются дальнейшие публикации.

Вторая быстро развивающаяся область русистики – это корпусная лингвистика (обзоры корпусов и исследования, основывающиеся на них, см. в [Корпусные исследования 2009; Mustajoki et al. 2010]). И здесь преобладающая масса данных основана на письменной речи, но есть и материалы устной речи, количество которых постепенно растет. Расшифровки устной речи входят в Национальный корпус русского языка, есть отдельные корпуса, посвященные устной речи, например [Кибрик, Подлеская 2009]. Появляются новые материалы устной речи в письменной форме; например, серия публикаций [Живая речь уральского города 1988; 1995; 2011; Языковой облик уральского города 1990] и др. Составляя корпуса устной речи современных горожан, петербургские лингвисты видят возможность реализовать идею Б.А. Ларина [Ларин

¹¹ С.Е. Никитина рассматривает в своей работе [Никитина 2001] не только язык староверов, но и язык других русских конфессиональных групп США.

1928а; 1928б] об изучении «многодиалектности» и вообще о многообразии речи людей [Богданова и др. 2009]. Особенно интересным кажется проект «Один речевой день», охватывающий на нынешнем этапе записи реальной речи 50 человек в течение одного дня; см., например, [Sherstinova 2010]. Наличие корпусов нестандартных устных форм русского языка непременно будет оказывать положительное влияние на исследование устной русской речи.

«СИСТЕМА», «НОРМА», «УЗУС», «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК», «СТАНДАРТНЫЙ ЯЗЫК»

Как известно, в лингвистике нет единогласия в понимании многих основных терминов. Коротко остановимся на их определении. Сначала коснемся взаимоотношения терминов «норма» и «узус» и того, как выбор объекта исследования влияет на методологию изучения языка.

Мы придерживаемся триады «система» – «норма» – «узус», выдвинутой в работах Э. Косериу [Coseriu 1962; 1967], которая, на наш взгляд, более адекватно отражает сущность языка, чем дихотомии «langue – parole» де Соссюра и «competence – performance» Хомского. Основная идея разграничения понятий по Э. Косериу заключается в следующем: **система** является потенциалом языка, **норма** – это то, что носители языка считают правильным, **узус** представляет собой обобщение языкового материала, речевую привычку, то, как люди говорят и пишут. Объясним сущность этих терминов с помощью простых примеров; см. более подробно [Мустайоки 1988]. Словоформа *солдатов образована согласно системе русского языка, но противоречит норме; она не встречается в узусе взрослых образованных носителей русского языка, но иногда встречается в речи детей и иностранцев, а также в просторечии. Слово *РКИшник* (*эркашник*) тоже образовано согласно системе русского языка, официальная норма его не принимает (и словари не фиксируют), в узусе, особенно в устной речи профессионалов (специалистов по РКИ), оно встречается часто.

Можно выделить существование разных норм в зависимости от того, кто их определяет. Во-первых, **кодифицированная официальная норма** (КодН) – это тот русский язык, который фиксируется в грамматиках и нормативных словарях русского языка, язык, которому обучаются в российских школах¹². Эту норму определяют кодификаторы языка; другими словами, это то, что они считают правильным и рекомендуемым. Определяя официальную норму, кодификаторы опираются на разные объективные критерии, в частности, языковую традицию, исторические процессы, протекающие в языке, закономерности, которые характеризуют эти процессы, и т. д. [Современный русский язык 2010]. Поскольку всегда существуют противоречивые критерии определения нормы, данный процесс не может не отражать и субъективные решения кодификаторов. Строго говоря, КодН представляет собой идеал языка, на котором фактически никто не говорит. Во-вторых, выделяется **коллективная норма** – то, что языковой коллектив считает правильным. В-третьих, можно также выделить **ситуативную норму**, поскольку норма ситуативно обусловлена: то, что можно в одной ситуации, запрещено в другой. См. подробнее в [Мустайоки 1988].

Поскольку все разновидности нормы основываются на интуитивном представлении людей о правильности той или иной языковой единицы, прямым способом выявления нормы является обращение к носителям языка с таким вопросом. То, как люди говорят (узус), являет собой только косвенное представление о норме. Такой принципиальный методологический подход важен по двум причинам. Во-первых, люди могут сознательно отклониться от своей собственной или коллективной нормы, например, в целях придания своей речи большего колорита. Во-вторых, люди иногда неосознанно отклоняются от нормы, например, из-за усталости, небрежности или недостаточной

¹² В российской лингвистической традиции иногда употребляются также термины «национальный язык» и «общенародный язык» (см. рассуждения об этом в [Крючкова 2010: 65–66]).

концентрации внимания. Как правило, люди плохо осведомлены о том, как они говорят. Общеупотребительный язык, своего рода коллективный (иногда и официальный) узус мы называем **стандартным языком**. Ниже мы более подробно покажем, что он имеет две разновидности, устную и письменную¹³.

Термин «кодифицированная официальная норма» требует дальнейшего уточнения. Его определение соответствует в общих чертах тому, что принято в российской лингвистической традиции называть «литературным языком». Хотя обычно подчеркивается, что под литературным языком понимается не язык художественной литературы, при определении литературной нормы долго опирались на авторитет языка признанных писателей. С точки зрения обсуждения разницы между нормой и узусом парадоксальным можно считать то, что образцом для кодификации нормы служил язык Пушкина и других знаменитых писателей, то есть узус, или то, как они писали. В современной России ситуация в этом отношении совсем другая, чем была раньше, и связь кодификации языка с художественной литературой уже не прямая. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, в современном мире Пушкиных и Толстых уже нет. Во-вторых, обстановка и потребности кодификаторской работы сильно изменились. В XIX веке нужда в создании литературной нормы была очевидна, а, как было сказано выше, наше время идет в другом направлении: носители языка ищут способы освободиться от оков языковой нормы.

Требуют обсуждения также и причины потребности кодификации языка. Ю.А. Бельчиков, ссылаясь на слова Л.В. Щербы [Щерба 1957: 117], выражает распространенное мнение, согласно которому требование абсолютного подчинения носителей литературного языка кодифицированным нормам связано с тем, что главное назначение литературного языка – «быть всем понятным» [Бельчиков 2003: 181]. Как показывает наша ежедневная практика, соблюдение литературных норм не обязательно делает текст более доступным, чем отклонение от них. Газетные тексты советского времени были не более понятными основной массе, чем тексты современных газет, хотя в них литературная норма соблюдалась более последовательно по сравнению с нынешней ситуацией. Другой более конкретный пример. Когда финский проводник поезда «Allegro» на границе России и Финляндии говорит русскому пассажиру: «Покажите ваши билеты и паспорта», – все абсолютно понятно, несмотря на ненормативность высказывания.

Нельзя отрицать того, что в определенных условиях создание общей литературной нормы делает общение между представителями определенного социума возможным или, по крайней мере, облегчает его. Такова ситуация, например, в Китае, где местные диалекты разошлись настолько, что их носители уже не понимают друг друга. Из этого, однако, не следует, что при всех условиях целесообразно придерживаться литературного языка, сильно отличающегося от того, как люди говорят и пишут.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ю.Н. Караулов, представляя свой список форм существования русского языка, осознавал его несистемный характер: «Единственно, что я могу сказать в оправдание, так это то, что я не претендовал на построение логически строгой классификационной шкалы, а, стремясь к полноте охвата сфер и форм существования русского языка, вы-

¹³ См. рассуждения по поводу термина «стандартный язык» в [Германова 2002; Крючкова 2010: 73–74]. Отметим, что наше толкование стандартного языка отличается от того, что предлагается З. Кёстер-Тома. Автор, ссылаясь на работы Пражского лингвистического кружка и Л. Блумфильда, выделяет три уровня существования языка: **стандарт**, **субстандарт** и **нонстандарт**. Для нее разговорная речь носителей литературного языка представляет собой субстандарт, а просторечие, сленг, жаргоны, а также употребление матерной лексики принадлежит к нонстандарту [Кёстер-Тома 1993]. Такая терминология возможна, но, на наш взгляд, лучше говорить об устном варианте стандартного языка, чем называть эту разновидность субстандартом.

делил те его разновидности, которые были и которые на самом деле являются особым предметом исследования соответствующих отраслей нашей науки – русистики» [Караулов 1991: 8]. Мы согласны с Юрием Николаевичем: соблюдение строгих классификационных критериев согласно общим принципам науки возможно, но оно привело бы к результату, который не соответствовал бы нашему интуитивному представлению о релевантных разновидностях русского языка.

Как показывает вышеприведенная цитата из работы Караулова, автор употребляет слово *разновидность* как синоним выражения *сфера и форма существования* русского языка. На наш взгляд, слово *разновидность* весьма удобно для выражения того, о чем здесь идет речь¹⁴. Кроме того, оно позволяет нам не прибегать к слову *вариант*, которое вызывает у ряда ученых сильные протесты¹⁵.

Чтобы хотя бы отчасти следовать определенной систематике, мы будем придерживаться в установлении разновидностей следующей последовательности критериев: первичным фактором считается то, кто говорит, а вторичными – другие общие характеристики ситуации общения (канал связи, группа собеседников, специфичность данной разновидности).

1. Кто говорит? Совершенно очевидно, что, говоря о русских, мы имеем в виду языковую, а не этническую принадлежность. Однако данное уточнение еще не гарантирует однозначности термина, поскольку разница между носителями русского языка как родного и носителями русского языка как второго, или между «природными» и «не природными» носителями языка, не вполне четкая [Davies 2003; Мустайоки, Протасова 2004; Blommaert, Rampton 2011]¹⁶. Понятие относительно и в том смысле, что у носителей языка уровень владения родным языком не одинаков: в разных речевых ситуациях

¹⁴ Что касается русского языка вне России, лучше всего изучены его характеристики, пожалуй, в Казахстане (см., например, [Сулейменова, Смагулова 2005; Шайбакова 2005; Аканова и др. 2010; Языковая политика в Казахстане 2010]). Это объясняется двумя факторами. Во-первых, положение и статус русского языка в стране признаны и устойчивы по сравнению с другими странами СНГ и Балтии, в связи с чем русский язык широко употребляется в государственных документах и прессе, что образует хорошую почву для создания своего стандарта языка. Во-вторых, казахстанские лингвисты-русисты активно изучают местный язык и участвуют также в дискуссии о языковой политике страны. Э.Д. Сулейменова приводит удачный конкретный пример особого русского языка Казахстана: «Основными мерами в данном направлении станут организация и проведение айтысов, мушайра, дебатных турниров и конкурсов жырау и жыршы» [Сулейменова 2011: 90]. Фразу можно было бы интерпретировать как ненормативную или шутливую, если бы она не была взята из государственного документа.

¹⁵ Слово *вариант* употребляется в русской лингвистической традиции в другом значении, когда речь идет о допустимых параллельных реализациях лексических, произносительных или морфологических норм (см., например, [Валгина 2001: 26–40]). На обобщающем уровне традиционно употребляются как термин «вариантность» [Литературная норма и вариантность 1981], так и термин «вариативность» [Солнцев 1984]. Говоря о другом типе вариативности в отношении различий в речи носителей русского языка в разных странах, ученые тоже употребляют разные формулировки: Л.П. Крысин говорит о «варьировании русского языка в инациональных условиях» [Крысин 2004: 404–410], Ю.В. Дорофеев употребляет в этом контексте слово *вариант*, определяя его так: «Под вариантами мы будем понимать формы существования языка, представляющие собой модификацию инварианта системы и структуры языка или норм языка. Варианты возникают в результате воздействия различных экстралингвистических факторов, поэтому правомерным является выделение национальных вариантов языка, этнических, территориальных, социальных» [Дорофеев 2010: 237].

¹⁶ В работе [Skutnabb-Kangas, Phillipson 1989: 453] выделяется пять возможных критериев для определения родного языка по отношению к тому, является ли язык 1) первым; 2) лучше усвоенным; 3) наиболее употребляемым в жизни данного человека; или 4) как он сам идентифицирует себя и 5) как другие идентифицируют его. Поскольку критериев много, естественно, они могут привести к разным результатам. Кроме того, по поводу отдельных критериев могут быть неоднозначные ответы, как хорошо демонстрирует один из авторов статьи, применяя классификационные критерии к своей личной жизни.

они не всегда хорошо справляются с коммуникативными задачами¹⁷. Не все носители языка способны выступать с речью или писать протокол. А те, кто умеет это делать, возможно, не могут вести разговор по душам. Иногда природный носитель языка даже уступает по своим знаниям и коммуникативным навыкам неприродному носителю языка. Так, финский бизнесмен, который не способен общаться с людьми в московском пивном баре, вероятно, успешен в торговых переговорах на русском языке больше, чем какой-либо природный носитель языка, посещающий этот бар.

Эти понятия становятся еще более расплывчатыми, когда мы рассматриваем не только родной язык, но и языковую личность в целом. Исследователи справедливо отмечают, что разные языковые личности одной персоны не могут не оказывать влияния друг на друга; ср. [Красных 2003: 79; Пуссинен 2011: 39]. Несмотря на сделанные оговорки, критерий «природный носитель русского языка» является одним из центральных в определении разновидностей русского языка.

Среди носителей русского языка выделяется группа русских, живущих за пределами России. Это весьма гетерогенная совокупность людей. По степени близости их языка к стандартному языку москвичей различаются две категории русских: 1) сравнительно недавно эмигрировавшие русские и русские, живущие в ближнем зарубежье, и 2) русские, долго жившие в изоляции от России¹⁸. На язык людей, относящихся к этим категориям, неизбежно влияют временная и географическая близость к современной России. Внутри второй группы отмечаются существенные различия, касающиеся оригинальности («странности») языка: по сравнению с нормативным русским языком их язык, с одной стороны, архаичен, с другой стороны, он испытал на себе влияние окружающей языковой среды.

Что касается русских, живущих в России, традиционно выделяются носители литературного языка, носители просторечия и носители диалектов (впрочем, они же есть и вне России). Исходя из того, какой язык человек усвоил первично, достаточно различать две категории людей в зависимости от того, был ли их первым языком стандартный устный язык или нестандартный (устный) язык, т. е. диалект¹⁹, просторечие²⁰ или какой-либо региональный вариант русского языка. Кроме того, мы выделяем детей как особую группу носителей языка. Их язык отличается от стандартного языка по-иному, чем просторечие и другие особые разновидности языка взрослых. Тот факт, что язык детей еще развивается, не оправдывает его игнорирования в списке разновидностей русского языка, поскольку он имеет весьма специфические черты и обслуживает миллионы его пользователей.

Перейдем к характеристике людей, из уст которых можно слышать «неисконно русскую речь», упоминавшуюся Ю.Н. Карауловым в его классификации. Это, естественно, иностранцы, инофоны, говорящие по-русски²¹. Особую группу среди них образуют билингвы, отлично владеющие русским языком (*near-native speakers*). Хотя их язык иногда «лучше», чем язык некоторых групп носителей родного языка, есть основания выделить их в особую категорию, поскольку свободное владение двумя (или больше) языками не может не влиять на русский язык этих людей. Есть принципиальная разница между родным и неродным языками, которая не восходит к уровню владения этими языками. Когда мы говорим на своем родном языке, мы чувствуем, что это «наш язык», в разви-

¹⁷ В своей известной категоризации У. Аммон [Ammon 1989: 64–65] выделяет шесть подгрупп носителей языка и восемь подгрупп неносителей. Однако, на наш взгляд, используемые им критерии (умение говорить, слушать, писать и читать) не применимы для описания русского языка.

¹⁸ Разные категории русских в диаспоре рассматриваются в [Жданова 2009].

¹⁹ Многостороннее описание свойств и ролей диалектной речи можно найти, в частности, в [Гольдин, Крючкова 2010].

²⁰ История и современное состояние просторечия рассматриваются, в частности, в [Шапошников 2011].

²¹ Е.А. Калиновская [Калиновская 2011] употребляет в этом контексте термин «ксенолект».

тии которого мы участвуем сами, в отношении которого мы вправе определять норму (ср. дискуссия об *ownership* выше). Выученный иностранный язык имеет в нашем сознании другой статус. Конечно, и здесь нет четкой границы: креативность и языковые игры, будучи важными элементами родного языка, могут появляться и в речи иностранца.

Язык других носителей языка варьируется в зависимости от того, как человек выучил язык. Основными источниками знания русского языка могут быть: 1) русские родители или бабушки и дедушки; 2) школа; 3) реальные условия коммуникации (например, разговоры на улице, на работе) [Mustajoki 2010: 39–40]. Форма изучения русского языка влияет не только на общий уровень владения языком, но и на отдельные языковые навыки (произношение, лексика, грамматика, прагматические особенности и т. п.), которые могут быть освоены в разной степени. Несмотря на эти различия, мы выделяем только одну разновидность русского языка для категории пользователей «иностранцы». Отметим, однако, что под языком иностранцев подразумевается их речь в реальных ситуациях коммуникации, а не тот «учебный язык», который используется в аудиториях, где преподается русский язык.

2. Другие условия коммуникации. Ингерентные свойства говорящего по шкале «родной – неродной язык» представляют собой центральный критерий в определении разновидностей русского языка. Однако наряду с этим параметром огромное влияние на то, как мы говорим, оказывает коммуникативная ситуация в целом. Начнем с самого очевидного разделения.

Выше речь шла об ориентированности лингвистики на письменную речь и о слабом интересе к устной речи, которая, по сути дела, является родным языком всех людей. С другой стороны, лингвистические особенности русской устной речи описаны достаточно хорошо, что позволяет сделать вывод о принципиальной разнице устной и письменной речи. Есть, правда, две вещи, которые уменьшают категоричность этого различия. Одна из них – отмеченное выше приближение публицистического стиля к разговорной речи. Это существенный сдвиг, поскольку язык массмедиа можно считать самой влиятельной и значимой формой языка в современном обществе. Другой фактор – появление письменной спонтанной речи в виде чатов в Интернете и SMS-сообщений. Несмотря на эти элементы, выравнивающие различия между устной и письменной речью, для определения их как двух разновидностей языка есть веские аргументы.

Рассматривая детально прагматическую вариативность в употреблении языка, мы сталкиваемся, в частности, с терминами «стиль», «подъязык» и «жанр». Так, спрашивается, на каком основании можно утверждать, что жанр, стиль или подъязык X заслуживает статуса разновидности русского языка, а Y – нет? На наш взгляд, самыми значимыми являются три фактора: 1) замкнутость группы пользователей данной формы языка; 2) ее специфичность: насколько сильно разновидность отличается от стандартного языка (или от других разновидностей) по языковым характеристикам; 3) удельный вес данной разновидности, или распространенность и частотность речевых ситуаций, которым она свойственна.

Речевые жанры – это не то же самое, что разновидности языка. Разговор по душам, флирт, дискуссия на совещании, доклад весьма различны как по содержанию, так и по форме. Каждый из этих жанров требует наличия особых навыков и умений у говорящего, в связи с чем не все они обязательно входят в репертуар среднего носителя языка. Этими жанрами пользуется весьма неопределенная группа людей, а их речевые признаки незначительно отличаются от стандартного языка. Напротив, сленг, жаргон и арго, сильно отличающиеся от стандартного (устного) языка и играющие важную роль для идентификации их пользователей²², являются разновидностями языка.

²² Рассматривая современные жаргон, арго и сленг русского языка, В.В. Химик различает девять типов жаргонов [Химик 2004]. Это наглядно показывает многообразие разновидностей языка. Интересен в этой связи выбор термина: автор говорит не об исследовании этих разновидностей, а об их мониторинге. Таким образом он дистанцируется от рассматриваемого материала (ср. также классификацию Т.Б. Крючковой [Крючкова 2010: 71–72]).

Менее очевидная разновидность – подъязыки, которые употребляются достаточно ограниченной группой людей. Подъязыки, как правило, отличаются от стандартного языка менее заметно, чем, например, сленг или чат. Тем не менее они часто бывают до такой степени трудны для понимания, что недоступны носителям языка вне данной сферы. Эти аргументы позволяют нам выделить подъязыки как отдельную разновидность русского языка. Подъязыки понимаются здесь широко: это не только язык определенной профессиональной группы, но также язык разных любительских группировок (рыбаки, коллекционеры, представители разных видов спорта и т. п.)²³; язык общения прихожан церкви также следует включить в число подъязыков, см. [Бугаева 2008]. Прокомментируем также статус языка художественной литературы: в отличие от подъязыков, он, по определению доступен всем и поэтому не выделяется в особую разновидность языка.

Подчеркнем особую разновидность языка, употребляемого в миниатюрных письменных жанрах. Это разного рода вывески, заголовки и названия. Для такого языка свойствен минималистский подход к языковым выражениям в рамках заранее ограниченного текстового объема. В связи с этим наблюдается максимальная редукция синтаксиса (до одного называющего слова или словосочетания), например «Ведомости» (название газеты), «Ремонт автомобилей» (название и вывеска магазина). В заголовках более богатый синтаксис, чем, например, в названиях, но, как показала в своей теории синтаксем Г.А. Золотова, и в них употребление словоформ отличается от функционирования их в сплошных текстах [Золотова 1988]²⁴.

Особую трудность для классификации представляет разновидность, которая у Ю.Н. Караулова обозначена как «язык компьютера». Сегодня, очевидно, лучше говорить о языке Интернета, но этим переименованием проблема еще не решается. Как известно, компьютерная среда представляет собой множество новых речевых жанров, существенно отличающихся друг от друга; см., например, [Асмус 2005; Giltrow, Stein 2009]. Это, в частности: 1) блоги и другие публичные материалы (например, Википедия); 2) форумы и соответствующие платформы для обмена мнениями; 3) чаты с возможностью синхронного общения; 4) электронные письма. Кроме того, СМС, представляя собой особый тип современной технологии, являются еще одной, весьма своеобразной, формой коммуникации. Вопрос о статусе этих речевых жанров получает особый вес благодаря тому, что они широко распространены в современном обществе. Очевидно, сам формат передачи текстов, электронный или бумажный, нельзя считать самым важным критерием для определения жанров или разновидностей. Таким образом, интернетовские тексты отождествляются с другими письменными текстами (например, Википедия – с книжными энциклопедиями). Форумы демонстрируют, по крайней мере частично, письменную модификацию сленга или жаргона. Зато чаты и СМС более ощутимо отличаются от других письменных и устных форм существования русского языка, имея своеобразные синтаксические особенности, вызванные моментальным темпом порождения письменного текста. Вследствие этого их следует считать одной из разновидностей современного русского языка.

Как было отмечено, в устном варианте стандартного русского языка отмечается богатая стилевая (жанровая, регистровая) вариация, т. е. один и тот же человек говорит по-разному в зависимости от ситуации общения. Особый случай в этой вариации образуют ситуации, в которых говорящий радикально меняет манеру говорения, приспособляя ее к реципиенту речи. В таких условиях (в разговоре с детьми, иностранцами)²⁵

²³ Согласно Л.П. Крысину, это языковые образования, которые выделяются на основе объединения людей «по интересам» [Крысин 1989: 75].

²⁴ Теория синтаксем была первоначально заявлена и впоследствии разработана в рамках функционального синтаксиса А.М. Мухиным [Мухин 1964].

²⁵ В недавней работе Т. Гавриловой и К. Федоровой определяются три роли, свойственные носителю русского языка в разных речевых ситуациях общения с иностранцами. Роль «гостеприимного хозяина» реализуется в случаях, описанных выше: русский старается помочь иностранцу хотя бы отчасти выразить себя на русском языке. Во второй роли «хозяина положения» русский

или другими группами коммуникантов, имеющих ограничения в восприятии речи) говорящий старается гарантировать понимание речи, обращая особое внимание на ее простоту. Таким образом, выделяется особая разновидность русского языка, отличающаяся от стандартного языка по всем параметрам (лексика, синтаксис, произношение, просодия, прагматика).

Выше говорилось о природных носителях языка. Кроме разновидностей, основанных на этом критерии, как отдельную ситуацию нужно рассмотреть употребление русского языка в функции лингва франка. Мы исходим из того, что еще не сформировался общий (глобальный) русский язык как лингва франка, имеющий устойчивые черты, отличающие его от нормативного русского языка так же, как ELF отличается от стандартного английского языка первого круга. На сегодняшний день существует описание локальных русских лингва франка, обладающих сравнительно регулярными особенностями, например, русский язык Дагестана [Daniel et al. 2010] и русский язык Удмуртии [Хакимов, Трусова 2010].

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ РАЗНОВИДНОСТЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

На основе сказанного выше мы приводим список разновидностей современного русского языка в виде двух таблиц. Первая таблица состоит из тех разновидностей, которые основываются на разных категориях говорящих.

В таблице 2 представлены те разновидности русского языка, которые обуславливаются характером коммуникативных ситуаций. Таким образом, решающий фактор – уже не то, кто говорит, а условия коммуникации. Например, разными подъязыками могут пользоваться разные категории говорящих, включая как носителей, так и неносителей языка. Конечно, в их речи чаще всего встречаются различия, но с точки зрения коммуникативных целей они менее существенны, чем особые свойства данной разновидности.

Примечания к таблицам

1. Как видно, здесь нет языка исторических памятников, как у Ю.Н. Караулова. Определение разновидностей затрагивает только современный русский язык.

2. Пиджины и другие смешанные языки (суржик, трасянка, одесский язык и т. п.) не были включены в таблицы, поскольку в них русский язык смешивается с каким-либо другим языком. Это весьма интересные разновидности языка, заслуживающие внимания исследователей. Пиджины и другие смешанные языки составляют также один из возможных способов общения, когда встречаются два человека, не имеющие между собой общего языка; ср. [Алпатов 2000: 15–20; Mustajoki 2010: 43–50]. Так, упомянутые смешанные языки, основывающиеся на русском, входят в языковую и прагматическую компетенцию ряда носителей русского языка и таким образом привлекают внимание русистов, но поскольку их нельзя считать разновидностями русского языка, они здесь не рассматриваются²⁶.

берет на себя ответственность за ведение беседы и определяет, каким будет используемый язык, делая лишь маленькие лексические уступки в сторону собеседника, не знающего русского языка. Это происходит, например, при торговой коммуникации на границе России с Китаем. Третья роль – «ученика» – свойственна русским торговцам в Выборге и Санкт-Петербурге, где продавцы привлекают к себе финляндских туристов при помощи некоторых финских слов, произнесенных с сильным акцентом, или неграмотно написанных текстов [Гаврилова, Федорова 2011].

²⁶ Появляются интересные исследования по новым пиджинам. Оказывается, потребность продавать и покупать является по-прежнему одним из самых важных поводов для создания смешанного языка-посредника в виде пиджина. Вспомним первый описанный пиджин *gussenorsk*, который употреблялся в общении между норвежскими рыбаками и русскими купцами [Broch 1927]. Появились описания недавних образований, которые тоже основываются на торговых связях: русско-финский Тиккурила-пиджин [Перехвальская 2008] и новые формы русско-китайского пиджина [Оглезнева 2009; Fedorova 2011].

Разновидности русского языка, отражающие язык разных групп пользователей языка

Разновидность русского языка	Статус и пользователи	Сферы употребления	Особенности
1. Стандартный русский язык, устный вариант (СтРЯу)	родной язык носителей литературного языка; самая распространенная форма существования русского языка	употребляется в разных сферах личной и официальной жизни носителями литературного языка	большая жанровая (регистровая) дифференциация; первичные (диалогические) жанры отличаются более существенно (особенно синтаксически) от СтРЯп, чем вторичные жанры
2. Городское просторечие, диалекты, региональные варианты	родной язык носителей русского языка, родители которых не говорят на СтРЯу	основной, иногда единственный способ говорения в повседневном общении данных людей	отличается от СтРЯу, в особенности лексически, морфологически и фонетически
3. Язык детей	родной язык, еще не достигший уровня, свойственного речи взрослых	повседневный язык общения	отличается от СтРЯу бедностью лексики и своеобразием грамматических конструкций
4. Язык афатиков и других людей с сильным дефектом речи	язык людей, утративших некоторые языковые навыки вследствие поражения головного мозга	повседневный язык общения	может отличаться существенной ограниченностью лексического и грамматического состава
5. Язык сравнительно недавно эмигрировавших русских и русских, живущих в ближнем зарубежье	родной язык людей, живущих в разных странах бывшего СССР и других странах мира (США, Германии, Финляндии и т. д.)	употребляется ежедневно в интеракции этих людей	только небольшие лексические различия (особенно названия реалий) по сравнению с СтРЯу; испытывает постепенно увеличивающееся влияние окружающего языка
6. Язык русских, долго живших в изоляции от России	родной язык людей, живущих в дальнем зарубежье и не имеющих контактов с Россией (в США, Германии, Финляндии и т. д.)	употребляется ежедневно в интеракции этих людей между собой	варьируется от сильных архаизмов (у части староверов) до существенного влияния титульного языка (на Аляске)
7. Язык нерусских, свободно говорящих по-русски (near-native speakers)	иной язык нерусских, которые выучили язык почти в совершенстве; большинство людей этой категории живет в России, в ближнем зарубежье и в ряде других стран	употребляется в общении с русскими и с представителями других языков этой же группы	отличается от СтРЯу только по выразительности и нюансированности речи
8. Язык иностранцев	второй, третий и т. д. язык, выученный в целях общения, знакомства с русскими и ознакомления с русской культурой или в интересах профессиональной деятельности	употребляется в общении с русскими или другими иностранцами, которые знают русский язык и хотят говорить на нем	степень и характер отклонений от СтРЯу зависят от того, где и как долго человек обучался русскому языку

Ситуативно обусловленные разновидности русского языка

Разновидность русского языка	Статус и пользователи	Сферы употребления	Особенности
9. Стандартный русский язык, письменный вариант (СтРЯп)	выученный в школьном возрасте язык; находится под влиянием КодН, но также влияет на него; существенная стилевая дифференциация	употребляется в прессе, в официальной документации и других текстах общего характера	содержит отклонения от КодН, в частности лексические и грамматические новации и элементы СтРЯу
10. Профессиональные подязыки специалистов	особые языки специалистов, выученные в течение обучения и/или <i>in vivo</i> в общении с представителями данной специальности	употребляются в письменной и устной коммуникации в специальных областях знания – профессионального, научного и любительского	отличается от СтРЯп (особенно лексически) в такой мере, что люди вне данной области с трудом понимают его
11. Жаргон, арг, сленг	стихийно выученный язык определенных социальных групп; сильная идентифицирующая функция (знак принадлежности к группе)	употребляется только во внутригрупповом общении	существенные различия по сравнению с СтРЯу (особенно в сфере лексики)
12. Язык миниатюрных письменных жанров	созданный для специальных целей сокращенный язык	употребляется в заголовках, вывесках и названиях	отличается от СтРЯп синтаксически и лексически из-за строго ограниченных пространственных рамок и особой целевой установки
13. Язык чатов и СМС	стихийно выученный язык молодежи, употребляемый для определенных целей	специальный язык быстрого письменного общения через технические средства	сильно отличается по всем параметрам (орфография, лексика, синтаксис) от СтРЯп
14. Приспособленная к реципиенту речь носителей языка	автоматическая или специально усвоенная манера речи с сильной ориентацией на слушателя	употребляется в общении с коммуникантами, не владеющими русским языком в совершенстве (дети, старики, иностранцы, люди с речевыми недостатками)	упрощение происходит по нескольким направлениям: избегание громоздких предложений, сложных конструкций и трудных слов; отчетливая дикция; громкий голос
15. Русский язык как лингва франка	выбранный в силу практических нужд общий язык коммуникации между носителями русского языка	повседневный способ коммуникации в условиях многоязычия	существенная редукция языковых средств по сравнению с СтРЯу; влияние других языков

3. Изучая степень ненормативности той или иной разновидности, стоит иметь в виду наблюдение Э. Ранга [Ranta 2009], которая, сопоставляя черты ELF с тем, что типично для диалектов и просторечия английского языка, обнаружила, что часть ненормативных особенностей, которые были приписаны ELF, можно найти также в разных устных вариантах речи носителей языка. С учетом этого особенности ELF кажутся менее специфичными. На русском материале систематические сопоставления такого рода еще проводились, но вполне возможны аналогичные явления. Предварительные наблюдения показывают, что схожие упрощения морфологической системы происходят в речи разных категорий говорящих. Так, словоформы типа *много *солдатов, он *ищил* или *я *искаю*, отражающие систему русского словоизменения, но не норму современного русского языка, встречаются как в речи русских детей, так и в просторечии и речи иностранцев. М.Я. Гловинская приводит, со своей стороны, массу примеров ненормативного языка, взятых из СРЯп и СРЯу [Гловинская 1996]. Двух примеров достаточно, чтобы показать, о чем идет речь: *У нас нет таких *автобусах* и *Это считается *один из поспешных романов*. Как мы видим, это точно такие же ляпсусы, которые встречаются в речи иностранцев. Подобные достаточно частотные отклонения от нормы поднимают несколько вопросов. Во-первых, в какой мере они сходны в описанных разновидностях и какие из них свойственны речи лишь определенной группы говорящих? Во-вторых, можно ли на основе таких явлений прогнозировать будущее русского языка? В-третьих, как происходит их переход от случайных оговорок сначала на уровень СРЯу, а потом СРЯп? В-четвертых, образуют ли данные явления какую-либо целостную систему, последовательны ли они или же имеют случайный и спорадический характер? Такие явления нужно исследовать не только на основе аутентичной речи, но и с помощью психолингвистических экспериментов, изучая, отличаются ли реакции на них от реакций носителей языка на несистемные ошибки типа *много *фабриков* или *У нас нет таких *автобусам*.

4. Среди говорящих на ELF особую и представительную группу образуют люди, которые по беглости и быстроте общения ни в чем не уступают носителям языка, но их речь пестрит погрешностями против норм языка. Такая манера говорения, естественно, возможна и у иностранцев, говорящих по-русски. Е. Протасова приводит показательный пример такого характера [Протасова 2011]. Идиолект болгарского экскурсовода, представляющего русским туристам достопримечательности Майорки, строится на весьма свободной интерпретации норм русского языка с такими последствиями, что всякая фраза ее речи содержит минимум одно отклонение от СРЯу: ударение ставится где угодно, выбор слов странен, идиоматика своеобразна и т. п. Речь гида не может не казаться забавной носителям языка, но, с другой стороны, в ней мало непонятого им. Это явление вызывает интерес, по крайней мере, в двух аспектах. Любопытно соотношение между персональной вариативностью и общей закономерностью таких идиолектов, т. е. можно ли в речи подобных говорящих найти регулярно повторяющиеся черты? Другая проблема заключается в статусе такой речи: как к ней относятся носители и неносители языка? Один возможный подход – полное пренебрежение к такому «нечистому» и ошибочному языку. В равной степени обоснованным является мнение людей, для которых важна только успешность коммуникации, а чистота речи второстепенна.

5. Важным вопросом в изучении разновидностей русского языка является их «эффективность», или то, насколько удачно они выполняют свои задачи в качестве средства коммуникации. Как известно, передача информации не является единственной целью общения. Иногда говорящий обращает недостаточное внимание на реципиент-дизайн²⁷ и приспособливает свою речь неадекватно, с точки зрения слушателя. Употребление сленга хорошо демонстрирует это. Важно не только общение как таковое, но также самопрезентация, подчеркивание принадлежности к данной группе людей [Mustajoki 2012: 230]. Пока мало исследований о том, как эти разные функции осуществляются во всевозможных разновидностях языка.

²⁷ Понятие реципиент-дизайна было введено в конверсационном анализе для обозначения тех аспектов речи, которые обнаруживают ориентированность на других и чувствительность к особенностям со-участников общения [Sacks et al. 1974].

6. Интересная и с точки зрения практики важная область исследований – выяснение факторов, обуславливающих взаимопонимание собеседников. Многое зависит от владения соответствующей разновидностью русского языка и от общности языковой картины мира у коммуникантов. Однако, как показывают предварительные наблюдения, влияние этих факторов далеко не прямолинейно. Языковые недостатки и различия в общих знаниях можно компенсировать хорошей мотивацией и эффективным реципиент-дизайном. С другой стороны, тормозом для взаимопонимания становится иллюзия общего ментального мира и нежелание тратить на общение дополнительные когнитивные усилия [Mustajoki 2012; 2013]. Если мы исходим из того, что одна из важнейших задач коммуникации – потребность понимать друг друга, то изучение всех обстоятельств, препятствующих этому, не может не привлечь внимание лингвистов.

7. Н.Б. Лебедева, рассматривая разные формы существования языка в сознании рядового его носителя, выделяет «знание языка», «знания о языке», «знания в языке» и «знания на языке», различая внутри каждого компонента неосознанные (интуитивные) и осознанные знания [Лебедева 2009]. Действительно, к знанию языка можно подойти с разных точек зрения. Нам кажется, что как раз при рассмотрении метаязыкового сознания людей необходимо учитывать вариативность языка, поскольку все отмеченные знания касательно языка сильно связаны с тем, о какой разновидности языка идет речь.

8. Что касается преподавания русского языка, то мы стоим перед непростыми вопросами. Нам кажется, что сильное миграционное движение русских и рост внутренней вариативности русского языка не могут не повлиять на то, какой русский язык будет представлен в будущих учебниках, какие его разновидности будут даны как образцы речи, а какие отклонения от нормы будут определяться как ошибки. Возможно, вследствие больших изменений в мире нас ждет перелом в методике преподавания русского языка. Обсуждение этих вопросов, однако, выходит за пределы данной статьи.

ВЫВОДЫ

1. Кроме кодифицированной официальной нормы, можно выделить коллективную норму (то, что языковой коллектив считает правильным) и ситуативную норму. Однако языковой материал отражает в прямой форме не норму, а узус. Разновидности русского языка представляют собой разные узусы.

2. Важным критерием при определении разновидностей является то, кто говорит: носитель, пользователь стандартного языка или нестандартных языков (диалекты, просторечие), разные категории неносителей языка.

3. Второй критерий определения разновидностей языка восходит к особенностям ситуаций общения. Здесь нужно уделить внимание, в частности, каналу связи (устная или письменная речь), замкнутости круга людей, употребляющих данную форму языка, а также специфичности ее лингво-прагматических свойств.

4. Используя упомянутые критерии, можно выделить 15 разновидностей современного русского языка, которые представлены в таблицах 1 и 2.

5. Разновидности языка находятся в постоянном контакте между собой. Возникают и новые разновидности. Так, в последние годы создалась новая разновидность русского языка в виде чатов и СМС.

Отметим еще некоторые направления дальнейших исследований, вытекающие из перечисления большого количества разновидностей русского языка. На их основе перед русистами ставятся, в частности, следующие вопросы: чем разновидности отличаются друг от друга, какой статус они имеют среди говорящих по-русски, как они развиваются, как влияют друг на друга, как выполняют разные функции языка (коммуникативную, идентифицирующую, эстетическую и т. п.), как они должны быть учтены в преподавании русского языка, наличествуют ли разновидности языка в наивном сознании рядового носителя русского языка?²⁸

²⁸ Благодарю Марию Воейкову и Екатерину Протасову, а также двух анонимных рецензентов журнала ВЯ за ценные замечания, высказанные в процессе обсуждения статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аканова и др. 2010 – *Д.Х. Аканова, Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова*. Языковая ситуация и опыт языкового планирования в Казахстане // Е.П. Чельшев (ред.). Решение национально-языковых вопросов в современном мире – страны СНГ и Балтии. М., 2010.
- Алпатов 2000 – *В.М. Алпатов*. 150 языков и политика. 1917–2000 гг. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. М., 2000.
- Асмус 2005 – *Н.Г. Асмус*. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: Дис. ... канд. филол. наук. Челябинск, 2005.
- Байрамова 2001 – *Л.К. Байрамова*. Татарстан: языковая симметрия и асимметрия. Казань, 2001.
- Белоусов 2010 – *В.Н. Белоусов*. Русский язык в контексте межкультурной коммуникации в современном мире // Е.П. Чельшев (ред.). Решение национально-языковых вопросов в современном мире – страны СНГ и Балтии. М., 2010.
- Бельчиков 2003 – *Ю.А. Бельчиков*. Русский язык. XX век. М., 2003.
- Богданова и др. 2009 – *Н.В. Богданова, А.С. Асиновский, М.В. Русакова, А.И. Рыко, С.Б. Степанова, Т.Ю. Шерстинова*. Звуковой корпус как способ мониторинга и фиксации разных форм естественного языка // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Вып. 8 (15). По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» (2009). М., 2009.
- Бугаева 2008 – *И.В. Бугаева*. Язык православных верующих в конце XX – начале XXI века. М., 2008.
- Валгина 2001 – *Н.С. Валгина*. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001.
- Гаврилова 2002 – *Т.О. Гаврилова*. Регистр общения с детьми: структурный и социолингвистический аспекты (на материале русского языка): Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2002.
- Гаврилова, Федорова 2011 – *Т.О. Гаврилова, К.С. Федорова*. Лингвистические стратегии носителей русского языка при коммуникации с различными иноязычными собеседниками // Н.Б. Вахтин (отв. ред.). Языки соседей: мосты или барьеры? Проблемы двуязычной коммуникации. СПб., 2011.
- Германова 2002 – *Н.Н. Германова*. О понятии стандартного языка в англоязычной традиции (некоторые терминологические уточнения) // Формы дифференциации языка в зеркале национальных терминологических традиций. М., 2002.
- Гловинская 1996 – *М.Я. Гловинская*. Активные процессы в грамматике // Е.А. Земская (отв. ред.). Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996.
- Гловинская 2001 – *М.Я. Гловинская*. Общие и специфические процессы в языке метрополии и эмиграции // Язык русского зарубежья. Вена, 2001. (= Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 53.)
- Голев 2009 – *Н.Д. Голев*. Современное российское обыденное метаязыковое сознание между наукой и школьным курсом русского языка («правильность» как базовый постулат наивной лингвистики) // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Ч. II. Томск, 2009.
- Голубева-Монаткина 2004а – *Н.И. Голубева-Монаткина*. Русская эмигрантская речь в Канаде конца XX века: Тексты и комментарии. М., 2004.
- Голубева-Монаткина 2004б – *Н.И. Голубева-Монаткина*. Русская эмигрантская речь во Франции конца XX века: Тексты и комментарии. М., 2004.
- Гольдин, Крючкова 2010 – *В.Е. Гольдин, О.Ю. Крючкова*. Русская диалектология: коммуникативный, когнитивный и лингвокультурный аспекты. Саратов, 2010.
- Горошко 2007 – *Е.И. Горошко*. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Вып. 5. Орел, 2007.
- Горячева 2010 – *М.А. Горячева*. Языковая ситуация в республиках Татарстан, Саха (Якутия), Бурятия и Коми как иллюстрация видов соотношения русского и титульного языков // Е.П. Чельшев (ред.). Решение национально-языковых вопросов в современном мире – страны СНГ и Балтии. М., 2010.
- Димитрова 2000 – *С.П. Димитрова*. Речевое общение с детьми: коммуникация в условиях «неравнопоставленности» // Л.П. Крысин (отв. ред.). Речевое общение в условиях языковой неоднородности. М., 2000.
- Дорофеев 2010 – *Ю.В. Дорофеев*. О национальной негомогенности русского языка в современном мире // Е.П. Чельшев (ред.). Решение национально-языковых вопросов в современном мире – страны СНГ и Балтии. М., 2010.

- Жданова 2009 – *В.В. Жданова*. К проблеме лингвистического статуса русского языка диаспоры // *V. Zhdanova (ed.)*. Русский язык в условиях культурной и языковой полифонии. *Die Welt der Slaven*. 2009. Bd 38.
- Живая речь уральского города 1988 – Живая речь уральского города: Сб. науч. трудов. Свердловск, 1988.
- Живая речь уральского города 1995 – Живая речь уральского города: Тексты. Екатеринбург, 1995.
- Живая речь уральского города 2011 – Живая речь уральского города: Устные диалоги и эпистолярные образцы / Сост. И.В. Шалина. Екатеринбург, 2011.
- Земская 1987 – *Е.А. Земская*. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1987.
- Земская 1996 – *Е.А. Земская*. Введение // *Е.А. Земская (отв. ред.)*. Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996.
- Земская 2000 – *Е.А. Земская*. Язык русского зарубежья: проблемы нормы и речевого поведения // *Н.А. Купина (отв. ред.)*. Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург, 2000.
- Земская 2001 – *Е.А. Земская*. Общие языковые процессы и индивидуальные речевые портреты // *Язык русского зарубежья*. Вена, 2001. (= *Wiener Slawistischer Almanach*. Sonderband 53.)
- Золотова 1988 – *Г.А. Золотова*. Синтаксический словарь русского языка. М., 1988.
- Какорина 2010 – *Е.В. Какорина*. Язык интернет-коммуникации // *Современный русский язык: Система – норма – узус*. М., 2010.
- Калиновская 2011 – *Е.А. Калиновская*. Ксенолект как лингвистический феномен: Дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2011.
- Караулов 1991 – *Ю.Н. Караулов*. О состоянии русского языка современности (Доклад на конф. «Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики» и материалы почтовой дискуссии). М., 1991.
- Касаткин и др. 2000 – *Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина, С.Е. Никитина*. Русский язык орегонских старообрядцев: языковые портреты // *Л.П. Крысин (отв. ред.)*. Речевое общение в условиях языковой неоднородности. М., 2000.
- Кёстер-Тома 1993 – *З. Кёстер-Тома*. Стандарт, субстандарт, нонстандарт // *Русистика*. 1993. Т. 193. № 2.
- Кибрик 1998 – *А.А. Кибрик*. Некоторые фонетические и грамматические особенности русского диалекта деревни Нинилчик (Аляска) // *В.Ф. Выдрин, А.А. Кибрик (ред.)*. Язык, Африка, Фульбе: Сб. науч. ст. в честь А.И. Коваль. СПб.; М., 1998.
- Кибрик, Подлесская 2009 – *А.А. Кибрик, В.И. Подлесская (ред.)*. Рассказы о сновидениях. Корпусное исследование устного русского дискурса. М., 2009.
- Китайгородская, Розанова 1999 – *М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова*. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999.
- Китайгородская, Розанова 2010 – *М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова*. Языковое существование современного горожанина. М., 2010.
- Коньков и др. 2004 – *В.И. Коньков, А.М. Потсар, С.И. Сметанина*. Язык СМИ: современное состояние и тенденции развития // *Современная русская речь: состояние и функционирование*. СПб., 2004.
- Корпусные исследования 2009 – *К.Л. Киселева, В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина, С.Г. Татевосов (ред.)*. Корпусные исследования по русской грамматике. М., 2009.
- Красных 2003 – *В.В. Красных*. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность. М., 2003.
- Кронгауз 2009 – *М.А. Кронгауз*. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2009.
- Крысин 1989 – *Л.П. Крысин*. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989.
- Крысин 2000 – *Л.П. Крысин*. О некоторых изменениях в русском языке конца XX века // *Исследования по славянским языкам*. № 5. Сеул, 2000.
- Крысин 2004 – *Л.П. Крысин*. Русское слово, свое и чужое. М., 2004.
- Крючкова 2010 – *Т.Б. Крючкова*. О понятийно-терминологическом аппарате описания языкового состояния // *Е.П. Челышев (ред.)*. Решение национально-языковых вопросов в современном мире – страны СНГ и Балтии. М., 2010.
- Кюльмоя 2000 – *И. Кюльмоя*. О современном состоянии языка русской диаспоры в Эстонии // *Русские в Эстонии на пороге XXI века*. Таллинн, 2000.
- Лазутова 2010 – *М.Н. Лазутова*. О функционировании русского языка в государствах СНГ и Балтии // *Е.П. Челышев (ред.)*. Решение национально-языковых вопросов в современном мире – страны СНГ и Балтии. М., 2010.

- Ларин 1928а – *Б.А. Ларин*. К лингвистической характеристике города. (Несколько предпосылок) // Изв. Гос. пед. ин-та им. Герцена. Вып. 1. Л., 1928.
- Ларин 1928б – *Б.А. Ларин*. О лингвистическом изучении города // Русская речь. Вып. 3. Л., 1928.
- Лебедева 2009 – *Н.Б. Лебедева*. Структура языкового сознания и место в ней метаязыкового компонента // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Ч. 1. Кемерово; Барнаул, 2009.
- Лепская 1997 – *Н.И. Лепская*. Язык ребенка (Онтогенез речевой коммуникации). М., 1997.
- Литературная норма и вариантность 1981 – Литературная норма и вариантность. М., 1981.
- Майданова 2000 – *Л.М. Майданова*. Газетно-публицистический стиль: метаморфозы коммуникантов // Н.А. Купина (отв. ред.). Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург, 2000.
- Мечковская 2006 – *Н.В. Мечковская*. Демократизация языков: факторы, коллизии и альтернативы // Acta neophilologica. 2006. V. 8.
- Мустайоки 1988 – *А. Мустайоки*. О предмете и цели лингвистических исследований // Язык: система и функционирование. М., 1988.
- Мустайоки 2011 – *А. Мустайоки*. Почему общение на лингва франка удается так хорошо // Н.Б. Вахтин (отв. ред.). Языки соседей: мосты или барьеры? Проблемы двуязычной коммуникации. СПб., 2011.
- Мустайоки, Протасова 2004 – *А. Мустайоки, Е. Протасова* (ред.). Русскоязычный человек в иноязычном окружении. Хельсинки, 2004. (=Slavica Helsingiensia 24.)
- Мухин 1964 – *А.М. Мухин*. Функциональный анализ синтаксических элементов. М.; Л., 1964.
- Никитина 2001 – *С.Е. Никитина*. Русские профессиональные группы в США: лингвокультурная проблематика // Е.В. Красильникова (ред.). Русский язык зарубежья. М., 2001.
- Норман 1998 – *Б.Ю. Норман*. Грамматические инновации в русском языке, связанные с социальными процессами // Русистика. 1998. № 1–2.
- Оглезнева 2009 – *Е.А. Оглезнева*. Русский язык в восточном зарубежье (на материале русской речи в Харбине). Благовещенск, 2009.
- Орешкина 2010 – *М.В. Орешкина*. Русский язык в странах СНГ и Балтии: законодательный аспект // Е.П. Челышев (ред.). Решение национально-языковых вопросов в современном мире – страны СНГ и Балтии. М., 2010.
- Панов 1988 – *М.В. Панов*. Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики // Язык современной публицистики. М., 1988.
- Перехвальская 2008 – *Е.В. Перехвальская*. Русские пиджины. СПб., 2008.
- Пиккарайнен 2011 – *М. Пиккарайнен*. Разговор на неродном языке: совместная деятельность участников при построении разговора // Н.Б. Вахтин (отв. ред.). Языки соседей: мосты или барьеры? Проблемы двуязычной коммуникации. СПб., 2011.
- Протасова 1998 – *Е.Ю. Протасова*. Особенности русского (первого) языка у живущих в Финляндии // Русистика сегодня. 1998. № 3–4.
- Протасова 2004 – *Е.Ю. Протасова*. Феннороссы: жизнь и употребление языка. СПб., 2004.
- Протасова 2011 – *Е. Протасова*. Особенности неродного русского в туристической сфере // Н.Б. Вахтин (отв. ред.). Языки соседей: мосты или барьеры? Проблемы двуязычной коммуникации. СПб., 2011.
- Пуссинен 2011 – *О. Пуссинен*. Типы коммуникативных неудач при владении русским языком в качестве функционально непервого // Н.Б. Вахтин (отв. ред.). Языки соседей: мосты или барьеры? Проблемы двуязычной коммуникации. СПб., 2011.
- Синочкина 2004 – *Б. Синочкина*. Старообрядцы Латвии: специфика языковой личности // А. Мустайоки, Е. Протасова (ред.). Русскоязычный человек в иноязычном окружении. Хельсинки, 2004.
- Современный русский язык 2010 – Современный русский язык: система – норма – узус. М., 2010.
- Солнцев 1984 – *В.М. Солнцев*. Вариативность как общее свойство языковой нормы // Вопросы языкознания. 1984. № 2.
- Сулейменова 2010 – *Э.Д. Сулейменова*. Главный вектор гражданской идентичности // Э.Д. Сулейменова (ред.). Динамика языковой ситуации в Казахстане. Алматы, 2010.
- Сулейменова 2011 – *Э.Д. Сулейменова*. Языковые процессы и политика. Алматы, 2011.
- Сулейменова, Смагулова 2005 – *Э.Д. Сулейменова, Ж.С. Смагулова*. Языковая ситуация и языковое планирование в Казахстане. Алматы, 2005.
- Федорова 2002 – *К.С. Федорова*. Лингвоповеденческие стратегии в ситуации общения с иностранцем (на материале русского языка): Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2002.

- Хакимов, Трусова 2010 – Э.Р. Хакимов, Е.Г. Трусова. Русский язык как лингва франка в республике Удмуртия // А. Mustajoki, E. Protassova, N. Vakhtin (eds). *Instrumentarium of linguistics: Sociolinguistic approaches to non-standard Russian*. Helsinki, 2010.
- Химик 2004 – В.В. Химик. Язык современной молодежи // *Современная русская речь: Состояние и функционирование*. СПб., 2004.
- Цейтлин 2000 – С.Н. Цейтлин. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. М., 2000.
- Шайбакова 2005 – Д.Д. Шайбакова. Функционирование русского языка в Казахстане: Вчера, сегодня, завтра. Алматы, 2005.
- Шапошников 2011 – В.Н. Шапошников. Просторечие в системе русского языка на современном этапе. М., 2011.
- Щерба 1957 – Л.В. Щерба. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
- Юдина 2010 – Н.В. Юдина. Русский язык в XXI веке: Кризис? эволюция? прогресс? М., 2010.
- Языковая политика в Казахстане 2010 – Языковая политика и динамика языковой ситуации в Казахстане. Алматы, 2010.
- Языковой облик уральского города 1990 – Языковой облик уральского города: Сб. науч. трудов. Свердловск, 1990.
- Ammon 1989 – U. Ammon. Towards a descriptive framework for the status / function (social position) of a language within a country // U. Ammon (ed.). *Status and function of languages and language varieties*. Berlin; New York, 1989.
- Auer, Spiekermann 2011 – P. Auer, H. Spiekermann. Demotisation of the standard variety or destandardisation? The changing status of German in late modernity (with special reference to south-western Germany) // T. Kristiansen, N. Coupland (eds). *Standard languages and language standards in changing Europe*. Oslo, 2011.
- Blommaert, Rampton 2011 – J. Blommaert, B. Rampton. Language and superdiversity // *Diversities*. 2011. V. 13. № 2.
- Broch 1927 – O. Broch. Russenorsk // *Archiv für slawische Philologie*. 1927. Bd. 41.
- Cameron 2005 – D. Cameron. Communication and commodification: Global economic change in sociolinguistic perspective // G. Erreygers (ed.). *Language, communication and the economy*. Amsterdam, 2005.
- Coseriu 1962 – E. Coseriu. Sistema, norma y habla. Montevideo, 1962.
- Coseriu 1967 – E. Coseriu. Sistema, norma y habla // *Teoría del lenguaje y lingüística general*. Madrid, 1967.
- Coupland, Kristiansen 2011 – N. Coupland, T. Kristiansen. SLICE: Critical perspectives on language (de)standardisation // T. Kristiansen, N. Coupland (eds). *Standard languages and language standards in changing Europe*. Oslo, 2011.
- Daniel et al. 2010 – M. Daniel, N. Dobrushina, S. Knyazev. Highlanders' Russian: Case study in bilingualism and language interference in central Daghestan // A. Mustajoki, E. Protassova, N. Vakhtin (eds). *Instrumentarium of linguistics: Sociolinguistic approaches to non-standard Russian*. Helsinki, 2010.
- Davies 2003 – A. Davies. The native speaker: Myth and reality. Clevedon, 2003.
- Dewey 2009 – M. Dewey. English as a lingua franca: Heightened variability and theoretical implications // A. Mauranen, E. Ranta (eds). *English as a lingua franca: Studies and findings*. Cambridge, 2009.
- Duchêne 2009 – A. Duchêne. Marketing, management and performance: Multilingualism as a commodity in a tourism call center // *Language policy*. 2009. V. 8. № 1.
- English as a lingua franca 2009 – A. Mauranen, E. Ranta (eds). *English as a lingua franca: Studies and findings*. Cambridge, 2009.
- Fedorova 2011 – K. Fedorova. Transborder trade on the Russian-Chinese border: Problems of interethnic communication // B. Bruns, J.P. Miggelbrink (eds). *Subverting borders. Doing research on smuggling and small-scale trade*. Wiesbaden, 2011.
- Firth, Wagner 1997 – A. Firth, J. Wagner. On discourse, communication, and (some) fundamental concepts in SLA research // *The modern language journal*. 1997. V. 81. № 3.
- Gal, Irvine 1995 – S. Gal, J. Irvine. The boundaries of languages and disciplines: How ideologies construct difference // *Social research* 1995. V. 62. № 4.
- Giddens 2000 – A. Giddens. Runaway world: How globalisation is reshaping our lives. New York, 2000.
- Giltrow, Stein 2009 – J. Giltrow, D. Stein (eds). *Genres in the Internet: Issues in the theory of genre*. Amsterdam, 2009.
- Heller 2010 – M. Heller. The commodification of language // *Annual review of anthropology*. 2010. V. 39.

- Higgins 2003 – *C. Higgins*. «Ownership» of English in the outer circle: An alternative to NS-NNS dichotomy // *TESOL Quarterly*. 2003. V. 37. № 4.
- House 2003 – *J. House*. English as a lingua franca: A threat to multilingualism? // *Journal of sociolinguistics*. 2003. V. 7. № 4.
- Hülmbauer 2009 – *C. Hülmbauer*. «We don't take the right way. We just take the way that we think you will understand» – The shifting relationship between correctness and effectiveness in ESL // *A. Mauranen, E. Ranta (eds)*. English as a lingua franca: Studies and findings. Cambridge, 2009.
- Kachru 1985 – *B.B. Kachru*. Standards and codification and sociolinguistic realism: The English language in the outer circle // *R. Quirk, H.G. Widdowson (eds)*. English in the world: Teaching and learning the language and literatures. Cambridge, 1985.
- Linell 1998 – *P. Linell*. Approaching dialogue: Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. Amsterdam; Philadelphia, 1998.
- Linell 2009 – *P. Linell*. Rethinking language, mind and world dialogically: Interactional and contextual theories of human sense making. Charlotte (NC), 2009.
- Linell 2012 – *P. Linell*. Formal written-language biased vs. dialogical linguistics of the nature of language // *A. Kravchenko (ed.)*. Cognitive dynamics in linguistic interactions. Cambridge, 2012.
- Marková 1982 – *I. Marková*. Paradigms, thought, and language. Chichester; New York, 1982.
- Mauranen 2006 – *A. Mauranen*. Signalling and preventing misunderstanding in English as lingua franca communication // *International journal of sociology of language*. 2006. V. 177. № 1.
- Mustajoki 2010 – *A. Mustajoki*. Types of non-standard communication encounters with special reference to Russian // *M. Lähteenmaki, M. Vanhala-Aniszewski (eds)*. Language ideologies in transition multilingualism in Russia and Finland. Frankfurt am Main, 2010.
- Mustajoki 2012 – *A. Mustajoki*. A speaker-oriented multidimensional approach to risks and causes of miscommunication // *Language and dialogue*. 2012. V. 2. № 2.
- Mustajoki 2013 – *A. Mustajoki*. Risks of miscommunication in various speech genres // *E. Borisova, O. Souleimanova (eds)*. Understanding by communication. Cambridge, 2013.
- Mustajoki et al. 2010 – *A. Mustajoki, E. Protassova, N. Vakhtin (eds)*. Instrumentarium of linguistics: Sociolinguistic approaches to non-standard Russian. Helsinki, 2010. (Slavica Helsingiensia 40.)
- Östman, Mattfolk 2011 – *J.-O. Östman, L. Mattfolk*. Ideologies of standardisation: Finland Swedish and Swedish-language Finland // *T. Kristiansen, N. Coupland (eds)*. Standard languages and language standards in changing Europe. Oslo, 2011.
- Pavlenko 2008a – *A. Pavlenko*. Multilingualism in post-Soviet countries: Language revival, language removal, and sociolinguistic theory // *International journal of bilingual education and bilingualism*. 2008. № 3–4.
- Pavlenko 2008b – *A. Pavlenko*. Russian in post-Soviet countries // *Russian linguistics*. 2008. V. 32. № 1.
- Pavlenko 2011 – *A. Pavlenko*. Language right versus speakers' right: On the applicability of Western language rights approaches in Eastern European context // *Language policy*. 2011. V. 10. № 1.
- Pavlenko 2012 – *A. Pavlenko*. Commodification of Russian in post-1911 Europe // *M. Bär et al. (Hrsg.)*. Globalisierung, Migration, Fremdsprachunterricht. Dokumentation zum 24. Kongress für Fremdsprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF). Baltmannsweiler, 2012.
- Ranta 2009 – *E. Ranta*. Syntactic features in spoken ELF – Learner language or spoken grammar? // *A. Mauranen, E. Ranta (eds)*. English as a lingua franca: Studies and findings. Cambridge, 2009.
- Ryazanova-Clarke, Wade 1999 – *L. Ryazanova-Clarke, T. Wade*. The Russian language today. London; New York, 1999.
- Sacks et al. 1974 – *H. Sacks, E. Schegloff, G. Jefferson*. A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation // *Language*. 1974. V. 50. № 4.
- Sandøy 2011 – *H. Sandøy*. Language culture in Norway: A tradition of questioning standard language norms // *T. Kristiansen, N. Coupland (eds)*. Standard languages and language standards in changing Europe. Oslo, 2011.
- Sherstinova 2010 – *T. Sherstinova*. Quantitative data processing in the ORD speech corpus of Russian everyday communication // *P. Grzybek, E. Klih, J. Mačutek (eds)*. Text and language: Structures, functions, interrelations, quantitative perspective. Wien, 2010.
- Skutnabb-Kangas, Phillipson 1989 – *T. Skutnabb-Kangas, R. Phillipson*. «Mother tongue»: The theoretical and sociopolitical construction of a concept // *U. Ammon (ed.)*. Status and function of languages and language varieties. Berlin; New York, 1989.
- Taylor 1990 – *T. Taylor*. Which is to be master? The institutionalisation of authority in the science of language // *J. Joseph, T. Taylor (eds)*. Ideologies of language. London, 1990.

- Thelander 2011 – *H. Thelander*. Standardisation and standard languages in Sweden // T. Kristiansen, N. Coupland (eds). *Standard languages and language standards in changing Europe*. Oslo, 2011.
- Vanhala-Aniszewski 2010 – *M. Vanhala-Aniszewski*. Unity or diversity? The language ideology debate in Russian media texts // M. Lahteenmaki, M. Vanhala-Aniszewski (eds). *Language ideologies in transition multilingualism in Russia and Finland*. Frankfurt am Main, 2010.
- Vertovec 2010 – *S. Vertovec*. Towards post-multiculturalism? Changing communities, contexts and conditions of diversity // *International social science journal*. 2010. V. 199.
- Wingender 2003 – *M. Wingender*. Überlegungen zur Weiterentwicklung der Theorie der Standardsprache // W. Gladrow (Hrsg.). *Die slawischen Sprachen im aktuellen Funktionieren und historischen Kontakt. Beiträge zum XIII internationalen Slavistenkongress*. Frankfurt am Main, 2003.
- Wingender et al. 2010 – *M. Wingender, I. Barkijević, D. Müller*. Korpuslingvistische Untersuchungen von Standardsprachenmarkmalen. Ein Beitrag zur vergleichenden Standardologie // *Zeitschrift für Slavische Philologie*. 2010. V. 67. № 1.
- Ždanova 2007 – *V. Ždanova*. Zum Problem der Sprachkompetenz bilingualer Migranten mit Russisch als Erstsprache // B. Brehmer et al. (Hrsg.). *Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLV) 10*. München, 2007.

Сведения об авторе:

Арто Мустайоки
Хельсинкский университет
arto.mustajoki@helsinki.fi

Статья поступила в редакцию 11.12.2012.

© 2013 г. И.А. ВИНОГРАДОВ

«ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЕ» ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ*

В статье на материале различных языков семьи майя рассматриваются случаи чрезвычайной семантической близости двух грамматических категорий, которая приводит к строгой взаимной детерминированности их грамем. Наличие очевидных семантических отношений между граммами разных категорий ведет к появлению строгих синтагматических отношений между ними, в результате чего возникает грамматическая система, характеризующаяся не только парадигматическим, но и иерархическим устройством. Для теоретического описания подобных языковых явлений вводится понятие «интерпретирующей» грамматической категории. С целью сопоставительного анализа привлекается материал индоевропейских, нахско-дагестанских и тибето-бирманских языков.

Ключевые слова: грамматическая категория, теория грамматики, ТАМ-система, детерминация, ключивность, аспект, языки майя

There are some closely related grammatical categories that are in a very strict semantic and syntagmatic connection. Their grams are determined by each other, and that leads to emergence of a complex grammatical system whose elements are tied up not only paradigmatically, but also hierarchically. The paper presents a new theoretical approach to such type of systems based on the data from some of the modern Mayan languages. In order to describe grammatical systems of this type a concept of «interpreting» grammatical category is introduced. For comparative reasons, the similar language phenomena from Indo-European, Nakh-Daghestanian, and Tibeto-Burman languages are analyzed.

Keywords: grammatical category, theory of grammar, TAM-system, determination, clusivity, aspect, Mayan languages

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Грамматическая категория обычно понимается в современной лингвистике как «множество взаимоисключающих значений, обязательное для некоторого естественно-го подкласса словоформ данного языка» [Плунгян 2003: 109]. Таким образом, к граммам (т. е. отдельным значениям грамматической категории) предъявляются два требования: взаимоисключительности (или парадигматичности) и обязательности. Есть, однако, множество случаев, когда языковое явление не в полной мере удовлетворяет какому-либо из этих требований и, соответственно, не укладывается в приведенное выше определение. Тем не менее это не мешает, прежде всего по семантическим соображениям, все равно причислять такое явление к грамматическим категориям. К таким «неканоническим» случаям при выделении грамматических категорий, когда семантика «перевешивает» формальные критерии, принадлежат явления типа «имплицативной реализации грамем», «контекстной вытеснимости», «квазиграммем» (подробнее см.

* Мы благодарны В.А. Плунгяну и М.А. Даниэлю за активное участие в обсуждении ранних версий данной работы. Мы также выражаем признательность двум анонимным рецензентам, чьи замечания и комментарии помогли существенно улучшить статью.

обзор таких феноменов в [Плунгян 2011: 66–76]; некоторые из них также будут упомянуты ниже).

В данной статье на примере различных языков семьи майя будет рассмотрен еще один «неканонический» случай, который до настоящего времени теоретически не до конца осмыслен. Он также не подходит под строгое формальное определение грамматической категории, но, исходя из семантических и типологических соображений, должен был бы считаться особой ее разновидностью. С целью сопоставительного анализа будет привлечен материал индоевропейских, нахско-дагестанских и тибето-бирманских языков. Для языкового явления, о котором пойдет речь, будет введено понятие «интерпретирующей» грамматической категории¹.

Суть этого явления состоит в том, что две грамматические категории обладают чрезвычайной семантической близостью, которая приводит к строгой детерминированности граммом одной категории граммами другой категории. Наличие очевидных семантических отношений между граммами разных категорий ведет к появлению строгих синтагматических отношений между ними, в результате чего возникает особая грамматическая система, характеризующаяся не только парадигматическим, но и иерархическим устройством.

В языках майя такие «комплексные» (или «двухуровневые» – по числу участвующих грамматических категорий) грамматические системы присутствуют при выражении значений из как минимум трех семантических областей: вида-времени-модальности (ТАМ), детерминации и ключивности. В разделе 2 будет подробно описана двухуровневая грамматическая ТАМ-система в некоторых языках семьи майя. Сначала будут охарактеризованы общие структурные особенности таких систем, а затем отдельно рассмотрены конкретные системы в двух языках семьи, на примере которых будет показана тесная семантическая взаимосвязь между граммами разных уровней. В разделе 3 будет предложена модель теоретического описания подобного тесного взаимодействия грамматических категорий с помощью понятий «интерпретирующей» и «базовой» грамматической категории. Возможности применения этих понятий к гораздо более широкому кругу языковых явлений посвящен раздел 4, где будут приведены примеры аналогичного устройства грамматических систем в индоевропейских, нахско-дагестанских и тибето-бирманских языках, а также разобраны примеры из других областей грамматики языков семьи майя.

2. ТАМ-СИСТЕМА В ЯЗЫКАХ МАЙЯ

В языках юкатекской ветви семьи майя (в нее входят четыре языка: юкатекский, итца, мопан, лакандон²) и в языке чоль, генетически принадлежащем к чоланской группе цельталанской ветви³, который ареально близок к указанным выше четырем языкам⁴, необычным устройством отличается грамматическая система выражения значений из области аспекта, а в юкатекских языках также модальности и временной дистанции.

¹ Как будет видно из дальнейшего изложения, предлагаемый нами термин ««интерпретирующая» грамматическая категория», несмотря на созвучие с термином ««интерпретационная» грамматическая категория», введенным А.В. Бондарко (см., например, [Бондарко 1992]), никак с ним не связан. Под «интерпретационными» понимаются такие категории, в семантике которых преобладает «интерпретационный компонент», то есть способ отражения (интерпретация) некоторого явления объективной действительности в языковой форме. Так, согласно [Бондарко 1992], в русском языке интерпретационными грамматическими категориями являются залог и вид.

² Три последних языка находятся под угрозой исчезновения.

³ Подробнее о классификации языков майя см., например, в [Campbell, Kaufman 1985]. Современное состояние проблемы описано в [Zavala 2010].

⁴ Все пять языков, о которых идет речь, принадлежат к так называемому «равнинному» (lowlands) ареалу; об ареальном делении языков майя см., например, классическую работу [Kroeber 1939].

Попытка теоретического описания такой системы была предложена в [Виноградов 2012]. Мы будем следовать терминологии этой работы и называть наборы граммем «уровнями»; таким образом, речь пойдет о «двухуровневом» выражении аспектуальных или ТАМ-значений и о препозитивном и суффиксальном уровнях граммем и показателей в языках майя.

2.1. Общая характеристика

Особенность двухуровневых систем состоит в том, что значения из области аспекта, модальности и времени (грамматика языков майя обычно не членит эту область на отдельные составные части) выражаются дважды в составе одного глагольного комплекса: с помощью особого препозитивного показателя и глагольного суффикса. Так, в примере 1а из языка чоль имперфективный аспект выражен с помощью частицы *mi* и суффикса *-el*, а в примере 1б значение дуратива выражено с помощью особой препозитивной частицы и того же самого, что и в примере 1а, суффикса имперфектива.

Чоль:

- (1) a. *che' mi lak-chäm-el mi majl-el ti panchan*
 когда IPFV 1PL.INCL.A⁵-умирать-IPFV IPFV ходить-IPFV PREP небо
 'Когда мы умираем, она <душа> идет на небо' [Whittaker, Warkentin 1965: 87].
- b. *ma'añ-ik majki woli i-mejl-el i-k'ux*
 NEG-IRR кто-нибудь DUR 3.A-мочь-IPFV 3.A-есть-IPFV
 'Никто из них не мог есть' [Gutiérrez Martínez 2001: 61].

На примере 2 показана аналогично устроенная модальная область грамматической системы в юкатекском: показатель предиктива (передает значение абсолютной уверенности говорящего в том, что событие в будущем произойдет вне зависимости от чьей-либо воли или каких-либо внешних факторов) выражается совместно с показателем ирреалиса⁶.

Юкатекский:

- (2) *báanten bñin a jaant-en*
 почему PRED 2.A есть-IRR-1.B
 'Почему ты меня съешь?' [Andrade, Máas Collí 1999: 317].

2.2. Проблема необязательности ТАМ-граммем в юкатекском

Прежде чем перейти к рассмотрению грамматической ТАМ-системы в целом и анализу взаимодействия между ее «уровнями», необходимо подчеркнуть, что и рассматриваемый набор препозитивных показателей, и рассматриваемый набор суффиксов удовлетворяют двум критериям выделения грамматических категорий: обязательности и категориальности. Иначе говоря, оба уровня по отдельности могут рассматриваться как самостоятельные грамматические категории.

⁵ В чоле и юкатекском единственный актанта непереходного глагола в ряде случаев может выражаться эргативной серией местоименных аффиксов, а не абсолютивных. Данное явление подробно описано, например, в [Zavala 2010: 161–162]. Этот факт стал причиной отказа во многих дескриптивных работах от терминов «абсолютив» и «эргатив» применительно к некоторым языкам майя. В данной работе мы будем следовать этой традиции и обозначать префиксальную серию аффиксов, которые выражают эргатив при переходных глаголах, «А», а суффиксальную серию, выражающую абсолютив при переходных глаголах, – «В».

⁶ В данном случае при переходном глаголе ирреалис выражен нулем.

Единственную проблему здесь может представлять ограниченное число случаев, когда не соблюдается критерий обязательности. Все они затрагивают препозитивный уровень грамем и могут быть объяснены тем, что препозитивные ТАМ-показатели входят в класс предикативных элементов (показателей финитности). Тем не менее эти «периферийные» случаи заслуживают отдельного внимания в рамках данной статьи; мы разберем их на материале юкатекского языка.

Во-первых, препозитивные показатели являются обязательными в юкатекском лишь в главном предложении, но не в придаточном, где суффиксальные показатели могут, а иногда даже должны употребляться самостоятельно. Во-вторых, даже в главном предложении ни один из препозитивных показателей может не быть употреблен при наличии какого-либо лексического стативного предиката с аспектуально-модальным значением.

Первое свойство проиллюстрируем на следующих примерах. В предложении 3a глагол *il* 'видеть' употреблен в главном предложении и сопровождается препозитивным показателем перфектива, а в предложении 3b тот же самый глагол употреблен без препозитивного показателя (но с показателем ирреалиса из суффиксального набора, в данном случае при переходном глаголе имеющим нулевое выражение), поскольку находится в составе придаточного предложения цели.

Юкатекский:

- (3) a. *jup=p'éeel* *k'iin=e'* *t-uy* *il-aj* *u-baj* *yéetel*
 один=CLF день=DEM PFV-3.A видеть-PFV 3.POSS-REFL с
 и *chiich*
 3.POSS бабушка
 'Однажды он увиделся со своей бабушкой' [Andrade, Máas Collí 1999: 51].
- b. *ko'ot-en* *aw* *il* *le* *kéej=a'* *way*
 подходить-IMP 2.A видеть.IRR DEF олень=DEM здесь
 'Подойди посмотреть на этого оленя' [Andrade, Máas Collí 1999: 53].

Это явление объясняется тем, что юкатекские ТАМ-показатели выполняют также и синтаксическую функцию, являясь показателями финитности. Именно поэтому их употребление в зависимых (нефинитных) клаузах невозможно⁷. Поскольку грамматический критерий обязательности понимается не только как обязательное выражение, но и как обязательное невыражение значений при определенных условиях, данное ограничение на употребление препозитивных показателей не позволяет говорить о том, что рассматриваемый набор грамем не обладает свойством обязательности.

Другая проблема состоит в том, что препозитивные показатели обычно находятся в дополнительной дистрибуции с рядом (по всей видимости, потенциально неограниченным) лексических стативных предикатов. В качестве примера можно привести словоформу *suuk* 'иметь обыкновение', которая, как это продемонстрировано на примере 4, занимает место препозитивного показателя, линейно предшествуя эргативному местоимению.

Юкатекский:

- (4) *suuk* *uy* *áalkabans-ik* *xmeerech-o'ob*
 иметь.обыкновение 3.A преследовать-IPFV мерече-PL
 'Она имеет обыкновение преследовать мерече'⁸ [K'aaulyay 2006: 58].

⁷ «Редукция» грамматических категорий (в том числе и ТАМ-категорий) в придаточных предложениях засвидетельствована во многих языках и описана типологически: см., например, [Cristofaro 2003].

⁸ Мерече – разновидность ящериц.

Класс таких слов, как *suuk*, весьма обширен. Как правило, они выражают значения из области модальности, аспекта или времени: например, *sáansamal* 'каждый день' (пример 5).

Юкатекский:

- (5) *sáansamal* u bin tóok chúuk utia'al u kon-cj
каждый.день 3.A ходить-IPFV жечь-IRR уголь чтобы 3.A продавать-IRR.3.B
'Каждый день он ходил жечь уголь, чтобы продать его' [Andrade, Máas Colli 1999: 263].

Данное ограничение тоже объясняется исходя из синтаксической природы ТАМ-показателей. Совершенно естественно, что наличие одного предикативного элемента несет в себе запрет на появление другого и, таким образом, блокирует выражение препозитивной ТАМ-категории. Однако необходимо отметить, что юкатекские лексемы, «замещающие» граммы препозитивного уровня, не обязательно полностью исключают возможность их употребления. Случаи сосуществования двух предикативных элементов, по-видимому, носят маргинальный характер, но в текстах все же встречаются: см. пример 6.

Юкатекский:

- (6) *sáansamal* k-u ts'on-ik kéej
каждый.день IPFV-3.A охотиться-IPFV олень
'Каждый день он охотился на оленей' [Andrade, Máas Colli 1999: 51].

Функция у лексических «заменителей» точно такая же, как и у препозитивных ТАМ-граммем: синтаксически они являются показателями финитности клаузы, а семантически – уточняют значения базовой категории. Более того, даже линейная позиция у этих лексических элементов точно такая же, как и у грамматических частиц: они открывают глагольный комплекс, предшествуя личному местоимению (см. примеры 4, 5). Этот факт наряду с этимологическими свидетельствами служит основанием для рассмотрения юкатекской системы как грамматикализационного континуума от лексических предикатов через вспомогательные глаголы к префиксальным маркерам (см. [Lehmann 1993]).

2.3. ТАМ-категории как единая грамматическая система

Таким образом, нет никаких существенных формальных препятствий для того, чтобы считать препозитивные и суффиксальные маркеры показателями двух различных и никак не связанных друг с другом грамматических категорий. Тем не менее, как мы полагаем, такой подход не в полной мере отражал бы суть изучаемого языкового явления по двум причинам: во-первых, разные наборы показателей выражают значения из одной и той же семантической области, а во-вторых, они тесно взаимосвязаны четкими правилами сочетаемости.

Первая причина, однако, абсолютно нерелевантна, если подходить к определению грамматической категории с формальной точки зрения: наборы граммем, выражаемых препозитивными частицами и выражаемых суффиксально во всех языках майя, о которых идет речь, представляют собой множества взаимоисключающих элементов, выбор одного и только одного из которых строго обязателен⁹. Иными словами, и та и другая парадигма показателей полностью удовлетворяют формальным требованиям, предъявляемым к грамматической категории по определению.

Однако, следуя такому подходу, мы подгоняем реальные языковые явления под существующие теоретические рамки. Если отвлечься от теоретического формализма,

⁹ Исключения были описаны выше.

то встает необходимость учесть взаимосвязь этих грамматических категорий друг с другом, а для этого у исследователя чрезвычайно мало инструментов, поскольку «проблема взаимодействия категорий является одной из наименее разработанных в теории грамматики» [Плунгян 2011: 73].

2.4. Аспектуальная система в языке чоль

Прежде чем перейти к вопросу о сочетаемости препозитивных и суффиксальных граммем, необходимо рассмотреть всю систему в целом. Система языка чоль немного отличается от систем юкатекских языков количеством и конкретным набором граммем и отсутствием в системе значений из области модальности и временной дистанции, но эти отличия не касаются формальной структуры грамматического выражения. Систему чоля можно назвать аспектуальной, так как в нее входят только граммемы, выражающие аспектуальные значения. Системы же юкатекских языков мы будем называть ТАМ-системами. Сначала рассмотрим общие свойства на примере аспектуальной системы языка чоль, так как она более проста и компактна, а затем сравним ее с системой юкатекского языка как наиболее распространенного представителя юкатекской ветви языковой семьи майя.

Графически чольская аспектуальная система может быть представлена так, как это показано на схеме 1.

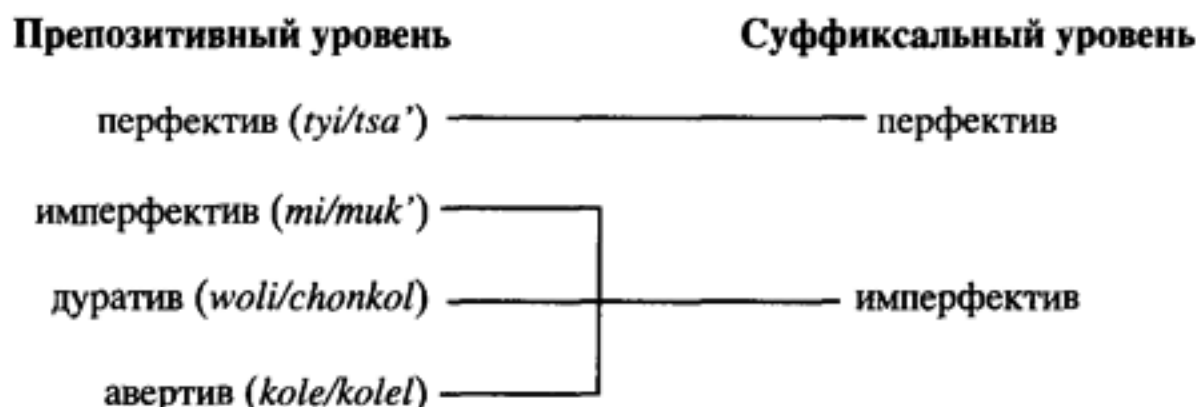


Схема 1. Аспектуальная система языка чоль¹⁰

Граммемы двухуровневых систем не только состоят в отношении категориальности с другими граммемами в рамках своего уровня, но вступают также и в иерархические отношения с граммемами другого уровня. Иными словами, если обычная грамматическая категория может быть графически изображена в виде простого списка, элементами которого являются ее граммемы, то двухуровневая грамматическая система должна быть представлена в виде иерархической структуры с указанием на наличие или отсутствие связей (они изображены линиями на схеме 1) между отдельными элементами разных уровней. Так, приведенные выше в примерах 1 препозитивные показатели имперфектива и дуратива могут сочетаться только с суффиксальным показателем имперфектива, но не перфектива.

В связи с ограничениями на сочетаемость одних граммем с другими необходимо сделать несколько важных замечаний. Как видно на схеме 1 и как будет еще более наглядно показано на схеме 2 (ниже), граммем суффиксального уровня заметно меньше, чем препозитивного. Это может быть связано с их семантикой: граммемы суффиксального уровня выражают более общие значения, а препозитивного – более частные. Иерархия граммем, вероятнее всего, основана на семантическом отношении гипо- и гиперонимии: граммемы препозитивного уровня как бы «уточняют» значения граммем суффиксального уровня. Однако необходимо признать, что, во-первых, исследовать

¹⁰ В связи с отсутствием устоявшейся терминологии для некоторых граммем на схемах 1, а также 2 и 3 (ниже) в скобках, где это необходимо, приводится грамматический показатель. В случае наличия более двух алломорфов указываются только два наиболее распространенных.

значение граммы одного уровня отдельно от значения сочетающейся с ней граммы другого уровня практически невозможно: друг без друга они практически не употребляются¹¹, а во-вторых, есть ряд исключений из правила о гипо-/гиперонимичности междуровневых отношений. Так, подобным образом плохо объясняется сочетаемость авертива (несовершенного или отмененного действия в прошлом) с имперфективом в чоле, а также перфекта и целого ряда модальных грамм с имперфективом и грамм временной дистанции с ирреалисом в юкатекском (см. ниже)¹². Приходится признать, что граммы суффиксального уровня, несмотря на то что для их наименования используется аспектуальная номенклатура, часто имеют очень размытую семантику. В большинстве случаев их удобнее считать семантически почти пустыми и выполняющими скорее синтаксические функции.

Наличие двух уровней в грамматической системе в первую очередь может быть обусловлено сложным семантическим устройством той понятийной области, значения из которой выражаются элементами этой системы. Так, категория аспекта с ее «первичными» значениями, характеризующими разные стадии развития ситуации, «вторичными» значениями, характеризующими переход предиката из одного акционального класса в другой (о «первичном» и «вторичном» аспекте см. подробнее в [Плунгян 2012: 12–13]), а также кластеризацией значений¹³, несомненно, является крайне сложно устроенной семантической областью, которая может требовать особых, дополнительных «приспособлений» для своего адекватного выражения грамматикой языка. Именно явление аспектуальной кластеризации предоставляет обширные возможности для наличия гипо- и гиперонимических отношений между граммами: исходя из самого определения кластера его значение является «родовым» по отношению ко всем входящим в него более частным значениям.

2.5. ТАМ-система в юкатекском

Как показывает материал языков майя, семантическая область, которая стоит за двухуровневой системой, бывает устроена сложнее, чем в языке чоль. В языках юкатекской группы совместно с аспектуальными в рамках единой двухуровневой грамматической системы выражаются также значения из области модальности и временной дистанции. На схеме 2 приведена структура ТАМ-системы в юкатекском.

Сравнивая эту систему с аналогичной системой языка чоль (см. схему 1), можно заметить ряд отличий и, что важнее, ряд формальных сходств. Главное различие, конечно, состоит в объеме: в юкатекском вдобавок к трем граммам суффиксального уровня представлено 15 различных грамм препозитивного уровня¹⁴, что делает эту систему уже саму по себе весьма необычной, даже без учета ее неординарного двухуровневого устройства. По сравнению с чолем юкатекский имеет дополнительную модальную грамму ирреалиса на суффиксальном уровне, а также девять препозитивных грамм: пять модальных и четыре временной дистанции.

Однако формальная структура системы юкатекского точно такая же, как и у системы чоля: граммы так же распределены по двум уровням, на суффиксальном уровне их

¹¹ Из этого правила могут быть исключения, касающиеся лишь отдельных показателей суффиксального уровня. Так, уже отмечалось, что в юкатекском в придаточных предложениях суффиксальные показатели употребляются без препозитивных. В чоле в крайне редких случаях суффиксальный показатель имперфектива может не сопровождаться никаким препозитивным показателем, когда выражает кульминацию в нарративном дискурсе.

¹² Проблема семантики междкатегориальных отношений, как и проблема грамматической семантики аспектуально-модальных показателей в языках майя вообще, на данный момент изучена недостаточно хорошо.

¹³ Под аспектуальными кластерами обычно понимаются «полисемичные конкретно-языковые грамматические показатели» [Плунгян 2012: 13].

¹⁴ В разных работах, посвященных грамматике юкатекского майя, число этих грамм может варьировать: мы опираемся на наиболее полное и современное исследование [Bohnetmeyer 1998]. Оттуда же в основном заимствованы и названия грамм препозитивного уровня.

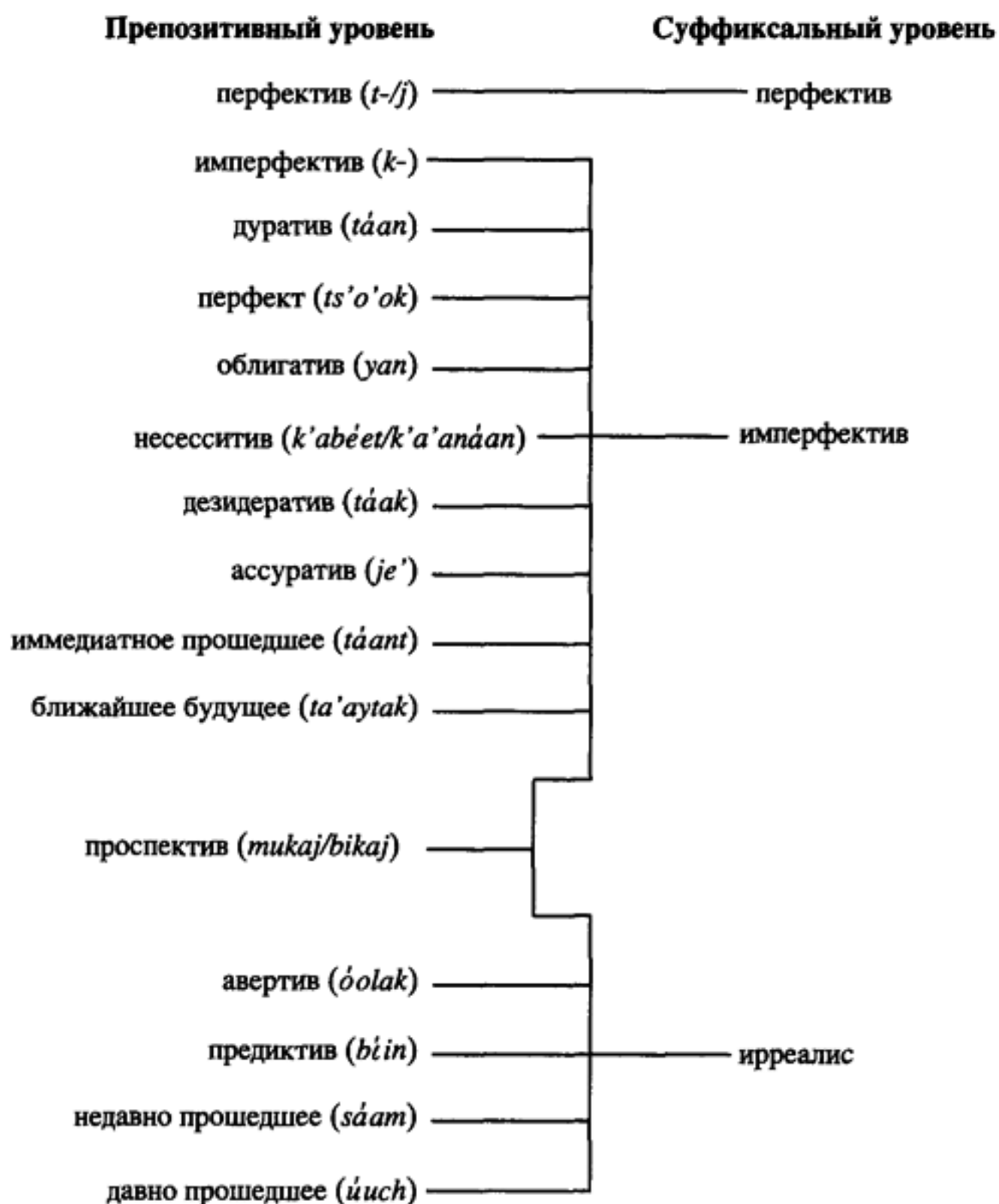


Схема 2. ТАМ-система в юкатекском

меньше, чем на препозитивном, и их значения более общие, а на препозитивном уровне, наоборот, граммем больше, но они выражают более частные значения. Как и в чоле, каждая препозитивная граммема должна выражаться совместно со строго определенной суффиксальной граммемой и только с ней. Исключение составляет лишь граммема проспектива, которая на схеме 2 соединена и с имперфективом суффиксального уровня, и с ирреалисом. Но и здесь выбор одного из двух возможных сочетаний обусловлен не семантически, а синтаксически, так как зависит исключительно от переходности глагола: с непереходными глаголами выбирается имперфектив, а с переходными – ирреалис [Bohnemeyer 1998: 25]. Иначе говоря, зная формальные свойства глагола, с которым употреблен показатель проспектива, всегда можно со стопроцентной точностью определить показатель суффиксального уровня, с которым он будет сочетаться.

3. ПОНЯТИЕ «ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЙ» КАТЕГОРИИ

Проблема теоретической трактовки описанных выше систем и проблема применимости к ним термина «грамматическая категория» могут быть решены по крайней мере двумя способами. Во-первых, может быть пересмотрено понятие грамматической категории. Это было бы достаточно смелым шагом, поскольку данное понятие

существует уже несколько десятков лет и является основополагающим для теории грамматики. Тем не менее сам процесс пересмотра и уточнения теоретических понятий является совершенно естественным: по мере открытия новых языковых фактов, которые не укладываются или не совсем укладываются в существующие теоретические рамки, возникает естественная потребность в раздвижении этих рамок, дабы избежать разрыва между теорией и теми реалиями, которые она призвана описывать и объяснять.

Двухуровневые системы языков майя можно было бы считать особой двухуровневой грамматической категорией, которая является разновидностью «обычной» грамматической категории, если внести в определение этого понятия следующее изменение: допустить возможность неполного соблюдения принципа категориальности, когда того требует семантическое единство обоих уровней. Нарушение категориальности касается лишь межуровневых отношений; категориальность внутри каждого отдельного уровня граммем неизменно должна сохраняться, а сочетаемостные отношения между уровнями должны строиться на однозначном (но не взаимно-однозначном!) соответствии граммем одного уровня граммемам другого уровня.

Другим вариантом решения теоретической проблемы двухуровневых систем, который позволит избежать пересмотра понятия грамматической категории и в то же время учесть семантико-синтаксические связи между двумя уровнями граммем, является введение понятия «интерпретирующей»¹⁵ грамматической категории. Такую «интерпретирующую» категорию можно определить как грамматическую категорию, обязательно употребляющуюся совместно с какой-либо другой грамматической категорией, значения которой она интерпретирует (т. е. уточняет или модифицирует). При этом «базовая» категория также либо вообще не может употребляться без интерпретирующей категории, либо не могут отдельно употребляться только некоторые ее граммемы, по тем или иным причинам требующие обязательного уточнения своего значения граммемами интерпретирующей категории.

Так, согласно предложенному определению, в языках майя мы имеем дело с интерпретирующей категорией аспекта (в языке чоль) и с интерпретирующей ТАМ-категорией (в юкатекских языках). Суффиксальный уровень двухуровневых систем при таком подходе составляет базовую грамматическую категорию, а препозитивный – интерпретирующую.

Единственный случай, когда говорить о модификации граммемой интерпретирующей категории значения граммемы базовой категории не совсем корректно, – когда с одной из базовых граммем может употребляться одна и только одна интерпретирующая. В такой ситуации у говорящего нет возможности выбрать другую препозитивную граммему и добиться альтернативной интерпретации значения граммемы базовой категории. Именно эта ситуация имеет место в ТАМ-системе языков майя с граммемами перфектива: и в чоле, и в юкатекском перфектив суффиксального уровня сочетается с перфективом препозитивного и только с ним (см. схемы 1, 2).

Как будет показано в разделе 4, ситуация, при которой одна или несколько граммем базовой категории вообще не требуют интерпретации своего значения, вполне обычна. С такими базовыми граммемами язык чаще вообще отказывается употреблять какую бы то ни было интерпретирующую граммему (см. описание таких систем в подразделах 4.2 и 4.3). В случае с ТАМ-системами в майя стратегия иная: по-видимому, валентность, предусмотренная в глагольном комплексе для показателей интерпретирующей категории, обязательно должна быть заполнена, и в случае с перфективом, несмотря на отсутствие семантического противопоставления, она заполняется исключительно из формальных соображений.

Важно отметить следующую закономерность в линейном расположении показателей базовой и интерпретирующей грамматических категорий. В предыдущем разделе

¹⁵ Мы благодарны В.А. Плуныню, который предложил данный термин.

говорилось о том, что показатели базовой ТАМ-категории в языках майя являются суффиксальными, тогда как показатели интерпретирующей категории препозитивны и всегда предшествуют префиксальным лично-числовым показателям (см. выше примеры 1 и 2). Более того, между частицами, выражающими значения интерпретирующей категории, и глагольной словоформой могут находиться некоторые наречия, как это показано в примере 7.

Чоль:

(7) wäle ma'an=ix woli k-chän toj k-mul
теперь NEG=уже DUR I.A-постоянно платить.IPFV I.POSS-грех
'Теперь я больше не расплачиваюсь за свои грехи' [Whittaker, Warkentin 1965: 124].

Наречием 'постоянно' отделен от корня в данном случае не только препозитивный показатель дуратива, но и показатель лица субъекта. Таким образом, линейная позиция интерпретирующих показателей находится значительно дальше от глагольного корня, чем позиция базовых показателей. Такое линейное расположение грамматических показателей характеризует не только ТАМ-систему глагола в языках майя, но, как будет показано в разделе 4, все грамматические системы с аналогичным устройством, где могут быть выделены базовая и интерпретирующая категории.

Это полностью соответствует принципу релевантности Дж. Байби и «грамматике порядков» (впервые описана в [Gleason 1955]; см. также [Ревзин, Юлдашева 1969]). В терминах Байби, один языковой элемент считается релевантным по отношению к другому, если «семантическое наполнение первого элемента затрагивает или модифицирует семантическое наполнение второго элемента» [Вубее 1985: 13]. Степень релевантности может варьировать и отражается в линейной удаленности элементов друг от друга. Чем ближе к глагольному корню расположен элемент, тем более тесно он семантически связан с лексическим значением корня. Так, базовая категория всегда более «релевантна» по отношению к корневой морфеме, чем интерпретирующая, что совершенно естественно: значения интерпретирующей категории в первую очередь связаны со значениями базовой категории, и лишь затем, через посредство базовой категории, – с корнем.

4. ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В ЯЗЫКАХ МАЙЯ И В ЯЗЫКАХ ДРУГИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АРЕАЛОВ

Вводя новое теоретическое понятие, было бы полезно хотя бы примерно оценить его потенциальную теоретическую значимость: применимо ли оно к каким-либо другим языковым явлениям, помимо того, для описания которого оно, собственно, и было создано. В связи с понятием интерпретирующей грамматической категории таких явлений может найтись довольно много, причем как в рамках самих языков майя, так и за их пределами.

4.1. ТАМ-системы индоевропейских и нахско-дагестанских языков

Двухуровневые грамматические системы с интерпретирующей категорией, представленные в некоторых языках майя и подробно описанные в разделе 2, можно сравнить с системами с несколькими глагольными основами, от которых образуются разные временные, аспектуальные и модальные формы. Подобные системы представлены во многих языках мира: например, в ряде языков Кавказа и Европы. Они обычно не рассматриваются как «двухъярусные», а факту образования разных грамматических форм от разных основ часто не уделяется должного теоретического внимания (хотя см., например, работы [Aronoff 1994] и [Blevins 2003]). Правила образования тех или иных форм обычно подробно описаны в дидактических пособиях, но их семантическая составляющая во многих случаях остается не до конца изученной. Эта проблема отмечена на примере латинских причастий будущего времени в [Aronoff 1994: 32–33]: будущее

активное причастие образуется прибавлением суффикса *-ir* к основе перфектного причастия, тогда как перфектное причастие обычно пассивно. Пассивное же причастие будущего времени (герундив) образуется от основы настоящего времени. Таким образом, соотношение семантики исходной основы и результирующей семантики глагольной формы остается под вопросом.

Наличие в языке нескольких основ предполагает выражение ими наряду с лексическим также и грамматического значения. При этом конкретный способ образования основы (супплетивизм, чередование, добавление отдельной морфемы и т. п.) не важен, поскольку для грамматической теории нет принципиальной разницы между «морфемой» и «операцией». Удобным формальным аппаратом для описания грамматических систем с несколькими основами могли бы стать понятия базовой и интерпретирующей категорий.

Так, например, греческая или латинская глагольная парадигма может быть описана как взаимодействие базовой грамматической ТАМ-категории, формирующей основу глагола, и интерпретирующей категории, граммемы которой передают непосредственно видо-временные значения. Глагольная система древнегреческого языка с основами презенса, аориста и перфекта, таким образом, по своей структуре окажется похожа на юкатекскую глагольную систему (раздел 2.5). Аналогичным устройством отличается и латинская глагольная парадигма. Способ образования основы при этом может быть различным: иногда, как в юкатекском, используются отдельные морфемы (*laudāre* 'хвалить': *laudā-t – laudā-v-i – laudā-t-um*), а иногда применяются более сложные морфологические инструменты (*scribere* 'писать': *scrib-i-t – scrips-i – script-um*), не позволяющие на синхронном уровне вычленить отдельный морфологический показатель.

«Двухъярусное» устройство имеет и ряд языков кавказского региона: например, даргинский [Беляев 2012] или удинский [Талибов, Майсак 2005; Майсак 2008]. Так, в большинстве нахско-дагестанских языков представлены две глагольные основы, называемые обычно перфективной и имперфективной. Вместе с ними употребляются аффиксальные показатели, выражающие значения аспекта, времени и модальности. Согласно предложенному в данной работе определению, грамматическую категорию, которую составляют эти показатели, мы будем называть интерпретирующей¹⁶.

Система некоторых нахско-дагестанских языков оказывается практически идентичной системе чоля и юкатекских языков семьи майя, с той лишь незначительной морфологической разницей, что интерпретирующая ТАМ-категория выражается не препозитивно, а суффиксально. Семантическая же структура (разумеется, с точностью до конкретного набора грамем) оказывается такой же: ср. схему 3 для удинского языка со схемами, приведенными в разделе 2 для языков майя.

В большинстве случаев граммемы интерпретирующей категории «уточняют исходное значение видовой основы»; то есть, как и в языках майя, «происходит не аддитивное сочетание значений, а частичное их пересечение» [Беляев 2012: 215]. Более того, что также соответствует майянскому материалу, во многих нахско-дагестанских языках «большинство видо-временных парадигм сочетаются либо с перфективом, либо с имперфективом, но не с обеими основами сразу» [Там же: 214]. Правда, рассматриваемый в цитируемой работе даргинский язык как раз отличается тем, что имеет ряд исключений из этого правила.

¹⁶ Во многих работах, посвященных дагестанским языкам, глагольные основы или вообще не рассматриваются с точки зрения грамматических категорий, или называются «видовыми». См., например, терминологию в [Беляев 2012], где говорится о присоединении к видовым основам суффиксов аспекта, времени и модальности. То есть фактически уже на уровне терминологии подчеркивается общность (по крайней мере частичная) той семантической зоны, за которую отвечают две рассматриваемые грамматические категории, но благодаря особенностям лингвистической терминологической традиции в области аспекта и сосуществованию двух синонимичных (или почти синонимичных) терминов «вид» и «аспект» автору удается избежать описания двух разных категорий в одних и тех же терминах.

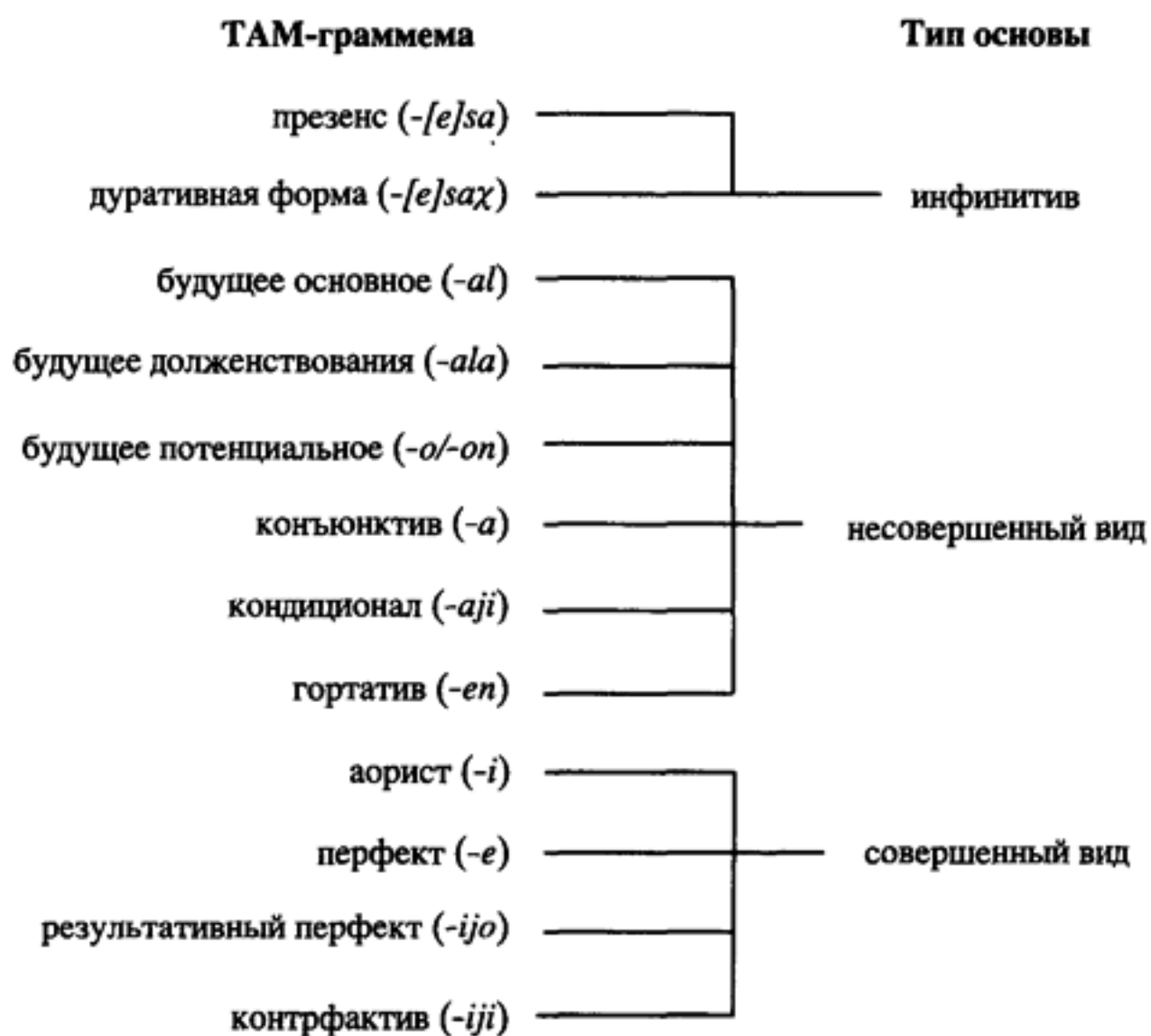


Схема 3. Фрагмент структуры глагольной парадигмы удинского языка
(по [Майсак 2008])¹⁷

4.2. Система выражения детерминации в языке цоциль

В языке цоциль, относящемся к цельталанской ветви языковой семьи майя (к той же, к которой относится язык чоль), аспект выражается обычной «одноуровневой» грамматической категорией. Однако в нем двухуровневая структура обнаруживается у грамматического выражения детерминации благодаря наличию дополнительной интерпретирующей категории.

Грамматическая система детерминации в языке цоциль устроена следующим образом: есть два различных определенных артикля *li* и *ti*, которые обязательно должны сопровождаться энклитикой *-e*. Получается, как это можно видеть на примерах 8, своего рода циркумфиксное выражение.

Цоциль:

(8) а. **li** t'ul=e ta x-elk'an to ox melon
DEF кролик=ENCL IPFV IPFV-воровать еще не.сейчас дыня
 'Кролик воровал дыни' [полевые записи 07/11/2011]¹⁸.

¹⁷ На схеме представлен лишь тот фрагмент глагольной парадигмы, который состоит из финитных форм, выражающих аспектуально-темпорально-модальные значения. Мы не рассматриваем императив и нефинитные формы. Все названия граммем и показатели полностью заимствованы из [Майсак 2008].

¹⁸ Полевая работа с носителями синакantanского диалекта языка цоциль была проведена во время нашего пребывания в Учебно-образовательном центре по социальной антропологии города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, штат Чиapas, Мексика. Мы выражаем признательность Роберто Савала и другим сотрудникам Центра, а также нашему консультанту Хуану Хавьеру Пересу. Финансирование полевой работы было осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика».

возможно, что для двухуровневых грамматических систем вообще крайне характерно такое «комплексное» семантическое устройство: в разделе 2 мы показали, что аспект в тех языках семьи майя, где он выражается при помощи дополнительной интерпретирующей категории, также часто сочетает в себе еще и значения из других семантических областей: модальности и временной дистанции.

4.3. Категория ключивности как интерпретирующая категория

Другая аналогия с аспектуально-модальными системами – это выражение значений ключивности. Семантика категории ключивности, которая выражает включение или невключение слушающего в состав участников первого лица множественного числа, такова, что эта категория совершенно естественным образом становится интерпретирующей: она семантически может сочетаться исключительно с одной граммемой категории лица (и числа), уточняя ее значение. В тех языках, где ключивность выражается не кумулятивно с первым лицом множественного числа (т.е. можно выделить два отдельных показателя: лично-числовой и ключивный), мы имеем дело, если придерживаться введенной в данной работе терминологии, с интерпретирующей грамматической категорией ключивности.

Именно так, например, если продолжать рассматривать материал языков майя, устроена категория ключивности в языке цоциль. Обычно выделяются инклюзивные суффиксы *-tik* или *-otik* (в зависимости от синтаксической роли: первый суффикс сочетается с эргативными или посессивными лично-числовыми префиксами, а второй – с абсолютивными: см. примеры 9) и эксклюзивные суффиксы *-tikotik* или *-otikotik* (распределенные точно так же: см. примеры 10) [Aissen 1987: 46–47].

Цоциль:

- (9) a. *bweno, j-tsak-tik, xi ti pukuj=e*
 хорошо 1.ERG-ловить-1PL.INCL 3.ERG.PFV.говорить DEF дьявол=ENCL
 'Хорошо, мы поймаем его, сказали дьяволы' [Laughlin 1977: 26].
- b. *y-u'un xa li' ch-i-laj-otik=e*
 3.POSS-причина уже здесь IPFV-1.ABS-умирать-1PL.INCL=ENCL
 'Потому что мы сейчас уже умрем' [Laughlin 1977: 34].

Цоциль:

- (10) a. *mu xa xu' k-u'un-tik-otik=e*
 NEG уже быть.способным 1.POSS-причина-1PL-EXCL=ENCL
 'Мы больше не можем делать это сами' [Laughlin 1977: 38].
- b. *l-i-bat-otik-otik ta te'-tik k'al s-na*
 PFV-1.ABS-уходить-1PL-EXCL PREP дерево-PL.EXT где 3.POSS-дом
j-muk' tot
 1.POSS-большой отец
 'Мы ушли в леса, где находится дом моего дедушки' [Laughlin 1977: 94].

Систему выражения значений ключивности было бы правильно рассматривать несколько иначе. Может быть выделен общий суффикс *-(o)tik*, выражающий первое лицо и множественное число, и прибавляющийся к нему суффикс *-otik*, выражающий эксклюзивность (как это показано при глоссировании). Инклюзивность при этом выражается нулем и является, если рассуждать в терминах маркированности, «немаркированным» значением интерпретирующей грамматической категории ключивности.

На схеме 5 представлена двухуровневая лично-числовая система языка цоциль, аналогичная системам аспекта в чоле, ТАМ в юкатекском и удинском и детерминации в цоциле (схемы 1–4). Отдельно рассматривать эргативную и абсолютивную парадигму нет смысла, так как их структура (но не конкретное морфологическое наполнение) абсолютно идентична.

Категория лица и числа

Категория к्लюзивности

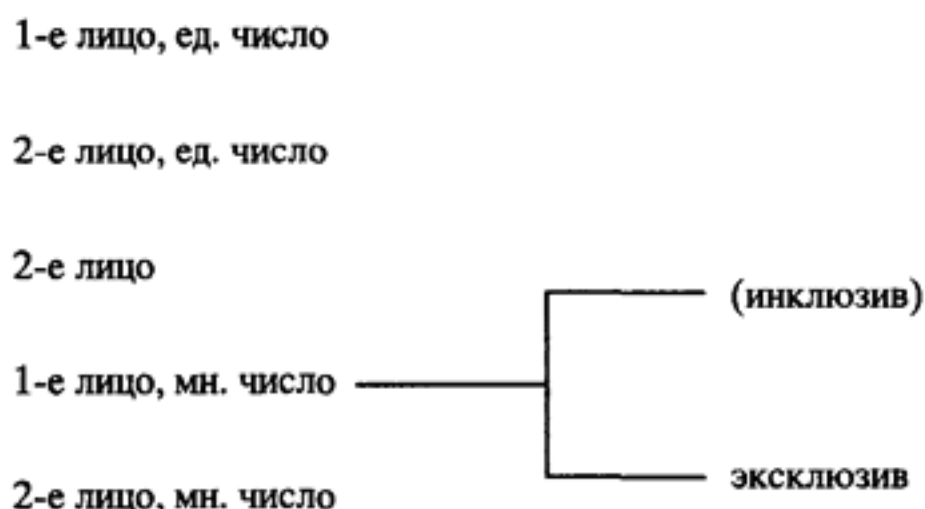


Схема 5. Лично-числовая система абсолютного маркирования в цоциле

Отметим также, что у эргативно-посессивного эксклюзивного суффикса есть алломорф *-kotik / -kutik*²⁰ (пример 11).

Цоциль:

- (11) k'usba ch-i-kuxi-kutik ti k'alal-uk mu'yuk li'
 как IPFV-1.ABS-жить-1PL.EXCL REL когда-IRR NEG.EXIST здесь
 оу-от=e
 EXIST-2.ABS=ENCL
 'Как мы будем жить, когда тебя с нами не будет?' [Había una vez 2005: 32]

Входящие в состав данного суффикса показатель первого лица множественного числа и показатель эксклюзивности неотделимы друг от друга. Поэтому данная форма имеет лишь «семантическую» двухуровневость, но не морфологическую. Неудивительно, что кумулятивное выражение особенно активно развивается, когда две морфемы, принадлежащие базовой и интерпретирующей грамматическим категориям, линейно соседствуют друг с другом, как это происходит в случае выражения к्लюзивности в языке цоциль. Именно поэтому двухуровневые системы, где один уровень выражается суффиксальными показателями, а другой – препозитивными, как в рассмотренных выше примерах с категориями аспекта (или TAM-категории) и детерминации, гораздо более устойчивы и не имеют тенденции к кумулятивному выражению значений.

Подобная структура категории к्लюзивности, которая была выше описана для языка цоциль, встречается и в языках других географических ареалов. Например, наличие отдельных морфем, выражающих значения инклюзивности и эксклюзивности и употребляющихся совместно с показателем первого лица множественного числа, характерно для некоторых языков тибето-бирманской группы.

Так, в языке баима (восточно-тибетская ветвь) местоимения первого лица множественного числа имеют вид *zo-ko* и *ne-ko* [LaPolla 2005: 297], где *ko* является лично-числовым показателем, а *zo* и *ne* – показателями инклюзивности и эксклюзивности соответственно. Отличие системы баима от системы цоциля состоит в том, что оба значения категории к्लюзивности имеют морфологическое выражение и ни один из них не выражен нулем.

Клюзивность может быть выражена не отдельно, а совместно с числом – такова ситуация в языке ладакхи (западно-тибетская ветвь), где местоимения первого лица множественного числа образованы от местоимения первого лица единственного числа

²⁰ Различия в качестве гласной обусловлены диалектно.

на при помощи двух суффиксов: *təŋ* и *zə* [LaPolla 2005: 297], кумулятивно выражающих множественное число с инклюзивностью и с эксклюзивностью соответственно.

Таким образом, в баима и ладакхи также могут быть выделены показатели интерпретирующей грамматической категории ключивности (а во втором случае – ключивности и числа). В силу своей семантики они используются только с первым лицом и уточняют его значение: включается адресат в состав участников или нет. Подчеркнем, что данная категория имеет несомненный грамматический статус, поскольку она обязательна в рамках своей, пусть и очень узкой, сферы употребления: говорящий, выражая значение первого лица множественного числа (а также двойственного, если оно есть в грамматической системе), не может отказаться от уточнения ключивности; иными словами, он не может употребить просто форму первого лица множественного числа без какого-либо ключивного показателя. Важным отличием от ТАМ-систем в чоле и юкатекском, однако, является тот факт, что граммемы базовой категории, не позволяющие уточнить свое значение граммемами интерпретирующей категории, не требуют обязательного заполнения этой валентности семантически пустым показателем, как это происходит в случае с перфективной ТАМ-граммемой.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двухуровневые системы выражения аспектуальных значений в языке чоль и значений из совместной области аспекта, модальности и временной дистанции в языках юкатекской ветви семьи майя представляют собой такие грамматические системы, которые состоят из двух наборов взаимоисключающих (внутри каждого из наборов) грамматических значений, одно и только одно из которых обязательно должно быть выражено (опять же из каждого набора). Выбор того или иного значения из одного набора строго детерминирует выбор значения из другого набора, но обратное неверно. При этом значения из обоих наборов принадлежат к одной и той же семантической области и правила сочетаемости друг с другом значений из разных наборов во многих случаях могут быть обусловлены семантическим отношением гипо- и гиперонимии, в которое вступают граммемы разных уровней. Подобные системы из двух тесно взаимосвязанных семантически и синтаксически грамматических категорий мы предложили описывать в терминах «базовой» и «интерпретирующей» грамматических категорий.

Понятие интерпретирующей грамматической категории может оказаться полезным, когда внутренняя структура выражаемой в грамматике семантической области²¹ представляет собой не список, а иерархию. По всей видимости, типологически такие системы достаточно редки, однако мы привели ряд свидетельств, доказывающих, что в некоторых языках майя они могут быть предложены сразу для трех семантических областей: аспекта-модальности, определенности и ключивности. Вполне вероятно, что одни естественные языки (например, языки семьи майя) могут иметь более яркую тенденцию к отражению в грамматике особенностей семантической взаимосвязи между отдельными грамматическими категориями или их значениями, чем другие.

Наличие безусловных параллелей с глагольными системами в некоторых языках Кавказа и Европы и с системами выражения значений ключивности в отдельных языках тибето-бирманской группы доказывает наличие типологического потенциала у понятия интерпретирующей грамматической категории. Возможно, осмысление факта существования данного феномена в типологическом плане поможет обнаружить подобные «двухуровневые» (а может быть, и «многоуровневые») грамматические системы и в каких-либо других языках мира, где они есть, но в связи с отсутствием хорошего инструмента теоретического описания пока остались незамеченными.

²¹ Как мы показали, область может быть любой (глагольной, именной), но, по всей видимости, чем сложнее она устроена семантически, тем с большей вероятностью она будет сложно устроена грамматически.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А – серия местоименных показателей А,	IMP – императив,
ABS – абсолютив,	INCL – инклюзив,
В – серия местоименных показателей В,	IPFV – имперфектив,
CLF – классификатор,	IRR – ирреалис,
DEF – определенность,	NEG – отрицание,
DEM – демонстратив,	PFV – перфектив,
DUR – дуратив,	PL – множественное число,
ENCL – энклитика,	POSS – посессивный показатель,
ERG – эргатив,	PRED – предиктив,
EVID – эвиденциальность,	PREP – предлог,
EXCL – эксклюзив,	REFL – рефлексивное местоимение,
EXIST – экзистенциальный предикат,	REL – маркер придаточного предложения.
EXT – экстенсивная множественность,	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Беляев 2012 – *О.И. Беляев*. Аспектуально-темпоральная система аштынского даргинского // Исследования по теории грамматики. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. СПб., 2012.
- Бондарко 1992 – *А.В. Бондарко*. К проблеме соотношения универсальных и идиоэтнических аспектов семантики: интерпретационный компонент грамматических значений // Вопросы языкознания. 1992. № 3.
- Виноградов 2012 – *И.А. Виноградов*. Аспектуальные системы языков майя // Исследования по теории грамматики. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. СПб., 2012.
- Майсак 2008 – *Т.А. Майсак*. Глагольная парадигма удинского языка (ниджский диалект) // М.Е. Алексеев (отв. ред.), Т.А. Майсак (отв. ред.), Д.С. Ганенков (ред.), Ю.А. Ландер (ред.). Удинский сборник: грамматика, лексика, история языка. М., 2008.
- Плунгян 2003 – *В.А. Плунгян*. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2003.
- Плунгян 2011 – *В.А. Плунгян*. Введение в грамматическую семантику: Грамматические значения и грамматические системы языков мира. М., 2011.
- Плунгян 2012 – *В.А. Плунгян* (отв. ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий. СПб., 2012.
- Ревзин, Юлдашева 1969 – *И.И. Ревзин, Г.Д. Юлдашева*. Грамматика порядков и ее использование // Вопросы языкознания. 1969. № 1.
- Талибов, Майсак 2005 – *Б.Б. Талибов, Т.А. Майсак*. Удинский язык // Языки Российской Федерации и соседних государств: Энциклопедия. Т. 3. М., 2005.
- Aissen 1987 – *J.L. Aissen*. Tzotzil clause structure. Dordrecht, 1987.
- Andrade, Máas Colli 1999 – *M.J. Andrade, H. Máas Colli* (eds). Cuentos mayas yucatecos. T. 1. Mérida, 1999.
- Aronoff 1994 – *M. Aronoff*. Morphology by itself. Stems and inflectional classes. Cambridge; London, 1994.
- Blevins 2003 – *J. Blevins*. Stems and paradigms // *Language*. 2003. V. 79. № 4.
- Bohnemeyer 1998 – *J. Bohnemeyer*. Time relations in discourse: Evidence from a comparative approach to Yukatek Maya. Tilburg, 1998.
- Bybee 1985 – *J.L. Bybee*. Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
- Campbell, Kaufman 1985 – *L. Campbell, T. Kaufman*. Mayan linguistics: Where are we now? // *Annual review of anthropology*. 1985. № 14.
- Cristofaro 2003 – *S. Cristofaro*. Subordination. Oxford, 2003.
- Gleason 1955 – *H.A. Gleason*. An introduction to descriptive linguistics. New York, 1955.
- Gutiérrez Martínez 2001 – *V.R. Gutiérrez Martínez* (ed.). Selección de cuentos: Chol. Tuxtla Gutiérrez, 2001.
- Había una vez 2005 – *Había una vez una noche...* Cuentos, leyendas, historias desde las montañas de Chiapas. www.serazln-altos.org/habia_una_vez_una_noche_cast_tsotsil.pdf. 2005.
- Haviland 1981 – *J.B. Haviland*. Sk'op sotz'leb – el tzotzil de San Lorenzo Zinacantán. México, 1981.
- K'aaylay 2006 – *K'aaylay*: Revista de cultura maya. 2006. V. 1. № 8.

- Kroeber 1939 – *A.L. Kroeber*. Cultural and natural areas of native North America. Berkeley, 1939.
- LaPolla 2005 – *R.J. LaPolla*. The inclusive-exclusive distinction in Tibeto-Burman languages // *Clusivity: Typology and case studies of the inclusive-exclusive distinction*. Amsterdam; Philadelphia, 2005.
- Laughlin 1977 – *R.M. Laughlin*. Of cabbages and kings: Tales from Zinacantán. Washington, 1977.
- Lehmann 1993 – *C. Lehmann*. The genesis of auxiliaries in Yucatec Maya // *Proceedings of the International congress of linguists*. 1993. V. 15. № 2.
- Whittaker, Warkentin 1965 – *A. Whittaker, V. Warkentin*. Chol texts on the supernatural. Oklahoma, 1965.
- Zavala 2010 – *R. Zavala Maldonado*. El estado de la lingüística en Chiapas y Guatemala // *La antropología en Centroamérica: reflexiones y perspectivas*. México, 2010.

Сведения об авторе:

Игорь Андреевич Виноградов
Институт языкознания РАН
igor.vinogradov@iling-ran.ru

Статья поступила в редакцию 19.11.2012.

© 2013 г. С.А. КРЫЛОВ

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА В КОЛИЧЕСТВЕННОМ АСПЕКТЕ*

Создан Генеральный корпус современного монгольского языка (ГКМЯ), содержащий 966 текстов общей длиной 1 155 583 слов. Разработан морфологический анализатор, грамматический словарь на 63 071 лексем, таблица морфологических омонимов. Процессор анализирует 95% текстовых словоформ, соответствующих 76% словоформам словника конкорданса к ГКМЯ.

Современный монгольский язык (СМЯ) описывается в квантитативном аспекте, в соответствии с структурно-вероятностной моделью (СВМ), содержащей частотные словари (ЧС) разных типов: словоформ, лексем, граммати́ем, корневых и аффиксальных морфем и алломорфем, флексией, грамме́ем.

СВМ количественно описывает поведение языковых единиц (ЯЕ) в письменных текстах: частоту употребления, дистрибуции и сочетаемости с другими ЯЕ. Возникает перспектива превращения обычной структурной модели СМЯ в его СВМ, основанную на статистическом анализе текстов (в СВМ ЯЕ описываются как обладающие своим «весом», языковые противопоставления и связи оказываются измеримыми).

Приведены «верхушки» некоторых ЧС: ЧС словоформ («верхние» 32 словоформы, превышающие 2091 ipm), ЧС лексем («верхние» 32 лексемы, превышающие 2627 ipm) и ЧС граммати́ем («верхние» 32 граммати́емы, превышающие 3920 ipm).

Ключевые слова: корпусная лингвистика, современный монгольский язык, частотные словари, количественные методы в лингвистике

The paper describes a General Corpus of the Modern Mongolian language (GCML), which contains 966 texts, 1 155 583 words. We also report a morphological analyzer for the Modern Mongolian language (MML), a grammatical dictionary for 63 071 lexemes, a general table of morphological homonymy. The processor analyzes effectively 95% of textual word forms which correspond to 76% word forms from the inputs of the concordance to the GCML.

MML can be described in its quantitative aspect, according to a structural-probabilistic model (SPM) of MML. SPM contains frequency dictionaries (FDs) of MML of different types: FDs of word forms, lexemes, grammatemes, root morphemes and allomorphemes, affixal morphemes and allomorphemes, flexionemes, grammemes.

SPM allows to describe behavior of various language units in the written text from the quantitative point of view: their frequency, distribution in texts, compatibility with other units etc. It is possible to transform the usual structural model into an SPM, which is based on statistical analysis of texts (in this model units of language are considered as possessing «the weight», the language oppositions and relations are being measured).

* Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке Программы Президиума РАН по корпусной лингвистике на 2011 и 2012 гг. (направление № 4 – «Создание и развитие корпусных ресурсов по языкам мира»), Фонда фундаментальных лингвистических исследований (проект 2012/2013 отчетного года № С-13. «Квантитативно-реализационный грамматический словарь современного монгольского языка») и Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-04-00357 «Структурно-вероятностная модель современного монгольского языка»). Корпус создавался при участии Г.Ц. Пюрбеева, Н.С. Яхонтовой и М.П. Петровой, которым автор приносит сердечную благодарность.

The paper reports the top lists of some FDs: i. e. FD of word forms (top-list of the upper 32 word forms having frequencies higher than 2091 ipm), FD of lexemes (top-list of the upper 32 lexemes having frequencies higher than 2627 ipm) and FD of grammemes (top-list of the upper 32 grammemes having frequencies higher than 3920 ipm).

Keywords: corpus linguistics, modern Mongolian language, frequency dictionaries, quantitative approach in linguistics

1. О ГЕНЕРАЛЬНОМ КОРПУСЕ МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА (ГКМЯ)

Создана первоначальная версия корпуса современного монгольского языка (СМЯ), включающего разные жанры текстов:

- 1) художественную прозу XX века: романы; повести и рассказы; очерки;
- 2) поэзию XX в.;
- 3) перевод эпоса «Сокровенное сказание» на современный язык;
- 4) подборку газетных статей из газеты «Даяар монгол».

Корпус содержит 966 текстов (длиной 1 155 583 слов).

Первоначальная версия ГКМЯ (версия ГКМЯ-1a) в настоящее время доступна для просмотра. Адрес онлайн-ресурса: http://web-corpora.net/MongolianCorpus/search/?interface_language=ru

Создан морфологический анализатор, словарь на 63 071 лексему, таблица омонимов. Проведена лемматизация и глоссирование корпуса (в духе Лейпцигских правил глоссирования¹).

Морфологический анализатор для СМЯ на данный момент работает под управлением информационной среды StarLing². Разработка находится на экспериментальной стадии, эффективно анализируется 95% текстовых словоформ (соответствующих 76% словоформ, являющихся входами в конкорданс словоформ).

Общее количество графических словоформ (лексов) в корпусе ГКМЯ-1a составляет 1 155 583. Общее количество проанализированных (морфологически размеченных как лексически, так и грамматически) графических словоформ (аллолексов) в корпусе ГКМЯ-1a составляет 1 103 233, т.е. 95%.

Таблица 1

	В корпусе:	доля в % (от всего корпуса)	В словнике:	доля в % (от всего слов- ника)
Всего словоформ	1 155 583	100%	89 190	100%
Из них: проанализированных (хоть как-то)	1 123 156	97%	79 137	89%
Из них: проанализированных лексически	1 104 911	96%	68 212	76%
Из них: проанализированных грамматически	1 121 478	97%	78 456	88%
Из них: проанализированных и лексически, и грамматически	1 103 233	95%	67 531	76%

¹ См. [Lehmann 1982; Croft 2003; Касевич 2011: 214–221]; а также www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php. Опыт использования подобной нотации в монголистике (применительно к корпусу со снятой омонимией) см., например, в [Баранова, Сай 2009: 10–16, 873].

² Информационная среда StarLing создана С.А. Старостиним (1953–2005) и позже усовершенствована Ф.С. Крыловым.

Всего различных аллолексем в словнике конкорданса к корпусу (и в словнике аллолексем) 89 190. Из них доля распознанных (т. е. проанализированных как лексически, так и грамматически) составляет 67 531, т. е. 76%.

Эффективность работы морфологического анализатора может быть наглядно представлена таблицей 1.

2. МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ

На материале ГКМЯ впервые в монголистике монгольский язык был подвергнут изучению в его количественном аспекте. Это было сделано путем создания частотных словарей (ЧС) монгольского языка. При этом само понятие ЧС подверглось некоторому переосмыслению. Дело в том, что традиционно частотные словари понимаются как некоторые инвентари, входами в которые служат лексические единицы. В рамках СВМ понятие ЧС охватывает также грамматические единицы, например, грамемы и грамматы³. То обстоятельство, что в традиционных ЧС эпизодически включаются некоторые данные о частотности грамматических единиц, не отменяет того несомненного факта, что систематического обследования частотности грамматических единиц в ЧС до сих пор не делалось.

Следует обратить внимание на то, что «ЧС» (в концепции СВМ) понимается не как единый тип словаря (который занимает свое место в типологии словарей и противопоставляется словарю алфавитному и словарю идеографическому). «ЧС» понимается как словарь, обладающий положительным значением одного из дифференциальных признаков, лежащих в основе типологии словарей: это признак «статистичности/нестатистичности». ЧС отличается от «нечастотных словарей» («неЧС») только тем, что он передает (в том или ином виде) информацию о частотности употребления инвентаризуемых в нем единиц, тогда как «неЧС» такой информации не передает.

Из предлагаемого понимания термина «ЧС» с необходимостью вытекает как вывод о проведении различия между разными типами ЧС, так и вывод о проведении различия между понятием ЧС и понятием рангового словаря (РС). РС – это такая разновидность ЧС, в которой инвентаризуемые единицы расположены в порядке убывания употребительности (или, что то же самое, в порядке возрастания рангов). РС противопоставляются неранговым – алфавитным и идеографическим. В отличие от РС (которые по определению являются разновидностью ЧС) алфавитными и идеографическими могут быть и «неЧС»; однако в рамках СВМ (которую интересуют лишь ЧС) по определению разрабатываются лишь ЧС; так что естественными частями СВМ наряду с РС являются алфавитные ЧС и идеографические ЧС. Алфавитные ЧС, в свою очередь, подразделяются на прямые и инверсионные; в прямых упорядочение единиц идет от начала единицы к ее концу, а в инверсионных – от конца к началу.

Следует подчеркнуть, что употребительность слова не представляет собой единого свойства, само собой разумеющегося. Для оценки употребительности слова могут быть использованы разные меры. Простейший и основной способ – это прямой подсчет общего количества вхождений единицы в состав корпуса. Но есть и другие способы оценки употребительности.

Ранг единицы измерялся двумя способами. Один способ измерения ранга – это измерение того, какое место занимает данная единица в ряду ей подобных, упорядоченному по принципу убывания числа вхождений данной единицы в состав корпуса. Другой способ измерения ранга – это измерение того, какое место занимает данная единица в ряду ей подобных, упорядоченному по принципу убывания числа текстов, содержащих данную единицу. В СВМ МЯ применены оба этих способа.

³ Термин «грамматема», принадлежащий Т. В. Булыгиной (см. [Булыгина 1977: 128–130]), понимается как «единица, являющаяся грамматическим коррелятом лексемы» и получающаяся «в результате абстракции отождествления всех словоформ, имеющих одно и то же грамматическое значение» [Булыгина 1977: 128].

Структурно-вероятностная модель монгольского языка – это комплексное (интегральное) описание, включающее частотные словари (ЧС) словоформ, основ и корневых алломорфем, но также и ЧС флексий, грамматем, флексионом, аффиксальных алломорфем, аффиксальных морфем и граммем. Все упомянутые типы ЧС (в СВМ МЯ) организованы не только в ранговом, но и в алфавитном (прямом и инверсионном) порядке, а ЧС граммем, помимо этого, также в идеографическом порядке.

3. СТРУКТУРНО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

Актуальность проблемы изучения количественных характеристик СМЯ обусловлена тем обстоятельством, что большинство этих характеристик до сих пор неизвестны ученым из-за отсутствия представительных и хотя бы относительно сбалансированных корпусов СМЯ, на материале которых могут быть применены дистрибутивно-статистические методы, позволяющие профессионально составлять высококачественные частотные словари и квантитативные грамматики, описывающие частотность единиц морфологии, дериватологии, синтаксиса и лексикологии.

Квантитативный подход позволяет классифицировать сами тексты в соответствии с языковыми стилями и жанрами, в рамках которых эти тексты создавались. Так как различия между этими стилями и жанрами «носят преимущественно статистический характер» [Шайкевич 1990: 231], то таким образом можно основать статистическую стилистику МЯ, описывающую и классифицирующую тексты МЯ на строго объективной базе.

Квантитативный подход к текстам открывает путь к изучению самого МЯ, поскольку сегменты текстов, являющиеся объектами подсчетов, соотнесены с единицами МЯ. Лингвостатистический метод позволяет количественно описывать поведение различных языковых единиц (букв, морфем, слов и т. п.) в письменном тексте: частоту употребления единиц, их распределение в текстах разного жанра, сочетаемость с др. единицами и т.п. «Одновременно накапливается обобщенная количественная информация о классах единиц, о языковых конструкциях (напр., данные о средней длине слова или предложения, о частоте употребления к.-л. грамматических форм в тех или иных синтаксических функциях и т. п.). Такая информация углубляет описание единиц языка» [Там же]. Например, простая констатация наличия форм мн. ч. существительных в РЯ и МЯ недостаточна для выявления типологических различий, если не учитывать количественные различия в текстовом поведении соответствующих единиц. «Таким образом, создается перспектива превращения обычной структурной модели языка в структурно-вероятностную модель, в которой учитываются результаты статистического анализа текстов (в этой модели единицы языка обладают “весом”, измеряемыми оказываются языковые противопоставления и связи). Структурно-вероятностная модель языка отличается большей реалистичностью, особенно эффективна она в диахронических и типологических исследованиях...» [Там же].

4. ЧАСТОТНЫЕ СЛОВАРИ МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

«Верхушки» некоторых ЧС можно привести уже сейчас [Крылов 2012]. Числовые показатели в этих словарях указывают на относительную частоту (количество вхождений данной единицы на миллион словоформ, ipm – instances per million (words): см. [Shagoff 2002; Ляшевская, Шаров 2009: 9]) и на количество текстов, в которых встретилась данная единица, а также на ранг данной единицы. В интересах компактности изложения ограничимся «верхушками» размером в 32 самые употребительные словоформы, 32 самые употребительные лексемы и 32 самые употребительные грамматические формы (грамматемы).

4.1. Частотность словоформ в монгольском языке

В ЧС, дающих представление о частотности словоформ, входами являются словоформы МЯ с их приблизительными переводами (в его основном значении) на РЯ.

Ранговый список 32 словоформ с частотами более 2091 ipm

словоформа	перевод	частота	количество текстов	ранг
нь	его, ее, их [притяжат. артикль]	24 463.32	666	1
гэж	что [изъясн. союз, вводящий прямую речь] ⁴	13 884.12	478	2
юм	[показатель ремы]	10 052.32	529	3
ч	же	9882.74	540	4
л	-ка	6798.44	441	5
энэ	этот	6628.87	463	6
тэр	тот, он, она, оно	5801.78	421	7
нэг	один, раз [актантн.]	5658.16	399	8
би	я [подлеж.]	5429.76	446	9
хүн	человек	5260.18	493	10
байна	есть, является, имеется [презенс]	4850.10	437	11
шиг	подобный	4619.10	526	12
хоёр	два, оба, и	4590.55	409	13
минь	мой [притяжат. артикль]	4161.43	496	14
байгаа	есть, является, имеется [прич. дуративного вида]	3666.56	340	15
бол	а, что касается [показатель темы]	3606.86	363	16
дээр	на	3339.53	461	17
чинь	твой [притяжат. артикль]	3109.39	344	18
байсан	был [прич. перф.]	2916.46	337	19
их	большой, очень	2907.81	403	20
дээ	-ка	2858.49	293	21
юу	что? [им. п.]; ли?	2722.66	307	22
гээд	сказав	2625.77	275	23
чи	ты [подлеж.]	2620.58	289	24
уу	ли	2414.67	321	25
бас	тоже, также	2359.30	349	26
билээ	был, находился	2338.53	303	27
байх	быть	2313.44	316	28
сайхан	красивый	2217.41	429	29
байлаа	был	2190.59	265	30
шүү	не так ли?	2188.86	264	31
гэсэн	сказал	2091.10	314	32

⁴ Можно трактовать эту форму как форму конгрессивного деепричастия от глагола гэх «говорить», подвергшуюся грамматикализации и конверсии в другую часть речи – изъяснительный подчинительный союз.

4.2. Частотность лексем в монгольском языке

В ЧС, дающих представление о частотности лексем, входами являются лексемы МЯ (в их исходных формах) с их примерными переводами МЯ (в его основном значении) на РЯ.

Так как работа велась по корпусу с неснятой омонимией, то иногда статус лексем получают не собственно лексемы, а дизъюнктивные пучки (частично) омонимических лексем (ср. в табл. 3 пучки, между членами которых стоит помета дизъюнкции ~). Однако информация о частотности таких единиц в корпусе является не менее ценной, нежели информация о частотности собственно лексем. Во всяком случае, для получения информации о количественных характеристиках лексики и грамматики МЯ не стоит ждать, пока будет создан корпус со снятой омонимией: ждать придется слишком долго, и в любом случае данные, полученные на основе корпуса со снятой омонимией, будут базироваться на слишком малых эмпирических фактах, что обесценит их статистическую значимость. Реально многие из членов пар частично омонимических лексем довольно малоупотребительны (ср., например, *шигэх* в табл. 3); однако для того, чтобы выявить эти маловероятные прочтения (они помечены в таблице символом [?]) и получить «очищенные» данные о речевой статистике таких единиц, следовало бы проделать огромную работу по «ручному» снятию омонимии в корпусе. Трудоемкость этой работы заставляет отложить ее на неопределенное будущее.

Таблица 3

Ранговый список 32 лексем с частотами выше 2627 ipm

лексема	перевод	частота	количество текстов	ранг
нь	его, ее, их [притяжат. артикль]	24 463.32	666	1
гэж	что [изъясн. союз]	13 887.58	478	2
байх	быть	13 638.41	525	3
юм ~ [?] юм(ан) _{им.п.}	[показатель ремы] ⁵ ~ [?] вещь _{им.п.}	10 408.76	531	4
ч	же	9882.74	540	5
болох	стать, становиться	9672.51	528	6
явах	уходить	7327.06	511	7
л	-ка	6845.16	443	8
энэ	этот	6636.66	463	9
тэр	тот, он, она, оно	6024.99	427	10
нэг(эн)	один	5749.00	402	11
хүн	человек	5538.77	497	12
ирэх	приходить	5497.24	439	13
би	я	5434.95	448	14
[?] байн ~ байх _{модификатив}	[?] погода немного ~ БЫТЬ _{модификативное деепричастие}	5364.87	449	15
хоёр	два; оба; и	5197.03	427	16

⁵ Форма им. п. от существительного *юм(ан)* подверглась грамматикализации и конверсии в другую часть речи – рематическую частицу.

Таблица 3 (окончание)

лексема	перевод	частота	количество текстов	ранг
шиг ~ ?шигэх _{императив}	подобный ~ ?собирайся! //сплачивайся!	4624.29	526	17
дээр	на	4445.20	503	18
байг (= байх _{юссив}) ~ ?бай	пусть будет! ~ ?мишень _{вин.п.} ~ ?расстояние _{вин.п.} ~ ?приз _{вин.п.} ~	4322.35	362	19
минь	мой [<i>притяжат. артикль</i>]	4163.16	497	20
хэлэх	разговаривать	3645.79	348	21
бол	а, что касается [<i>показатель темы</i>]	3609.46	363	22
гарах	выходить	3329.14	392	23
чинь	твой [<i>притяжат. артикль</i>]	3110.26	344	24
орох	входить	3051.43	363	25
гэх	сказать, говорить	3019.42	328	26
их	большой, очень	3011.63	411	27
дээ	-ка	2863.69	294	28
?юу ~ юу(н)	?ли? ~ что?	2725.26	307	29
чи	ты	2661.24	307	30
бодох	думать, вычислять, стремиться	2637.88	303	31
гээд (= гэх _{антешесив}) ~ ?гээ	сказав ~ ?рукоять мотыги _{дат.п.}	2627.50	275	32

Из анализа верхушек ранговых списков можно извлечь немало ценных поучительных сведений и наблюдений типологического характера⁶. Приведем несколько примеров.

1. Союз *хоёр* 'и' (производный путем конверсии числительного 'два') занимает всего лишь 13-е место в ЧС словоформ (4590.55 ipm) и 16-е место в ЧС лексем (5197.03 ipm). К тому же не надо забывать, что довольно значительная доля вхождений этой словоформы приходится на собственно «количественное» употребление, т. е. на значение 'два', так что собственно союзное (сочинительное соединительное) употребление (ср. *чоно үнэг хоёр* «волк и лиса», букв. «волк, лиса двое» или «волк, лиса вдвоем») несколько менее, чем 5197.03 ipm (если прикинуть «на глазок», вычтя из этого количества собственно «количественное» употребление, т. е. значение 'два', то, по-видимому, оно составляет примерно около 3700 ipm, а значит, соответствует примерно 15-му месту в ЧС словоформ и примерно 21-му месту в ЧС лексем). Союз *бөгөөд* 'и' (производный путем конверсии деепричастия) (1523.55 ipm) занимает всего лишь 52-е место в ЧС словоформ и 67-е место в ЧС лексем. Союз *болон* 'и' (производный путем конверсии деепричастия) (535.54 ipm) занимает всего лишь 215-е место в ЧС словоформ и 279-е место в ЧС лексем.

⁶ Принципы квантитативной типологии разработаны еще в «докорпусную» эпоху, см. [Гринберг 1963; Маслов 1975: 293–298; Касевич 1977: 132–134; Маслов 1987: 233; Касевич, Яхонтов 1982; Сусов 2006: 314; Касевич 2011: 170–172].

Просуммировав данные по союзам *хоёр* 'и' (примерно 3700 ipm), *бөгөөд* 'и' (1523.55 ipm) и *болон* 'и' (535.54 ipm), мы получим число примерно 5760 ipm (соответствующее примерно 7–8 месту в ЧС словоформ и примерно 10–11 месту в ЧС лексем).

Допустим даже, что мы «завысили» оцененную «на глазок» частоту собственно «количественного» употребления, т. е. значения 'два', и не будем вычитать ее вовсе. В этом случае просуммировав данные по союзам *хоёр* 'и' (5197.03 ipm), *бөгөөд* 'и' (1523.55 ipm) и *болон* 'и' (535.54 ipm), мы получим число $5197.03 + 1523.55 + 535.54 = 7256.12$ ipm (соответствующее примерно 4–5 месту в ЧС словоформ и примерно 7–8 месту в ЧС лексем).

Ср.: англ. союз *and* в ЧС (лексем!) занимает 3-е (или 4-е, или 5-е) место; русск. союз *и* в ЧС (как лексем, так и словоформ) уверенно занимает 1-е место. В обоих случаях (и в русском, и в английском) налицо превышение (для русского – даже значительное превышение!) частотности соединительного союза над частотностью его близких аналогов в МЯ.

Откуда столь большая разница? Она объясняется следующими факторами. МЯ предпочитает бессоюзные конструкции. Частота бессоюзия обычно компенсируется явлением так называемого алтайского типа сочинения, предполагающего групповую флексию при сочинении существительных и богатство системы деепричастного таксиса в сфере глагола.

2. Энклитизованные притяжательные местоимения имеют очень высокую частоту.

Например, *нь* (букв. 'его', 'ее', 'их') занимает 1-е место в ЧС лексем и 1-е место в ЧС словоформ!

Ср.: в английских ЧС *his* 'его' занимает 25-е (или 23-е, или 12-е) место, *her* 'ее' занимает 42-е (или 29-е, или 13-е) место, *its* 'его' занимает 78-е (или 77-е, или 142-е) место, *their* 'их' занимает 36-е (или 39-е, или 61-е) место. В русских ЧС слово *его* занимает 41-е (или 50-е) место, *ее* – 72-е (или 121-е) место, *их* – 86-е (или 134-е) место. По частоте эти слова скорее сближаются с суммой частот таких их монгольских эквивалентов, как *үүний* (87.38 ipm) (1565-е место в ЧС словоформ⁷) + *туүний* (1218.15 ipm) (77-е место в ЧС словоформ).

Слово *минь* (букв. 'мой') занимает 14-е место в ЧС словоформ и 20-е место в ЧС лексем!

Ср.: в английских ЧС *my* 'мой' занимает 44-е (или 34-е, или 24-е) место. В русских ЧС *мой* занимает 60-е (или 69-е) место. По частоте эти слова скорее сближаются с таким их монгольским эквивалентом, как *миний* (1876.54 ipm) (39-е место в ЧС словоформ).

Слово *чинь* (букв. 'твой') занимает 18-е место в ЧС словоформ и 24-е место в ЧС лексем!

Ср.: в английских ЧС *your* 'твой' занимает 69-е (или 64-е, или 62-е) место. В русских ЧС *твой* занимает 266-е (или 579-е) место. По употребительности эти слова скорее сближаются с таким их монгольским эквивалентом, как *чиний* (423.93 ipm) (292-е место в ЧС словоформ).

Откуда такая существенная разница? Здесь напрашивается такое объяснение. МЯ имеет грамматическую категорию притяжания. Она может быть выражена синтетически или аналитически. Аналитические средства выражения этой категории – энклитизованные притяжательные местоимения. Фактически энклитизованные притяжательные местоимения играют в МЯ роль, во многом сходную с той ролью, которая во многих артиклевых европейских (например, романских и германских) языках выполняется артиклями. Если сравнить западноевропейские притяжательные местоимения

⁷ Для словоформ *туүний*, *үүний*, *миний*, *чиний* не даются их места в ЧС лексем, поскольку это не самостоятельные лексем, а формы род. п. от соответствующих местоимений, тогда как их русские и английские эквиваленты принято считать отдельными лексемами (притяжательными местоимениями).

с русскими, то можно убедиться, что западноевропейские притяжательные местоимения используются более часто, чем русские (например, при переводе с русского языка на английский и обратно такие факты проявляются особенно ярко: ср. такие переводные эквиваленты, как *жена* ⇔ *my wife (your wife, his wife)*, *мать* ⇔ *my mother (your mother, his mother, her mother)*, *муж* ⇔ *my husband (your husband, her husband)*, *отец* ⇔ *my father (your father, his father,)*, *нос* ⇔ *my nose*, *голова* ⇔ *my head* и т.д.). Процесс грамматикализации притяжательных местоимений в западноевропейских артиклевых языках зашел так далеко, что эти притяжательные местоимения включаются в разряд «детерминативов» (т. е. грамматических эквивалентов артиклей, или «заместителей артиклей») и получают наименование «притяжательных детерминативов», а порой даже «притяжательных артиклей» (в отличие от русских притяжательных местоимений, которые, разумеется, никто не называет «артиклями», хотя бы и «притяжательными»).

Между тем сравнение ЧС показывает, что МЯ продвинулся по шкале грамматикализации притяжательных местоимений еще больше, чем западноевропейские языки. В результате этого продвижения сами притяжательные местоимения подверглись мощному процессу генерализации, транспозиции и десемантизации. Эти местоимения играют уже не только и не столько роль показателей притяжательности в собственном смысле слова, сколько роль показателей определенности, топикальности и субстантивации. Но такой процесс свойствен всем грамматическим категориям, так что сам факт наличия у притяжательных показателей вторичных (непритяжательных) функций на самом деле парадоксальным образом демонстрирует их грамматикализированный характер.

Именно серьезной коммуникативной нагрузкой, состоящей в выражении определенности и топикальности, объясняется столь высокая употребительность энклитизованных форм притяжательных местоимений (а также заодно и постфиксального показателя возвратной притяжательности) в монгольских языках. Этим объясняется и выбираемая в настоящей работе нетрадиционная для монголистики терминология, согласно которой энклитизованные притяжательные формы местоимений могут быть названы «притяжательными артиклями»; впрочем, она нетрадиционна только для МЯ, поскольку в грамматиках германских (английского, немецкого), романских (французского, румынского), армянского или коптского языков этот термин нередко встречается (наряду с такими синонимичными ему терминами, как «притяжательный детерминатив» и т.п.).

4.3. Частотность грамматем в монгольском языке

В ЧС, дающих представление о частотности грамматем, входами являются грамматемы с разъяснением используемой нотации.

Так как работа велась по корпусу с неснятой омонимией, то иногда статус грамматем получают не собственно грамматемы, а дизъюнктивные пучки (частично) омонимических грамматем. Тем не менее информация о частотности таких единиц в корпусе представляет не меньшую ценность, нежели информация о частотности собственно грамматем. Приведенные выше соображения о целесообразности использования корпуса с неснятой омонимией *mutatis mutandis* относятся и к грамматике.

Наличие в составе дизъюнктивных пучков грамматем таких пучков, в которых левый член дизъюнкции тождествен правому, объясняется тем, что в МЯ немало частично-омонимических пар, (а) внутри которых налицо отношение субкатегориальной конверсии (а именно, один из членов пары принадлежит к тематическому склонению, а другой – к атематическому), а также (б) члены которых различаются тем, что в исходе одного из членов пары стоит устойчивое «н», а в исходе другого – неустойчивое «н».

Ранговый список грамматем с частотами выше 761 ipm

грамматема (в виде символической пометы)	пояснение (расшифровка пометы)	показатель (основная форма)	частота	количество текстов	ранг
NOM	им. п.	-0	281 693.26	885	1
0	единств. форма неизм. слова	-0	93 456.52	865	2
CVB.CNGR	деепр. конгрессивное	-ж/-ч	50 195.83	806	3
NOM ~ GEN-NOM	им. п. ~ род. п. в им. п.	-Ы(н)	34 055.37	857	4
PC.PROSP-NOM	прич. проспективного вида, им. п.	-х	30 514.26	794	5
CVB.MOD	деепр. образа действия	-н	23 820.50	733	6
NOM ~ CVB.MOD	им. п. ~ деепр. образа действия	-н	23 777.25	777	7
PC.PRF-NOM	прич. перфективного вида, им. п.	-сАн	23 658.72	767	8
NOM ~ ABS-NOM	им. п. ~ абсолютив в им. п.	-н	23 602.48	753	9
GEN-NOM	генитивный атрибут в им. п.	-ы(н)	16 387.03	779	10
NOM ~ VF.OPT.IMP	им. п. ~ предикативная роль, повелит. наклонение оптаивной репрезентации	-0	12 322.50	675	11
DAT	дат. п.	-д(т)	11 860.50	753	12
VF.IND.AOR	предикативная роль, аорист индикативной репрезентации	-в	11 502.33	489	13
POSS.REFL	возвр.-притяж.	-АА	10 403.57	664	14
NOM ~ DAT	им. п. или дат. п.	-д(т)	9257.23	639	15
REL-NOM	общий атрибут, им. п.	-н	9122.27	662	16
NOM ~ REL-NOM	им. п. ~ общий атрибутив в им. п.	-н	8674.98	677	17
NOM ~ COM-NOM	им. п. ~ комитативный атрибутив в им. п.	-тАй	8229.42	646	18
NOM ~ VF.OPT.JUSS	им. п. ~ предикативная роль, юссивное наклонение оптаивной репрезентации	-г	8070.23	666	19
CVB.ANT	деепр. антецессивное	-ААд	8031.30	548	20
PC.PROSP-DAT	прич. проспективного вида, дат. п.	-хАд	7071.83	490	21
VF.IND.PRS1	предикативная роль, презенс № 1 индикативной репрезентации	-нА	6936.00	590	22
GEN/ACC	усеченная форма род.-вин. п.	-ы	6495.64	573	23
ACC	вин. п.	-(ы)г	6383.16	647	24

Таблица 4 (окончание)

грамматема (в виде символической пометы)	пояснение (расшифровка пометы)	показатель (основная форма)	частота	количество текстов	ранг
ABL	аблат. п.	-ААс	4746.28	532	25
PC.US-NOM	причастие узуального вида, им. п.	-дАг	4708.21	477	26
0 ~ VF.OPT.IMP	единств. форма неизменяемого слова ~ предикативная роль, повелит. наклонение оптативной репрезентации	-0	4624.29	526	27
A.COM-NOM ~ DAT	комитативное прилагательное в им.п. ~ дат. п.	-т	4610.45	552	28
NOM ~ ACC ~ VF.OPT.JUSS	им. п. ~ вин. п. ~ предикативная роль, юссивное наклонение оптативной репрезентации	-г	4435.69	377	29
VF.OPT.IMP	предикативная роль, повелительное наклонение оптативной репрезентации	-0	4057.61	457	30
NOM ~ DAT ~ CVB.ANT	им. п. ~ дат. п. ~ антецессивное деепричастие	-ААд/-д	3978.88	329	31
NOM ~ CVB.CNGR	им. п. ~ конгрессивное деепричастие	-ж/ч	3920.05	401	32

Немало ценных сведений можно извлечь из анализа верхушек ранговых списков грамматем. Такие сведения дают импульс для поучительных размышлений типологического характера. Остановимся для примера на следующих примечательных закономерностях.

1. Деепричастные формы глаголов (так называемые конвербы) занимают весьма высокие позиции в ЧС грамматем: например, конгрессивные деепричастия – 50195.83 *ipm*, модификативные деепричастия – 23820.50 *ipm*, антецессивные деепричастия – 8031.30 *ipm*.

В тех европейских языках, где есть деепричастия, они употребляются с гораздо более низкой частотой. Откуда такая разница? Она допускает следующее объяснение. МЯ характеризуется так называемым алтайским типом сочинения, предполагающим (в сфере глагола) богатую систему деепричастно выраженного таксиса. Таким образом, он предпочитает бессоюзное сочинение. Относительная редкость употребления союзов компенсируется богатством системы деепричастий.

2. Возвратно-притяжательные формы употребляются исключительно часто: «простые» возвратно-притяжательные формы – 10403.57 *ipm* (да еще к этой частоте следовало бы прибавить употребительность возвратно-притяжательных форм перфективных причастий – 2336.80 *ipm*; возвратно-притяжательных форм дательного падежа проспективных причастий – 2001.12 *ipm* и т.д.). Наиболее знакомые нам западноевропейские языки вообще не имеют такой грамматической формы. Русский язык, правда, имеет ближайший ее переводной эквивалент – возвратное местоимение *свой*. Но сравнение относительной частотности местоимения *свой* с относительной частотностью возвратно-притяжательных форм показывает, что *свой* употребляется с гораздо меньшей частотой (3825.5 *ipm*).

Откуда же столь значительное количественное различие? Его можно пояснить следующим образом. Возвратно-притяжательные формы монгольских языков используют-

ся как одно из важнейших средств выражения кореферентности. Западноевропейские артиклевые языки предпочитают иной способ выражения кореферентности (в этой функции используются преимущественно определенные артикли). Русский язык предпочитает так называемые «нулевые» формы выражения кореферентности. Фактически они носят не столько «нулевой», сколько просодический (супрасегментный) характер; но просодические механизмы не находят своего последовательного отражения в письменной форме языка (или, во всяком случае, находят его чрезвычайно редко).

Сказанное выше о степени грамматикализованности «притяжательных артиклей» в еще большей степени относится и к возвратно-притяжательным формам. Вспомним, что теоретики «артиклеведения» признают, что артикли могут быть суффиксированными (и охотно говорят о суффиксированных артиклях в скандинавских или в балканских языках). Почему бы в таком случае не признать, что «притяжательные артикли» (а они, как мы убедились выше, в монгольских языках есть и являются энклитиками) тоже бывают суффиксированными? Именно такой случай представлен примером возвратно-притяжательного показателя в монгольских языках. Он не только энклитизован, но также (в отличие от других монгольских притяжательных артиклей – а именно, от энклитиков, требующих отдельного графического написания) входит в сферу действия сингармонизма (и потому вполне закономерно его слитное написание с предшествующей основой). Следовательно, перед нами не просто энклитизованный, но и более того – суффиксированный притяжательный артикль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баранова, Сай 2009 – *В.В. Баранова, С.С. Сай*. От составителей // Исследования по грамматике калмыцкого языка. Труды Института лингвистических исследований. Т. V. Ч. 2. СПб., 2009.
- Булыгина 1977 – *Т.В. Булыгина*. Проблемы теории морфологических моделей. М., 1977.
- Гринберг 1963 – *Дж. Гринберг*. Квантитативный подход к морфологической типологии языков // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963.
- Касевич 1977 – *В.Б. Касевич*. Элементы общей лингвистики. М., 1977.
- Касевич 2011 – *В.Б. Касевич*. Введение в языкознание. М.; СПб., 2011.
- Касевич, Яхонтов 1982 – *В.Б. Касевич, С.Е. Яхонтов* (ред.). Квантитативная типология языков Азии и Африки. Л., 1982.
- Крылов 2012 – *С.А. Крылов*. Структурно-вероятностная модель современного монгольского языка на базе Генерального корпуса монгольского языка // Урало-алтайские исследования. 2012. № 6.
- Ляшевская, Шаров 2009 – *О.Н. Ляшевская, С.А. Шаров*. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М., 2009. (<http://dict.ruslang.ru/freq.php>).
- Маслов 1975/1987 – *Ю.С. Маслов*. Введение в языкознание. М., 1975 (2-е изд. М., 1987).
- Сусов 2006 – *И.П. Сусов*. Введение в языкознание. М., 2006.
- Шайкевич 1990 – *А.Я. Шайкевич*. Количественные методы в языкознании // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Croft 2003 – *B. Croft*. Typology and universals. Cambridge, 2003.
- Lehmann 1982 – *Ch. Lehmann*. Directions for interlinear morphemic translations // *Folia linguistica*. 1982. V. 16.
- Sharoff 2002 – *S. Sharoff*. Meaning as use: exploitation of aligned corpora for the contrastive study of lexical semantics // Proceedings of language resources and evaluation conference. May, 2002. Las Palmas (Spain), 2002.

Сведения об авторе:

Сергей Александрович Крылов
Институт востоковедения РАН
krylov-58@mail.ru

Статья поступила в редакцию 03.05.2012.

© 2013 г. Д. И. ЭДЕЛЬМАН

**ЕЩЕ РАЗ О ФОНЕМНОМ СОСТАВЕ ОБЩЕИРАНСКОГО ПРАЯЗЫКА
(ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС *l)***

Статья посвящена уточнению фонемного состава праязыковой системы иранской языковой семьи. Рассматривается фрагмент подсистемы так называемых плавных: фонологический статус *l. Реконструкция произведена на базе этимологии иранских лексем, восходящих к индоевропейским, содержащим *l. В качестве иллюстрации в статье приводятся слова с праиранским *l- в анлауте, поскольку согласные в этой позиции в иранских языках качественно наиболее устойчивы.

Ключевые слова: Иранские языки, индоевропейский, реконструкция, праязык, этимология, историческая фонетика, фонология

The aim of this paper is to make more exact the phonological inventory of proto-language system of the Iranian linguistic family. The fragment of a sub-system of liquids is discussed, that is the phonological state of *l. Reconstruction is performed on the base of etymologies of Iranian lexemes which continue the corresponding Indo-European ones containing *l. Words with Proto-Iranian *l in anlaut position are selected as samples for this paper as more significant for Iranian phonological system because consonants in this position are most stable.

Keywords: Iranian languages, Indo-European, reconstruction, proto-language, etymology, historical phonetics, phonology

В настоящее время с активизацией интереса к этимологической работе возобновилось внимание к целому ряду проблем, связанных не только с реконструкцией истории конкретных слов и их элементов, но и с общим подходом к реконструкции целостной (хотя бы относительно) системы раннего языкового состояния, включая праязыковое, а тем самым – и к реконструкции единиц разных языковых уровней прасистемы.

В иранистике, судя по доступным мне опубликованным трудам, намечается тенденция проследивать историю того или иного слова или элемента не просто от более раннего периода, а от реконструированного древнего уровня. В качестве такого уровня обычно принимается реконструированное древнеиранское или праиранское состояния (о различии этих состояний будет сказано ниже). Иногда приводятся отсылки к более ранним хронологическим срезам – индоиранскому, праарийскому и индоевропейскому¹.

* Этимологическая часть статьи написана в ходе работы над «Этимологическим словарем иранских языков», создаваемым при поддержке РГНФ, проект №11-04-00046а.

¹ Я сознательно не рассматриваю здесь обращения к еще более древним этапам: раннеиндоевропейскому и тем более ностратическому, поскольку и при реконструкции более близких к нам указанных прасостояний выявляется множество нерешенных проблем, которые требуют пристального рассмотрения, чтобы не проецировать неясности, а иногда и прямые ошибки и недочеты на более далекие реконструируемые состояния.

Поскольку в данной статье речь пойдет о реконструкции фонологических элементов древнейшего состояния для иранских языков, уместно уточнить его статус, относительную хронологию и основные характеристики.

В некоторых работах это реконструируемое состояние по традиции XIX века базируется на системах языков древних памятников – Авесты и древнеперсидского, – о чем свидетельствует фонетический и фонологический облик слов, основ и корней, к которым возводятся те или иные слова конкретных языков. Это – древнеиранское состояние системы, с уже сформировавшимися некоторыми диалектными особенностями. К тому же ограниченность корпуса данных текстов и их жанровое многообразие сужают возможности их использования для реконструкции истории многих исконно иранских слов и элементов.

В других работах в качестве реконструируемого выступает состояние, базирующееся на показаниях всех иранских языков, как вымерших, известных нам из памятников письменности или из «побочных источников» (заимствований из иранских языков в иные), так и живых (включая и литературные, и «малые» бесписьменные языки). Это – праиранское, или общеиранское, состояние, представляющее древнейшую систему, учитывающую разные диалектные, жанровые и другие варианты. Исследования исторической фонетики иранских языков показали, что праиранская система и в фонетическом, и в фонологическом плане оказалась значительно более древней, чем традиционная древнеиранская: она отражает более архаичный хронологический срез и в большей степени «отодвинута» к праарийской системе.

Начало изучения праиранской системы было положено еще на рубеже XIX–XX вв. в трудах Хр. Бартоломе [Bartholomae 1895–1901; 1904], хотя в дальнейшем, к сожалению, его способ презентации праязыковых единиц не был распространен среди исследователей истории разных иранских языков: Хр. Бартоломе опередил как минимум на столетие глубину понимания сущности того, что мы называем праязыком для иранской языковой семьи.

Дальнейшее приращение свежего материала «малых» языков и диалектов, особенно усилившееся в 20-е годы XX века, и историко-лингвистическое осмысление этого материала обусловили новую ступень развития компаративистических исследований языков арийской ветви индоевропейской общности и, в частности, языков иранской семьи, или «подветви» арийской. Эта ступень исследования ознаменовалась как уточнением самой схемы филиации арийской языковой семьи, так и выявлением характерных черт действительно праиранского языкового состояния. Стало ясно, что некоторые историко-фонетические «отклонения» в живых языках от традиционной древнеиранской схемы обусловлены не инновациями, а глубочайшими архаизмами. Живые языки, особенно бытующие в изолированных ареалах или замкнутых конфессиональных общинах, хранят иногда рефлексy более архаичного состояния, чем то, которое зафиксировано в древних памятниках. Подробнее о роли живых языков в реконструкции истории иранской и – шире – арийской семьи см. [Morgenstierne 1973; Эдельман 1982; 1986: 23–65; 1996].

В сравнительно-исторических исследованиях иранских языков нередки случаи, когда разные авторы реконструируют праиранские прототипы одних и тех же корней, основ, слов и элементов слова в различном фонетическом облике. Это вызвано не только разными представлениями об относительной хронологии изменений (особенно это касается праиранских рефлексов индоевропейских палатальных согласных), но и методическими соображениями. Важно, что именно подразумевается под понятием «праиранское состояние», или «система праиранского языка». Дело не только в большей или меньшей древности хронологического среза.

Как известно, в настоящее время наблюдаются практически два разных подхода к понятию «праязык», хотя далеко не во всех работах это формулируется эксплицитно (что касается и праиранского). Все признают, что праязык – это язык, из диалектов которого

произошла группа (или семья) родственных языков, однако подход к нему в разных трудах неодинаков. С некоторым упрощением ситуация выглядит так.

Согласно одному подходу, праязык – это единая непротиворечивая система-монолит, рабочая модель, призванная объяснить соответствия и расхождения между родственными языками. Практически это – конструкт, который служит ориентиром для «пересчета», или «переписывания» с одного дочернего языка на другой, с использованием определенных так называемых «фонетических законов», а на практике – фонологических соответствий между разными языками. Изображение элементов такой прасистемы допускает не только знаки предполагаемых фонетических или фонологических единиц, но и использование неких символов, условных обозначений (вплоть до цифровых индексов), реальное звучание которых неясно или несущественно. Они важны для «пересчета» с одного языка (// языков) на другой (// другие) и в ряде случаев дают толчок к пониманию нестыковок при пересчете.

Согласно другому подходу, праязык – это система наиболее раннего состояния, которое мы можем, в меру наших современных знаний, реконструировать для семьи родственных языков. Это предположительная система бытовавшего некогда естественного языка – со своими более или менее реальными характеристиками на всех языковых уровнях (см. определение в [Иванов 1990]). Сюда относятся: 1) свойственный данному языку характер артикуляционной фонетики и фонологической структуры; 2) определенный морфолого-синтаксический строй: словоизменительные парадигмы и элементы синтаксиса, прежде всего – «микросинтаксические структуры», или «присловный синтаксис»; 3) относительно общий лексикон, включая внешнюю оболочку слова (означающее) и его семантику (означаемое, хотя здесь мы можем наметить только смысловые вехи); сюда же входит и словообразование.

Кроме того, и это важно для всех языковых уровней, данный язык, как и всякий живой язык, особенно бесписьменный и не имеющий жесткого нормирования, мог обладать определенной стратификацией: ареальной (допускающей диалектные варианты, не все из которых имели продолжения в современных языках), темпоральной (допускающей архаизмы и инновации внутри еще относительно единого состояния), что подразумевает постепенную трансформацию от наиболее раннего до наиболее позднего периода существования праязыка, вплоть до его распада. Не исключена также жанровая неоднородность – наличие, кроме повседневного разговорного языка, особых вариантов, характерных для священных песнопений. В применении к иранскому материалу такая праязыковая система представляется вполне реалистичной и имеющей объяснительные перспективы, см. [Оранский 1979: 58–59].

Практика работы с живыми бесписьменными языками показывает, что такой подход действительно позволяет показать и объяснить механизмы становления и дальнейшей трансформации языковой системы, включая праязыковую, на разных уровнях, в том числе и на фонетико-фонологическом. В свое время с этих позиций рассматривался такой сложный для общеиранской фонологии «узел», как соотношение бифонемного кластера **h₂* и наследующей ему в большинстве диалектов праязыкового состояния монофонемы **x^v* [Эдельман 1977]. В данной статье предлагается рассмотрение фонетических свойств неслогового сонорного звукотипа **l* (рефлекса и.-е. сонанта **l* в неслоговой позиции) и его фонологического статуса.

Как известно, фонологическая система праиранского периода еще состояла из трех подсистем фонем – согласных (фонем, представленных всегда неслоговыми звукотипами), сонантов (фонем, которые в зависимости от позиций могли реализоваться слоговыми и неслоговыми звукотипами) и гласных (фонем со всегда слоговой реализацией). Подробнее о фонетическом и фонологическом облике общеиранского состояния и о процессах его становления и дальнейших трансформаций говорилось в других работах (см. [Эдельман

1982; 1986: 24–57; 1992]). Здесь представляется уместным напомнить некоторые фрагменты, связанные с содержанием данной статьи.

Подсистема праиранских сонантов была уже значительно «свернута» по сравнению с индоевропейской и даже с праарийской: она состояла из трех фонем $*i$, $*u$, $*r$ – рефлексов индоевропейских $*i$, $*u$, $*r$. Эти фонемы еще не утратили способность участвовать в количественных чередованиях и реализоваться в виде слоговых и неслоговых вариантов. Сонанты i , u реализовались в разных позициях в виде слоговых вариантов: гласных монофтонгов (при простом расширении артикуляционной щели) $[i, ī]$, $[u, ū]$ и слабых дифтонгов $[ī, ə̄]$, $[ū, ə̄]$, а также в виде неслоговых вариантов: в составе полных дифтонгов и в позициях типа #Son, VSonV, VSon#, VSonC. Что же касается сонанта $*r$, то его слоговой вариант r физически не мог реализоваться простым расширением артикуляционной щели и его реализация всегда была дифтонгоидной, то есть $[r = ər, rə]$, причем на месте индоевропейской и праарийской долгой $*r̄$ (продолжившейся в древнеиндийском) в праиранском уже постоянно выступает полный дифтонг типа $*ar$.

Индоевропейские сонанты $*m$, $*n$, $*l$ (и в определенных моделях $*H$) в слоговой позиции, то есть $*m̄$, $*n̄$, $*l̄$ (и $*H̄$) и соответствующие долгие, – к праарийскому и тем более к праиранскому периоду уже трансформировались: $*m̄$, $*n̄$ перешли в $*a$ (через промежуточный этап продвинутого вперед гласного звукотипа, вызывавшего в языке Авесты в ряде случаев палатализацию предшествующей согласной). Отражение и.-е. $*l̄$ совпадало с отражением $*r̄$ в виде праиран. $*r̄$, а предполагаемый $*H̄$ еще в праарийском состоянии отразился позиционно в виде $*i$ или нуля звука, либо способствовал удлинению предшествующего гласного, подробнее об отражении ларингала см. [Beekes 1981: 285]. Обозначение ларингала H в реконструкции корней столь позднего периода, как праиранский, отмечаемое в некоторых работах, является способом обозначить долготу соседнего гласного, то есть символом, который уже не представляет отдельной фонемы.

Тем самым надежных следов слогового и.-е. $*l̄$, отличных от слогового $*r̄$, к праиранскому периоду уже не оставалось. Проблемным оказался праиранский рефлекс сонорного неслогового звукотипа и.-е. $*l$ и его фонологический статус. Согласно традиционной схеме, базировавшейся на языках древних памятников, фонема $*l$ в праиранской системе отсутствовала, на ее месте выступала $*r$. Причиной такого вывода послужило то, что в языке Авесты l действительно отсутствует, а в древнеперсидском встречается только в передаче чужих имен и географических названий. В некоторых работах (в основном XIX и начала XX века) прямо указывается, что еще в индоиранский период произошел сплошной «арийский ротацизм», то есть $*l$ и $*r$ совпали в $*r$, но затем $*l$ проник в язык вместе с заимствованиями из неарийских языков, см. [Bartholomae 1895–1901: 23] и др. Обзор сходных мнений был представлен в свое время В.И. Абаевым [Абаев 1965: 35–36]. Однако и в этом труде, и в статье «О вариативности сонантов» В.И. Абаев указывает, что «...некоторые из этих языков (санскрит, персидский) в отдельных словах удерживают индоевропейское l » [Абаев 1995: 260]. Следует отметить, что уже в конце XIX в. и начале XX в. исследователи живых иранских языков указывали на наличие рефлексов и.-е. $*l$ в виде l (см., например, [Horn 1893: 212–213; 1898–1901: 55]). Об отсутствии «сплошного арийского ротацизма» говорит, например, и наблюдение Т.Барроу об отражении индоевропейского $*l$ в виде l в классическом санскрите в ряде слов, в которых в ведическом наблюдается r [Барроу 1976: 80–82], см. также отражение индоевропейского $*l$ в виде древнеиндийского l в [Рокотпу 1959: 652, 654–656, 660, 664 и др.] и т. п. На возможность наличия исконного $*l$ в древних иранских языках указывают и «побочные источники», см., например, [Gershevitch 1969: 202]. Тем самым косвенно признается наличие звукотипа $[*l]$ в праарийской и праиранской системах, хотя его фонологический статус все еще требует уточнения.

Наиболее реалистичный взгляд на проблему праиранского $*l$ находим в разделе М. Майрхофера «Vorgeschichte der iranischen Sprachen; Uriranisch» в «Compendium

Linguarum Iranicarum» (см. [Mayrhofer 1989: 10, 12]). Здесь указывается, что в «древнеиранском» (так М. Майрхофер называет реконструируемое состояние) еще сохранялись обе индоевропейские плавные */*r/* и */*l/*, хотя в авестийской фонологической системе *l/* отсутствует, а в древнеперсидской это маргинальная фонема, отмеченная при передаче иноязычных названий. Он справедливо отмечает [Ibid.: 10], что в этимологии более поздних слов разных иранских языков явны рефлексы индоевропейского **l*, а в таблице «древнеиранских» фонем в качестве рефлекса индоевропейского **l* указаны оба варианта: *l/* ~ *r/* [Ibid.: 12].

Работы последних лет, посвященные разным иранским языкам и их истории, подтверждают эту мысль М. Майрхофера и наглядно показывают, что рефлекс индоевропейского неслогового **l* в виде сонорного согласного *l* отмечаются в целом ряде живых иранских языков, данные которых не учитывались в традиционной реконструкции праиранского состояния. Кроме того, в ряде лексем иранские языки (как и древнеиндийский) выявляют рефлекс диалектных вариантов **l* ~ **r* в праязыковой системе. О сохранении рефлексов праязыкового **l* в ряде иранских языков, включая живые, см. [Эдельман 1986: 29–30; Стеблин-Каменский 1999: 26–27; Schwartz 2008].

Таким образом, работы второй половины XX в. и начала XXI в. подтверждают высказывавшееся ранее предположение, что переход и.-е. **l* > *r* в языках арийской ветви индоевропейской семьи, действительно весьма частотный, был тем не менее не фронтальным «историко-фонетическим законом», а фонетической тенденцией, которая далеко не всегда реализовалась в виде системного перехода и фонологизации *r* на месте **l*. По-видимому, в праиранской системе были случаи свободного варьирования **l/r* и диалектные варианты с **l* и с **r* (ср., например, праиран. **anguli-*, **anguri-* ‘палец’ < и.-е. **anguli-*, отразившееся в большинстве иранских языков с *r*, но «островками» в отдельных живых языках с *l*, см. [Эдельман 1996: 236; ЭСИЯ 1: 168–169]).

Такая тенденция к колебанию артикуляции рефлексов индоевропейского неслогового варианта сонанта **l*, очевидно, была вызвана особенностями артикуляции индоевропейского **l* в ареале арийских языков.

Замечено, что в некоторых индоевропейских языках в соседстве с *r* и *l* дентальные согласные оттягиваются назад, приобретая соответственно альвеолярную и постальвеолярную артикуляцию, которая в определенных ареалах закрепляется как фонологическая. Таковы в скандинавских диалектах альвеолярный и постальвеолярный ряды, противопоставленные дентальному, происшедшие из дентальных согласных в соседстве соответственно с *r* и с «толстым» *l* [Стеблин-Каменский М.И. 1966: 127 и сл.]. Сходный процесс предполагается и для предистории древнеиндийского языка, где, согласно закону Фортунатова, сочетание «индоевропейский **l* + дентальный» трансформировалось в церебральный (в отличие от индоевропейского **r*, который в то время такого эффекта не производил; церебрализация дентальных в соседстве с **r* наступит позднее и охватит другой ареал, подробнее см. [Эдельман 1986: 178–183]).

Это означает, что неслоговой вариант и.-е. **l* мог реализоваться в разных ареалах индоевропейского континуума разными звукотипами – от мягкого или «среднеевропейского» *l* до твердого, – во всяком случае в некоторых ареалах в постальвеолярной зоне. В части диалектов он мог совпадать в этой единой зоне с **r*, отличаясь лишь способом (и длительностью) артикуляции, в других диалектах мог отличаться от **r* более «твердым», бемольным характером и другими параметрами (подробнее о различных рядах «специфической бемольности», вызванных в разных языках сонантами **l* и **r*, см. [Степанов, Эдельман 1976: 264–266]).

Характерно, что в живых иранских языках в словах, связанных со звуковой символикой, таких как «лизать», «губа», «скользить», «болтать ~ лепетать», рефлекс **l* в виде *l* в большинстве случаев (хотя и не всегда) сохраняется; однако такими изобразительными

словами сохранение индоевропейского **l* не ограничивается (см. упоминавшееся выше название «пальца»)². Перечень слов с рефlekсами и.-е. **l* в виде праиранского **l* см. ниже.

Случаи варьирования и затем перехода $l > r$ и $r > l$ на разных исторических этапах и в более поздний период наблюдаются в разных иранских языках в различных (по языкам) позициях, что иногда затушевывает первоначальную картину: например, переход **r* при палатализации в *l* в раннеосетинском [Абаев 1965: 35–41]; переход **r > l* в парфянском [Расторгуева, Молчанова 1981: 180]; в диалектах иранского тати и талышском [Пирейко 1991: 117–119]; аналогичные рефlekсы отмечены в ларском языке [Молчанова 1982: 377, 393–394], в лурском и бахтиарском диалектах [Керимова 1982а: 293], в диалектах Фарса [Керимова 1982б: 335–336] и др. Наблюдаются случаи появления *l* на месте консонантных групп, содержащих *r*, например переход **rd > l* в истории персидского языка и т. п. Обзор таких переходов в западноиранских языках см. в [Расторгуева 1990: 106–107]. В восточноиранских языках мена *l/r* носит скорее спорадический характер или объясняется свободным варьированием *l/r*, как, например, в ваханском языке (см. [Стеблин-Каменский 1999: 26–27], там же о варьировании *l/r*, начиная с древнейшего состояния). Обзор случаев такой мены в разных языках см. в [Эдельман 2006: 69–71]. Характерна аналогичная мена в ряде других случаев – при диссимиляции, при субституции $r \rightarrow l$ в «детской лексике» (Lalla-words) и т. п.

Такие переходы не являются спецификой арийских языков. Исследования фонетических причин сходных явлений в других языках помогают уяснить происхождение их и в арийских. Так, детальный анализ артикуляционной базы аналогичных явлений в русских говорах (северных и южных) [Касаткина 2004: 117–122] показал, что в спонтанной диалектной речи в северных говорах отмечено звучание *r*-образного согласного на месте палатализованного апико-альвеолярного *l'* и на месте непалатализованного *l*, а в южных говорах – на месте мягкого *l'*. Подробное рассмотрение артикуляции этих звукотипов показало, что такой переход возникает тогда, когда смычка более кратковременна, чем при реализации *l*. То есть возникает «согласный того же места образования, что и [*l*], но характеризующийся или очень короткой смычкой (tap), или мгновенным скольжением кончика языка по альвеолам или передней части нёба (flap)» [Касаткина 2004: 118]. Для артикуляции такого мгновенного согласного требуются три условия: а) в качестве активного артикулятора выступает апекс (кончик языка) или ламина (прилегающая к кончику поверхность языка), б) в качестве пассивного артикулятора – альвеолы или постальвеолярная зона; в) важным условием является также краткость смычки [Там же]. Данный детальный анализ артикуляционной базы таких переходов см. в [Касаткина 2004: 117–122], там же сравнения с аналогичными явлениями в языках австралийских аборигенов, в западноафриканских языках и др.

Все это показывает механизм таких сдвигов в артикуляции *l* и *r* и дает возможность предположить, что аналогичные процессы могли происходить в прошлом и в арийских языках. Тем самым они могли иметь место и на протяжении существования праиранского языка и его диалектных разновидностей. Таким образом, они не отменяют возможности существования в общеиранском праязыке фонемы **l* (включая разные способы ее реализации по ареалам) и диалектных вариантов с **l* и **r*.

В большинстве иранских языков, начиная с древнего периода, для структуры слова характерна интенсивность артикуляции и относительная устойчивость анлаутного согласного, к тому же эта позиция наименее уязвима для внутриморфемных фонетических изменений. В связи с этим имеет смысл рассмотреть как наиболее показательные праиранские (и древнеиранские диалектные) корни, основы и слова с анлаутным **l*-, в котором

² Следует признать, что в моей работе 1986 г., при наличии специального раздела, посвященного праиранской сонорной согласной **l* и ее происхождению [Эдельман 1986: 29], в разделе «Инвентарь фонем в общеиранском» обозначение этой фонемы в скобках как ущербной [Там же: 56] вызвано излишним скепсисом.

можно усмотреть продолжение индоевропейского неслогового */-. Ниже приводятся такие этимологические гнезда (отсылки в них к источникам даны в виде библиографических сокращений, принятых в этимологических статьях и в «Этимологическом словаре иранских языков»).

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ГНЕЗДА

1. ***lag-** 'располагаться, лежать' – восходит к и.-е. ***legh-** 'лежать, ложиться', ср. греч. λέχεται 'лежать', λέχος 'постель, ложе', лат. *lectus* 'постель', гот. *ligan* 'лежать', тох. *A lake*, тох. *B leke* 'ложе', нем. *liegen*, праслав. ***legti**, ***lēgati** (*se*) и ***ležati** < ***legēti**, русск. *лежать, лежу* [Рок. IEW, 658–659; Фасмер II, 475; ЭССЯ-14, 99–100, 161–165, 182–183 и др.; LIV, 398–399].

Рефлексы единичны. Отмечены хс. *patārajs-*, *pārajs-* (< ***pati-raǰ-**) 'лежать, покоиться' (3-е л. ед. ч. наст. вр. *pārayśdā*, производное имя *pārajsā-* 'basis, support' [Bailey DKS, 205–206, 231–232]; к др.-иран. основе ***laxš-** (< и.-е. ***legh-** + ***-s-**) возводится хс. *ālaska-*, *ālasta-* 'settlement, town' [Bailey DKS, 24–25] (ср. поправку: слово имеет анлаут *a-*, см. [Emm., Skj. I, 22–24]). К этому корню может быть отнесено курд. курм. *valaz-* : *valazīn* 'лежать (протянувшись)' [Цаб. ЭСКЯ II, 425–426].

2. ***laig-/raig-** и ***laiž-/raiž-** 1) 'прыгать, скакать'; 2) 'трясти(-сь), дрожать' – из арийских вариантов ***laig-/raig-** и ***laiǰ-/raiǰ-**, ср. др.-инд. *réjati* 'заставляет прыгать, приводит в дрожь'; *réjate* 'прыгает, дрожит', *rejáyati* 'заставляет дрожать, трястись' [Mh. KEWA III, 72]. Арийские варианты могут продолжать совпадающие в некоторых формах рефлексы ранних индоевропейских корней: 1) ***leig-** 'прыгать, скакать', ср. гот. *laikan* 'прыгать, скакать', *laiks* 'танец', др.-верх.-нем. *leih*, *leich* 'игра, мелодия', ср.-верх.-нем. *leichen* 'прыгать', лит. *láigyti* 'скакать, носиться кругами (о жеребенке, теленке)'; праслав. ***lēgati** (*se*), русск. *лягать(-ся)* [ЭССЯ-15, 54–55]; 2) ***leiǰ-** 'дрожать, трясти(-сь)', см. [Mh. EWA-16, 458–459], ср. единый поздний и.-е. корень ***³leig-** с комплексом этих значений [Рок. IEW, 667–668] и ***leiǰ-** 'прыгать' [LIV, 405].

Праиранский прототип традиционно трактуется в виде ***raiz-**, однако точнее представить его в виде древних диалектных вариантов ***laig-/raig-**, для некоторых диалектов – ***laiž-/raiž-**.

Кл. перс. *ālēz-* : инф. *ālēxtan*, прич. наст. вр. *ālēzanda*, вторичный инф. *ālēzīdan* 'прыгать; брыкаться, лягаться' < др.-иран. ***ā-laiǰa-** : прич. перф. ***ā-laixta-** < ***ā-laig-ta-** [Horn Gr., II; Horn NP, 55]; курд. курм. *līz-* : инф. *līstin*, *laystin* 'играть, танцевать' возводится к др.-иран. ***raiz-** [Цаб. ЭСКЯ I, 593], диал. Хорасана *alīz*, *alīj* 'лягание животных'; осет. *rīzyn* : *ryzt* / *rezun* : *rizt* 'дрожать, трепетать, трястись' (из праиран. ***raiž-** < и.-е. ***leiǰ-** 'трястись' [Аб. ИЭСОЯ II, 417–418]; хс. *rrīys-* 'дрожать', *birrīys-* 'трясти(-сь)'; *harīys-* 'дрожать, вскакивать' из ***fra-raiž-** от корня ***leiǰ(h)-**, см. [Bailey DKS, 364; Emm. SGS, 99, 116, 149–150]. Пшт. *režd* : инф. *rēždedəl* 'играть, танцевать' восходит к редуцированной основе праиран. ***rarž-** (и ***larž-**), см. [Morg. EVP, 65].

Основа ***larž-** здесь отдельно не рассматривается, поскольку при редупликации возможны разные процессы ассимиляции и диссимиляции, затушевывающие первоначальный характер анлаутного согласного.

Сравнения и этимологии см. также в [Hasandust EDP, 49; Ch. EDIV, 311]. Рефонологизация индоевропейского прототипа: [Mh. EWA-16, 459, LIV, 405].

3. ***laiž- : liž- / *raiž- : riž-** 'лизать' – из арийск. ***laiǰh-**, ср. др.-инд. корень *lih-/reh-* 'лизать' (например, 3-е л. мн. ч. *lihánti* (// *rihánti*); *lédhi*, *redhi*, *lihati* 'лизает', прич. перф. *līdha-*, при *á-rīdha-* 'невылизанный'; прич. от редуцированной основы перфекта *ririhvāms-* и др.);

то же в других языках региона, см. [Turner CDIAL, 11069]. Восходит к и.-е. **leigh-*, **sleigh-* 'лизать', ср. лат. *lingō*, *lingere* 'лизать', греч. λείχω 'лижу', арм. *lizum*, *lizem*, *lizanem*, нем. *lecken*, лит. *ližti*, праслав. **lizati* (*se*), ст.-слав. *lizati*, русск. *лизать* [Barth. Vorgeschichte, 23; Pok. IEW, 668; ЭССЯ-15, 162–163; Mh. EWA-16, 463, 479; LIV, 404]³.

Корень носит звуко-символический характер, допускающий колебания в историко-фонетических соответствиях.

Ав. п. *raēz-* 'лизать, вылизывать', през. осн. 1. *raēz-* (ср. др.-инд. *léhmi*, *réhmi* 'лижу'), см. также 3-е л. ед. ч. през. *raērizaite* (от редуцированной основы, ср. др.-инд. *rérihat-*) [Barth. AiW, 1485; Kel. Verbe, 194–105; Kel. Liste, 58]. В древнеперсидском, по-видимому, существовали: презентная основа **laiz-* (1-е л. ед. ч. наст. вр. **laizamiy* и т. п., прич. перф. **lišta-* < **liž-ta-*, инф. **lištanaiy*), их рефлексы отразились в языках – потомках древнеперсидского.

В дальнейшем в продолжениях форм от презентной основы в большинстве языков произошло оглушение: и.-е. **-gh-* > праиран. **-z* > далее **-z* > *-s* (и спорадически *-š*), возможно, при частичном парадигматическом выравнивании с глухой **-š-* в причастии перфекта и в инфинитиве, либо же по аналогии с другими глаголами, где конечная *-s* основы продолжает **-k-* или суффикс инхоатива праиран. **-sa-* < и.-е. **-ske/o-* (о возможности изменения по аналогии с другими глаголами см. в [Horn Gr., 212–213; Horn NP, 55; Hübschmann PSt., 96]).

Ср.-перс. причастия: *lēšēnd*, *lištag*, инф. *lištan*, *listan*, кл. перс. осн. наст. вр. *lēš-*, инф. *lēšīdan*, *lištan* и *l(i)stan* [Horn NP, 55], совр. перс. *lis-* : *lisidān* 'лизать, облизывать, вылизывать' и производные; тадж. *les-* : *lesidan* 'лизать, облизывать, вылизывать' и производные, см. ниже, в таджикских говорах сохраняются также архаичные формы, см., например, в южных: инф. *lištan*, *ľštan* 'лизать'. Курд. курм. *ālēs-* : инф. *ālāstin*, *ālēstin*, *alastyn*, курд. сор. *lēš-* : инф. *lēšīn*, *listin* 'лизать' – собственное развитие с вторичной основой прош. вр. из основы наст. вр. [Цаб. ЭСКЯ I, 72]; тал. *lyšt-* : *lyšte* 1) 'лизать'; 2) 'сосать', тал. *lyšt-* : *peľyšte* 'лизать, облизывать' [Пир. ТРС, 133, 174]; гил. *vališ-* : *vališt-*, инф. *valištən* 'лизать, вылизывать'; санг. *lis-*; диал. тати *-list-*; сив. *lis-* [Молч. Сив., 66]; диал. полосы Кашана *bélēs-*. Пар. *līs-* : *lušt-* 'лизать' – возможно, исконное [Morg. IFL I, 269]; ср. в другой записи: пар. *lis-*, *l'is-* : *l'ošt-*, *lošt-*, прич. прош. вр. *l'ista* 'лизать' [Ефимов Пар. ОИЯ, 461; Ефимов Яз. пар., 212]. Орм. кан. основа наст. вр. *las-* 'лизать' (в [Ефимов Яз. орм., 100–101] возводится к праиран. **rāizáya-*; но с указанием на индоевропейский прототип с **l-*). Г.Моргенштерне приводит инф. *las'ek* 'лизать' при сравнении с кл. перс. *lēšīdan* [Morg. IFL I, 400].

Согд. будд. *rys-* [rēs-?] [Gharib Sogd. Dict., 348]; осн. прич. прош. вр. *rys't*, инф. *rys'ty* [Gersh. GMS, 83]; ягн. *lis-*, *les-* : прич. прош. вр. *lišta*, *lésta*, инф. *lišak*, *lésak* 'лизать', возможно, при частичном воздействии таджикского *lesidan* [ЯТ, 282] или результат собственного развития; пшт. *lešál*, осн. прош. вр. *lešV-* 'лизать'; мдж. *nəriz-* : *nərizd-* 'лизать' [Гр. Мундж., 335] (осн. наст. вр. < **ni-raiz-*), йд. *nəriz-* : *nərizd-* – то же [Morg. IFL II, 233]; вах. *liḫ-* : *liḫt* 'лизать' из **laiž-*, с основой наст. вр., трансформированной по аналогии с основой прош. вр. из **lišta-* [Ст.-К. ИФВЯ 59, 173; Эд. СГВЯ-Ф, 29], либо под воздействием тадж. диал. *lištan* [Ст.-К. ЭСВЯ, 226]. Ишк. *les-* : *les'ed* 'лизать' – из таджикского; сгл. *lēš-* : *let* – то же (по [Morg. IFL II 401], – из персидского, однако в основе прош. вр. – собственное развитие *-t* < **-št-*); хс. **rrīys-* : *rrāšta-* 'лизать' (3-е л. ед. ч. *rīštā* '(он) лижет') с прототипом **raiž-*, ср. [Bailey DKS, 364; Emm. SGS, 115–116]. Возможно, сюда же относится пшт. *līt* 'гладкий, ровный', если из **lišta-* ('вылизанный'), ср. перс. *lišn* с сохранением исконного *l*, как в пшт. *mangul* 'лапа' < **ham-anguli-* [Morg. Ir.-1942, 264].

Фонетические перебои затрагивают и консонантный анлаут, например, язг. *γiz-* : *γizd* 1) 'лизать, слизывать, вылизывать'; 2) 'есть кашеобразную еду (кашу, творог и т. п.),

³ О другом сходном индоевропейском прототипе *(s)lei-g- свидетельствует праслав. **liga* 'слюна' [ЭССЯ-15, 87].

набирая ее на согнутый указательный палец и слизывая с него' (с отражением *l- > γ-, хотя в [Morg. EVSh, 38] глагол возводится под вопросом к *riz-).

Производные имена

Тадж. *kaf-les* 'шумовка' (букв. 'пену слизывающая'); *lesak* зоол. 'улитка' (букв. 'лизун'); совр. перс. *lisäk* – то же; совр. перс. *lise* 'моль (вредитель растений)' и вторичные сложноименные глаголы: совр. перс. *lise kârdân* 'циклевать'; тал. *lača kârde* 'лизать'; вах. *narizm* 'чучело теленка (используемое для имитации поведения теленка во время доения)' (от *raiž- 'лизать'), ср. тадж. бад. *lesak* 'чучело теленка' (от *les-* 'лизать').

Сравнения, материал и этимологии см. также в [Shaw, 191; Tom., 868; Horn NP, 55; Morg. PFL II, 528; Ст.-К. ЭСВЯ, 226; Ch. EDIV, 310–311].

4. *^llak- 'хромать; ковылять; (резко) поскользнуться; лягать(-ся)' – из арийск. *lak-, ср. др.-инд. *ṛkṣalā-* (< *^lk-s-elā-) 'сустав ноги у копытных животных'. Восходит к и.-е. *lek- (: l_ek-), lēk-, lək- 'гнуть(-ся), болтать(-ся); скакать, прыгать', ср. греч. Λακτίζω 'топтать, лягать; биться, стучать', Λάξ, Λάγδην 'лягание', лат. *lōcusta* 'саранча', ср.-верх.-нем. *lecken*, н.-верх.-нем. *löchen* 'лягать, прыгать', лит. *lėkti, lekiù* 'лететь, мчаться, падать', *lakstyti* 'порхать', праслав. *letēti (с -t- < *-kt-), русск. *лететь* [Рок. IEW, 673; ЭССЯ-14, 145 и сл.; LIV, 411].

В разных иранских языках корень выступает при обозначении 'неровной ходьбы, резких движений': 'ковылять; спотыкаться, хромать, поскользнуться'; 'лягнуть, взбрыкнуть' и т. п. Благодаря звуковому символизму, отмечаются нарушения фонетических закономерностей, а также случаи ассоциации с обозначениями прыжков, скачков, чего-либо скользкого, т. е. с рефлексами основ от корней *laig-, *lā(i)-. В языках ареалов Средней и Центральной Азии наблюдается контаминация с заимствованными из тюркских языков сходными фонетически и семантически словами, а также с единичными арабизмами.

Имена и вторичные глаголы от корневых основ

Тадж. *laqidan* (по говорам также *lakidan*) 'болтать(-ся)'; *laqqon-* : *laqqondan* 'взбалтывать'; *laq-laq* 'болтовня'; тат. *laqistaen* 'вихлять'; курд. курм. *laq* 'шаткий, неустойчивый', курд. сор. *laq* 'свободный, ненатянутый, слабый' и производный глагол курд. *laq-* : *laqīn*, сор. также *laqe-* : *laqān* 'качаться, двигаться, шевелиться', перех. *laqīn-* : *laqāndin* 'двигать, качать (головой)' – корень может быть своим либо адаптированным арабским заимствованием, ср. араб. *laqq* 'трясение' от *laqqa* 'трясти' [Цаб. ЭСКЯ I, 577–578]; сюда же курд. курм. *valiqit-* : *valiqitīn* 'переворачиваться, поворачиваться' (с превербом *va-* из **ura-* или **ara-*) [Цаб. ЭСКЯ II, 426]; гил. *læy* 'качающийся, колеблющийся' (возможно, при фонетической аналогии с гил. *læyəd*, см. ниже); тал. *loknie, loküne, lokne, loxnie, loxüne* 'качать, трясти', *lokñä* 'люлька, колыбель' [Пир. ТРС, 134];

ягн. *likak* 'трястись, приходиться в движение' и кауз. *likunak* 'трясти, приводить в движение' [Мирз. ФЯТ, 119], *lakkon-* 'бежать вприпрыжку' [Хр. Ягн. яз., 173]; мдж. *læqlæqov-* : *læqlæqevd-* 'трясти, стучать' – каузатив от заимствованной перс.-тадж. звукосимволической основы [Гр. МЯ ОИЯ, 211], в языках Памира – продолжения того же «дефектного» корня, но, возможно, и усвоенные из таджикских диалектов: руш., хуф. *lāq-* : *lāqt*, вах. *lak-* : *lakt*; *laq-* : *laqt* 'болтать(-ся), качать(-ся)' и вах. *lak(ы)v-* : *lakovd*; *laq(ы)v-*, *læq(ы)v-* 'качать; двигать' – каузатив к предыдущему [Ст.-К. ЭСВЯ, 223].

От основ с инхоативным суффиксом праиран. *-sa < и.-е. *-s^hke-/o- и с исходом *-š < и.-е. *-s после *-k-: ягн. *laks-*, позднее прич. прош. вр. *láksta*, инф. *laksak* 1) 'ходить; кружиться; бродить; путешествовать'; 2) перен. «гулять» (о молодом человеке и девушке); имя действия *laksak*, вторичное прич. прош. вр. *lakstagi* '(много) бродивший, путешествовавший'; суффиксальный каузатив ягн. *lakson-* : прич. прош. вр. *laksonta*, имя действия *laksonak* 'заставлять ходить, прогуливать (ребенка), кружить, вращать; гонять, заставлять ходить по кругу' [ЯТ, 281; Мирз. ЛЯТ, 102–103]; сар. *loxs-* : *loxst* 'хромать'; руш. *lāxsát* нареч. 'хромая, ковыляя' [Писарчик, Руш., 69; Ст.-К. ЭСВЯ, 225]; ишк. *laxs-* : *laxsid* 'прихрамывать'; сгл.

laxč-, *bəlaxš-* 'поскользнуться, скользнуть', последнее, по [Morg. IFL II, 401], заимствовано из персидского *laxšīdan* (см. статью *²*lā(i)-*); более поздним заимствованием из персидского является сгл. *belišmān-* : *belišmānd-* – суффиксальный каузатив 'заставить скользнуть' из персидского (диалектного?) **lišmāndan* – то же [Morg. IFL II, 395]. Вах. *laxs-* : *laxst* 'хромать' из **lak-s-* [Ст.-К. ИФВЯ, 59, 173; Ст.-К. Lang, 212–213; Ст.-К. ЭСВЯ, 225]; этимологически связано с вах. *lak-/laq-* 'болтаться', см. выше.

Именные образования

**lakata-* 'лягание, пинок' (праиранское или древнеиранское имя из и.-е. **lekŋ-to-*, ср. реконструкцию **l/rakata-* в [Gersh. Hymn, 182, 324; Schwartz 2008, 282]).

Кл. перс. *lagad* 'лягание, пинок, удар ногой' и производные *lagad-kōb* 1) 'лягание'; 2) 'ударенный ногой, растоптанный'; *lagad-xasta* 'растоптанный' и др. [Фарханг I, 590]; совр. перс. *lāgād* 1) 'удар ногой, пинок'; 2) 'отдача (ружья)', сложноименной глагол *lāgād zādān* 'лягать, пинать; наносить удары ногой', производные имена *lāgād-zān*, *lāgād-āndāz* 'лягающийся, брыкающийся', *lāgād-kub* 1) 'раздавленный, растоптанный; утопанный, утрамбованный'; 2) 'попраный' и мн. др.; тадж. *lagad* 'удар ногой, пинок' и производные *lagad-zan* 'брыкающийся', *lagad-kori* 1) 'придавливание ногой'; 2) 'утрамбовывание ногами'; 3) 'вымешивание ногами (например, глины)'; *lagad-kūb* 'растоптанный, утопанный'; *lagad-kūbā* 'сильный удар ногой'; *lagad-xasta* 'растоптанный, попраный' и мн. др., тат.-евр. *lākāt* 'брыкание'.

В ряде языков наряду с собственными продолжениями **lakata-* отмечаются заимствования из персидского, таджикского. Ср. гил. *ləyəd* 'пинок', тал. *läyā* 'удар ногой, лягание; вымешивание (глины) ногами' [Пир. ТРС, 131]; бел. *lagad*, *lagat(t)*, с метатезой *ladag* 'лягание, пинок', ягн. *likat*, *lakat*, *lagad* 'удар ногой, лягание, пинок' – первые варианты собственно ягнобские, последний – из тадж. *lagad* [ЯТ, 282; Мирз. ЛЯТ, 102; Мирз. ФЯТ, 116]; ишк. *layat* 'пинок', ср. сгл. *layat* 'step, trace' [Morg. IFL II, 400] – из диалектов таджикского.

Поскольку корень звуко-символический и экспрессивный, нередки случаи использования полной редупликации корня (при обозначении чего-л. разболтанного, вихляющегося и т. п.), а также геминации его конечной согласной (-*kk-*, -*qq-*) в именах и глаголах, например, тадж. *lak-lak*, *laq-daq* 'болтающийся'; тадж. кар. *laq-laq k.* 'болтать', ягн. *laqqá* 'вислоухий' [Ст.-К. ЭСВЯ, 223]; ягн. *lūqqón* (из тадж.?) 'неустойчивый' [ЯТ, 282], ягн. *lakkon-* 'бежать вприпрыжку', мдж. *ləqləqov-* : *ləqləqevd-* 'трясти, стучать', о которых говорилось выше.

Неясные случаи

Вах. *lač* в сочет. *lač rəč-* 'размахивать руками (при ходьбе)', связанное с «дефектным» корнем **lak(k)-* (при сравнении с др.-инд. **lakka-*, *laṅga-* и с вах. *lak-*) [Ст.-К. ЭСВЯ, 223]. Хор. *lks-* основа наст. вр. глагола 'ударить кулаком', имперф. 3-го л. ед. ч. *l'kcd* в *l'kcdyn* '(он) ударил-его кулаком', по [MacK. Khwar. Gl. I, 550], – с основой наст. вр. из **lakatya-* – деноминатив от заимствованного кл. перс. *lagad* 'пинок' в значении 'удар', ср., однако, сравнение с др.-инд. *laguḍa-* и лат. *lacertus* 'верхняя часть руки; мускул верхней части руки' в [Sam. Chwar. Verb., 108]. Неясно, сюда ли относится орм. кан. *lak^aš^awai* 'олень' (Г. Моргенштерне сравнивает его с пшт. ваз. *lakašəwai* [Morg. IFL I, 399], то есть с обозначением 'скачущего'). Сюда ли относится язг. *lakānd* 'нависающая скала'?

Материал и трактовку этимологий см. также в [Аб. ИЭСОЯ II, 26; Ст.-К. ЭСВЯ, 223, 331; Цаб. ЭСКЯ I, 576, 582; Мh. KEWA III, 396].

5. *²*lak-* ? 'лакать; лизать; сосать' – звуко-символическое слово – из и.-е. **lak-* 'слизывать со звуком, лакать', связанного с и.-е. **lab-*, **lap-* со сходным кругом значений, ср. греч. *λάπτω* 'лижу, хлебаю', лит. *lakti*, *lakù* 'лизать, лакать языком', праслав. **lokati*, **ločq*, русск. *локать*, *лакать* [Рок. IEW, 653; ЭССЯ-16, 6–7; Фасмер II, 514]. О возможной связи с и.-е. **lab-*, **labh-*, *lap(h)-* см. также в [Рок. IEW, 651].

Отмечено с некоторыми изменениями в разных иранских языках.

Ягн. *lak-*, *laq-* (прич. прош. вр. *lákta*, имя действия = инф. *lákak*) 'лакать', ср. тадж. *lakidan*, *laqidan* – то же [ЯТ, 281], а также в производных: ягн. *lakonak* 'густой кисель из тонко просеянной муки с водой', *laqdon* 'миска для собаки' [ЯТ, 281; Мирз. ЛЯТ, 103]; язг. *rak°-* : *rak°t* 'сосать (грудь, вымя – о детях, детенышах животных)' (наст. вр. ед. ч. 1-е л. *rak°in*, 3-е л. *rak°t*; прич. прош. вр. *rak°tá(g)*, инф. *rak°áj*) и вторичный суффиксальный кауз. *rak°ān-* : *rak°ánt* 'кормить грудью, заставлять сосать' (наст. вр. ед. ч. 1-е л. *rak°anin*, 3-е л. *rak°ánt*; прич. прош. вр. *rak°antá(g)*, инф. *rak°anáĵ*). Ср. поздний не связанный этимологически чисто изобразительный сложноименной глагол язг. *laq da-* : *laq ded* груб. 'слопать, сожрать'.

Шугн. *dak-* : *dikt* (3-е л. ед. ч. наст. вр. *doht*, *dakt*, перф. *dikč*, инф. *diktōw*, *daktōw*) 'лизать, вылизывать' (и кауз. *dék-* : *dékt* 'понуждать лизать, вылизывать'), руш., хуф., барт. *dak-* : *dikt*, рош. *dāk-* : *dēkt* 'вылизывать (собирая пальцем)', сар. *dok-* : *dikt* (3-е л. ед. ч. наст. вр. *doht*, перф. *dikč*, инф. *diktew*) 'лизать' (в [Morg. EVSh, 31] приведено без прототипа). Возможно, здесь анлаутный *δ-* продолжает **l-*, ср. язг. *γiz-* : *γizd* 'лизать, слизывать, вылизывать' от **laiž-*.

Бел. *lakk-* : *lakkita-* 'лакать жидкость по-собачьи' – считается заимствованным из индоарийского источника [Elf., Val., 91]; орм. *lip-*, кан. *lup-^yek* 'кормить грудью' [Morg. IIFL I, 399].

Производные слова и сочетания

Шугн. ¹*dīk* 'почва, содержащая соль (которую лижет скот); солончак'; ²*dīk*, *dīkak* – название насекомого, похожего на клопа; шугн. *dēw-dikč* 'гладкостенная пещера; гладкая вымоина в скале' (букв. 'дэвом вылизанная'); шугн. *dakīĵ* 'лизун; лижущий'; *dakīĵák* 'клещ', вах. *dohič*, *dohič* 'овечий клещ' – заимствовано из языка, принадлежащего к шугн.-руш. группе (с суф. *-иč*) [Ст.-К. ЭСВЯ, 164]. В сочет. шугн. *dakīĵák angixt*, бдж. *dakīĵák ingaxt* 'указательный палец' (букв. 'лизун-палец'); руш., хуф. *dakēs* 'указательный палец' (букв. 'лизун').

6. ³*lak-* 'разорванный, драный; лохмотья, тряпье, ветошь' – из и.-е. **lēk-*, **læk-* 'разрывать, раздирать', ср. греч. *λακίς* 'лохмотья, клочок', лат. *lacer* 'разорванный', *lacerāre* 'драть, рвать', праслав. **lox* 'лохмотья', и производные праслав. **loxtu*, **loxтань* и т. д., русск. *лох-мотья*, русск. диал. *лухман* 'лохмотья, отрепья' (см.: Г.В. Горячева. Этимология 1988–1990, М., 1992, 39–40; [ЭССЯ-14, 19; ЭССЯ-15, 250–251]) и праслав. **laxъ* (< **laks-*), **laxa* 'одежда (также рваная), лохмотья; отрепье' и др. [Рок. IEW, 674; ЭССЯ-14, 18–19; ЭССЯ-15, 250 и сл.].

В живых иранских языках, благодаря экспрессивности слова, отмечается редупликация основы, нередки замены **-k-* > *-q-* и другие фонетические изменения, возможно, под влиянием ареальных тенденций. Кроме того, засвидетельствованы случаи контаминации с рефлексам производных от корня **lau-* : *lu-* в значении 'отрезать', обозначающих 'отрез, отрезанное'.

Кл. перс. *lak* в сочет. *lak-u-pak* 1) 'постельные принадлежности, палас и одежда, особенно старые, изношенные'; 2) 'бестолковая толкотня, беготня' [Фарханг I, 591–592]. Ягн. *laxlaxa* 'ветхий, разорванный (об одежде, ткани, обуви)' [Мирз. ЛЯТ, 104]. Шугн. *lāq* 'старые, ветхие штаны; обноски', ж. р. *lēq* 'старое рваное одеяло', руш. *loq* 'одежда', руш., хуф., барт. *lēq* ж. р. 'старый, драный, обноски, тряпье'; барт. *lōq* (ж. р. *lēq*) 'одежда'; язг. *lūq* 1) 'ткань', 2) 'одежда, одежка', 3) 'рваный, ветхий (об одежде); тряпье, ветошь', *laqaθ* 1) мн. ч. от *lūq*, 2) 'одеяла, спальня принадлежности'; *lūqin* 'тряпичный, матерчатый, сделанный из ткани'; ишк. *lūq* 'тряпье, лохмотья, ветошь; лохматый'; вах. *luq* 'тряпье'.

Производные слова и сочетания

Язг. *loq-šú(y)i sabān* 'мыло для стирки ткани' – с гибридным образованием *loq-šú(y)*, букв. 'тряпье' (язг.) + основа *šú(y)* 'мыть' (тадж.), хотя возможно, что это таджикское диалектное слово.

Неясные случаи

Неясно, сюда ли относятся ишк. *loki* 'поясной платок', сгл. *lākīn* 'пояс' (в [Morg. IIFL II, 400] слово приведено без этимологии) или они связаны с тадж. *lūngi* 'набедренная повязка,

поясной платок'. Неясно, сюда ли относится рош. *milāxt* 'кожа для подбивки сапог' и *milāxt vōšč* 'сапоги, подбитые кожей', ср. тал. *lāktā, lāxtā* 'заплата' [Пир. ТРС, 130]. Неясно, сюда ли относится ягн. *luh-*, осн. имперф. *aluh-*, инф. *luhak* 'облезать (о коже)', в сочет. типа *badaniš luhak ast* 'с его тела кожа облезла', букв. 'его тело облезло', *dasti pusttiš luhak ast* 'кожа его рук облезла' [Мирз. ЛЯТ, 105].

7. ***lala** – «детское» слово (Lalla-word) для обозначения 1) родственников и близких людей (или приравниваемых к ним в речи); 2) маленьких детей ('(грудной) младенец, «лялечка»'); 3) напева при баюкании ребенка ('баю-бай') и др. Связано, возможно, со звуко-символическим корнем и.-е. **lā-* и с редуцированной основой типа **lal(l)a-* (см., например, др.-инд. *lalallā-* 'лепет' [Mh. KEWA III, 92], праслав. **le'l'a*, церк.-слав. *леля* 'тетка', русск. *леля* 1) 'крестная мать'; 2) 'детская игрушка'; 3) 'детская рубашечка', русск. диал. *ляля* 'малютка, крошка' и т. п.; лит. *lėlė* 'кукла; грудной младенец' [Рок. IEW, 650–651; Фасмер II, 479; ЭССЯ-14, 163–165; ЭССЯ-15, 165].

Обозначения родственников и домочадцев

Кл. перс. *lālā* 'слуга, приставленный смотреть за мальчиками'; совр. перс. *lāle* устар. 'воспитатель, гувернер'; тат.-евр. *lālā* 'дядя по отцу'; курд. сор. *lāla, lālī, lālō* 'дядя по матери; дядя (о чужом человеке в детской речи)' [Цаб. ЭСКЯ I, 584]; бел. *lālā* 1) 'брат'; 2) фамильярное обращение к мужчине (аналогично урду и перс.) [Elf. Val., 91]; тал. *lālā* 'отец' (обращение к отцу), *lālāli* 'папочка' (обращение) [Пир. ТРС, 131]; пар. *lāla* 'старший брат' (см. при сравнении с пашто, персидским в [Morg. IIFL I, 269]); ягн. *lūlāk* 'младенец' – из тадж. диал. [ЯТ, 283]; пшт. *lāla* 'дядя (обращение)'; вах. *lol* 'брат, братец' – следует отметить, что последнее слово в [Ст.-К. ЭСВЯ, 226] относится не к упрощенному названию брата (ср. вах. *vryt* 'брат'), свойственному ряду языков Памиро-Гиндукушского региона, см. [ЭСИЯ 2, 180], а к *Ammensprache*.

Сюда же относятся междометия и производные от них слова, связанные с баюканием (ср. лат. *lallo* 'баюкаю', англ. *to lull*, нем. *lullen* 'баюкать'): тадж. *alla*, бел. *lolī* 'баю-бай' [Elf. Val., 91], тал. *lāy-lāy* 'баю-бай, баюкание' в сочет. *lāy-lāy že* 'баюкать' (букв. 'баю-бай играть') [Пир. ТРС, 130]; осет. *lolo* 'баиньки', *a-lolaj* – то же [Аб. ИЭСОЯ II, 47; ИЭСОЯ Указ., 18]; шугн. *la(y)-lāy, lāy-lāy* детск. 'баю-бай, баиньки' и т. п., а также другие детские слова: тадж. диал. *lolo, lulu* детск. 'хороший, милый, красивый' и др.

Сравнения и этимологии см. также в [Morg. IIFL I, 269; Цаб. ЭСКЯ I, 584].

8. ***lang-** 'хромать', ***langa-** 'хромой' – из арийск. **lang-*, **langa-*, ср. др.-инд. *ati-laṅg-* 'хромать', *laṅga-* 'хромой', *laṅgin-* 'хромой', *liṅgika-*, *liṅgita-* 'хромота' [Horn NP, 55; Mh. KEWA III, 86]. Более ранняя этимология неясна: возведение арийского **lang-* к и.-е. **leng-* 'изгибаться, шататься, колебаться' [Рок. IEW, 676] не исключено, однако дискуссионно⁴. Обсуждение см. в [Mh. KEWA III, 86; Топ. ИЭС 2-1, 323 и сл.].

Характерны заимствования в «малые» языки из персидского, таджикского, в том числе через языки-посредники (в частности, через соседние тюркские языки).

Кл. перс. *lang* 'хромой' [Фарханг I, 592]; совр. перс. *lāng* 'хромой' и производные совр. перс.: *lāngān* 'хромающий', *lāngān-lāngān* нареч. 'хромая, прихрамывая', деноминативный глагол *lāngidān* 'хромать', *lāngi* 'хромота'; тадж. *lang* 'хромой', деноминативный глагол *langidan* 'хромать', *langi* 'хромота' и др.; тат.-евр. *lāng* 'хромой'; деноминативный глагол *lāngüsdä* 'хромать'; курд. сор. *lang* 'хромой', кохр., вон., сив., диалекты полосы Кашана *leng*,

⁴ Не исключена раннеиндоевропейская связь **lang-* или **leng-* с индоевропейским корнем **lek-*, обозначающим неровное хождение: 'гнуть(-ся), болтать(-ся), скакать, прыгать' (см. праиран. **lak-* 'хромать, ковылять и т. п.'). В таком случае можно предположить инфиксацию **-n-* с образованием позднего и.-е. **leng-* через этап **le-n-k-* с последующим озвончением **-nk > *-ng*. Ср. прототип и.-е. **lenk-* в [LIV, 413].

седеи *leng, lang* 'хромой', заза *lang* 'хромой' [Цаб. ЭСКЯ I, 576], деноминативный глагол тал. *lāng- : lānge* 'хромать' [Пир. ТРС, 130]; пар. *lang* 'хромой' из персидского [Morg. IFL I, 269]; ягн. *lank-*, прич. прош. вр. *lānkta*, имя действия *lānkak* 'хромать' (ср. узб., тадж. *lang* 'хромой') [ЯТ, 281]; пшт. *lang* 'хромой'; сар. *long* 'хромой', сгл., ишк. *lang* 'хромой' (и деноминативный глагол ишк. *lang- : langʔd-* 'хромать' – из таджикского); вах. *lāng* 'хромой', возводимое к **la-n-k-* [Ст.-К. Lang, 210–213].

Другие производные слова и сочетания

Кл. перс. *lang-langān* 'ковыляя, прихрамывая'; язг. *ling-lus/c–ling-lus/c* нареч. 'ковыляя-ковыляя'.

Сравнения и обсуждения этимологий см. в [Morg. IFL II, 401, 528; Mh. KEWA III, 86]; обзор мнений и материал см. также в [Ст.-К. Lang; Цаб. ЭСКЯ I, 576].

9. ***langa-, *linga-** 'нога' – из арийск. **langha-* (?); условно может быть связано с корнем др.-инд. **lanh-* 'прыгать, скакать; прыжок, скачок', зафиксированным в др.-инд. *langhana-* ср. р. 'перепрыгивание, перешагивание' и в образованиях от этого корня в некоторых «малых» арийских языках, например башкарик *lāng* 'пешеходный мостик', и в рефлексах глагольных основ **langh-*, **langhayati* 'перепрыгивает' и др. [Turner CDIAL, 10904–10906]. Традиционно др.-инд. **lanh-* рассматривается как поздний вариант **ramh* 'спешить, бежать', см. также [Kel. Verbe, 161, Anm. 4; Mh. EWA-16, 473]. Может быть возведено к более раннему (диалектному?) и.-е. **leig- : loig- : *ling-*, ср. праслав. **2lega*, русск. диал. *ляга* 'бедро, ляжка' и др.⁵, лит. *lingė* 'гибкая палка; жердь для подвешивания колыбели' [ЭССЯ-15, 53 и сл.]⁶. См. также [Pok. IEW, 660].

В иранских языках это слово носит экспрессивный характер (ср. нейтральные **pād-*, **pada-* 'нога') и допускает заимствования из крупных иранских языков в «малые» (иногда через посредство соседних тюркских языков); при этом фонетические закономерности часто нарушаются.

Кл. перс. *ling* 'нога (от паха до пальцев)' и основа *-lang* в составе композитов⁷; совр. перс. *leng* – то же; тадж. *ling* 'нога (от паха до пальцев)' (распространено в диалектах), тат.-евр. *lāng* в сочет. *lāng šāndā* 'прыгать, прыгнуть'; курд. *ling* 'нога', курд. курм. также

⁵ Ср. также название 'лягушки', трактуемое как 'тот, кто передвигается, отталкиваясь ногами; тот, кто прыгает'), и праслав. **ležьka*, русск. *ляжка*, связанные с глаголом праслав. **legati (se)* (> русск. диал. *лягаться* 'качаться, вихляться, биться в судорогах, трепыхаться и т. п.'), см. [ЭССЯ-15, 53 и сл., 66].

⁶ Здесь, как и в случае **lang-* 'хромать', не исключен раннеиндоевропейский этап в виде производного **le-n-k-* от корня **lek-* 'гнуть(-ся), болтать(-ся), скакать, прыгать', см. праиран. **lak-*.

⁷ Хасандуст [Hasandust EDP, 99–100] рассматривает кл. перс. *-lang* в составе кл. перс. *ištālang*, совр. перс. *eštālāng* 1) 'лодыжка'; 2) 'игра в бабки' как заимствование из восточноиранского источника. Эту форму он возводит к др. перс. **danga-*, соответствующему ав. п. *zanga-, zənga-* 'лодыжка, щиколотка', др. инд. *jānghā-* – то же [Barth. AiW, 1660; Mh. KEWA I, 412], и сравнивает персидское слово с вах. *ling*, сгл., ишк. *ling*, сар. *lang* и т. п. В принципе такое объяснение тоже возможно, но ставит дополнительные вопросы о выявлении предполагаемого восточноиранского языка и о времени таких встречных заимствований. Проблема осложняется тем обстоятельством, что соответствие др. перс. **d* ~ ав. *z* ~ др. инд. *j* восходит к и. е. **ǵ*, которая в восточных (как и в северо-западных) иранских языках отражается в виде *z*. Если следовать положению Хасандуста, то мы должны предположить целую серию многократных передвижений данного слова: 1) заимствование в восточноиранские языки древнеперсидского слова с анлаутным **d-* (с вытеснением исконного с **z-*); 2) преобразование **d-* > **l-*, свойственное, кстати, только части восточноиранских языков в ограниченном ареале; 3) обратное заимствование слова, уже с *l-*, в персидский язык; 4) новое заимствование слова с *l-* из персидского в другие языки. К тому же при такой цепочке заимствований огласовка *-i-* остается необъясненной. Не слишком ли сложный путь для названия части тела – элемента базисной лексики, которая заимствуется не слишком часто?

lig, заза *ling* 'нога', бел. *lēng* (и заимствованное из персидского *ling*) 'бедро, ляжка; нога' [Geiger Et. Bal., 134], семн., сурх., ласг., шам., лур., лар. *leng*, гил. *lang* 'нога (от бедра до пальцев)' [Цаб. ЭСКЯ I, 592]; тал. *lyng* 'нога, ноги' и производные *lyngäriz* 'след, отпечаток ноги' и др. [Пир. ТРС, 133]; пар. *leng* 'нога'; сюда же относится курд. курм. *nig* 'нога' (и в сочетании *nig āvētin* 'шагать') – результат фонетической трансформации *ling* 'нога' через ступень **ning* → *nig* [Цаб. ЭСКЯ II, 40];

ягн. *ling*, *link* 'нога' (из узб., тадж. [ЯТ, 282]); мдж. *lānga* 'икра ноги' [Morg. IIFL II, 223]; мдж. *lāng*, верхн. *lāngā*, йд. *lingo* 'нога' [Гр. Мундж., 321], сгл. *ling* 'нога' из персидского [Morg. IIFL II, 401]; в языках Памира – заимствования из таджикских диалектов: руш. *ling*, шугн., барт. *līng*, сар. *lang* 'нижняя часть ноги, голень'; язг. *lang* 1) 'нижняя часть ноги (от колена до щиколотки)'; 2) 'нога (целиком)' [Ст.-К. Lang; Ed. Hist. Cons., 303].

Вторичные образования и семантические изменения

Тадж. *ling-zani* 'удар ногой, пинок', тат.-евр. *lāng-šumor* 'шагомер'; ягн. композит *vanlinka* 'длинноногий' [Мирз. ЛЯТ, 31]; ягн. *šataling* 'название детской игры – скакание на одной ноге' [Мирз. ЛЯТ, 226]; язг. *qoqái lang* 'берцовая кость'; ишк. *qoqling* 'часть ноги от колена до ступни', *kāxliṅk* 'икроножная мышца' или 'shinbone' [Morg. IIFL II, 400] (с заимствованным тюркским компонентом *qoq* 'сухой'); вах. *baǰlāng* 'бедро' – из *baǰ* 'толстый' и *lāng* '(задняя) нога' [Ст.-К. ЭСВЯ, 92]; вах. *šalāng* 'большая берцовая кость' – адаптация тадж. диал. *šā(h)-ling* букв. 'царь-нога' [Ст.-К. ЭСВЯ, 341]; вах. *langolačik goǰ-* 'прыгать на одной ноге' [Ст.-К. ЭСВЯ, 224]. Возможно, сюда же относится производное йд. *nāliko* 'икра ноги' [Morg. IIFL II, 232].

Пшт. *lingáta* спорт. 'подножка', ср. хор. *lyu* м. р. 'нога?' и 'подножка (в борьбе)' в сочет. 'у *lyu hyd' br mkyd*, букв. 'он подножку ему сделал (в борьбе)' при сравнении с кл. перс. *ling* 'нога' [Benz. Chwar. Wort., 373], ср. также вариант курд. курм. *lig* 'нога', см. выше.

Примыкающее (на первый взгляд) к этой лексеме кл. перс. *langar* 1) 'якорь (тяжелый кусок металла, опускаемый на дно и удерживающий судно на цепи)'; 2) 'шест канатоходца'; 3) 'место стоянки путешественников; остановка' [Фарханг I, 592–593] (ср. заимствования из классического персидского в другие языки, например, курд. *langar* 'якорь') является на деле адаптированным ранним заимствованием из греческого, см. [Mh. KEWA III, 807; Цаб. ЭСКЯ I, 576–577].

10. **lanka-* 'лог, впадина' – из арийск. **lanka-* – то же (?), ср. др.-инд. (в топонимике) *Lankā-pura-*. Возводится к и.-е. **lenk-* 'изгибать, изгиб; впадина' (ср. близкое к нему **leng-* 'гнуть, изгибать, кривить'), ср. тох. *leñke* 'впадина', лит. *lenkà* 'долина, ложбина', *lénkė* 'углубление', праслав. **lekti*, **lǫkь*, русск. *луг*, *луко-морье* [Рок. IEW, 676–677; Фасмер II, 532; ЭССЯ-16, 139 и сл.; Аб. ИЭСОЯ II, 29–30].

Осет. *lænk / læncæ* 'ложбина, долина; лог, впадина' (с отражениями разных более ранних вариантов: ирон. *lænk* < **lanka-*, диг. *læncæ* < **lančia* < **lančja-*), ср. хс. *Laṅggā-kamtha* 'город Ланка' [Аб. Ск.-европ., 17, 38, 124; Аб. ИЭСОЯ II, 29–30].

Неясно, сюда ли относятся имена нарицательные типа *langar*, употребляемые для названий относительно ровных площадок в горах (в основном в верховьях горных рек), а также распространенные топонимы, например язг. *Lāngār* – название выселков; шугн. *Langar-Kišn* – название кишлака и др. См. также пар. *langar* 'базар' [Ефимов Яз. пар., 211].

11. **lap-*, **lab-* 'губа, губы' – из арийск. **lap-*, **lab-*, **labh-*, ср. др.-инд. *lap-* в производном *lapsudīn-* прил. 'бородатый (о козле)', *lapsuda-* 'козлиная борода' (и др.-инд. ведич. *rapsudā* без надежного перевода). Данная древнеиндийская основа возводится к и.-е. **lep(e)s-* (ср. др.-верх.-нем. *lefs*, н.-верх.-нем. *Lefze*, лат. *labium* 'губа, край') [Mh. EWA-16, 474]. Арийские варианты **lap-*, **lab-*, **labh-* могут продолжать звуко-символические корни и.-е. **lap(h)-*, **lab*, **labh-* (от которых происходят слова со значением 'лизать, хлебать; целовать'

и т. п., см. др.-верх.-нем. *laffan* 'лизать', *leffil*, нем. *Löffel* 'ложка', арм. *lap'el* 'лизать', русск. *лопаты, лобзаты*) и и.-е. **lēb-*, **lōb-*, **lāb-*, **leb-* 'свисать, дрябло висеть; висеть, болтаясь', а также 'губа, губы' (ср. лат. *labium*, нем. *Lippe*) [Рок. IEW, 651, 655–656]⁸.

Уже на рубеже XIX и XX веков это праиранское имя (вместе с производными) было признано как одно из свидетельств сохранения и.-е. **l-* в иранских языках [Horn NP, 55]. Материал: ср.-перс. раннее *lap*, позднее *lab* (*{lp}*), ман. *{lb}*) 'губа, губы' [MacK. CPD, 52]; пазенд *law*, кл. перс. *lab* 1) 'губа, губы'; 2) 'берег'; 3) 'окружение, окрестности'; 4) 'верхний край сосуда' [Horn Gr., 212; Horn NP, 55; Hübschmann PSt., 96; Фарханг I, 586–587], совр. перс. *lāb* 1) 'губа, губы'; 2) 'край'; 3) 'острие, лезвие'; тадж. *lab* 1) 'губа, губы'; 2) 'берег'; 3) 'край, кромка; обочина' (в диалектах *lab*, *lav*), дари *lab* – то же < **lab-*, **lap-*, тат.-евр. *lov* 'губы'.

В языках северо-западной группы наряду с собственными словами нередко заимствования из персидского с разной степенью адаптации либо результаты контаминации исконных слов с персидскими заимствованиями: бел. *lap*, *lab* 'губа' [Geiger Et. Bal., 134], курд. курм. *lēv*, курд. сор. *lēw* 1) 'губа'; 2) 'край, выступ, берег'; гур. *lo*, *lou*, заза *law*, тал. *lyv* 'губа; губы'; кохр. *law*, зефрей *lö*, седеи *lö*, *lev*, газы *lö*, *lev*, кафр. *lōv*, *lev*, сив. *līč*, шам. *lab* [Цаб. ЭСКЯ I, 588–589]; вон. *löi*, кешеи *lev* [Жук. I, 188–189]; диалекты полосы Кашана *lew*; *lev*. Пар. *lab* 1) 'губа, губы'; 2) 'берег (реки)'; орм. *lab* 'губа, губы' заимствованы из персидского [Morg. IFL I, 268, 399].

В языках восточноиранской группы налицо следы аналогичного влияния таджикского языка: ягн. *lap* 1) 'губа, губы'; 2) 'берег'; 3) 'край, сторона' и поздние производные: *-lāpe* – послелог 'около; у'; *lāpik* 'крайний' [ЯТ, 282; Мирз. ЛЯТ, 104]; рош., ишк., зеб. *lab*, сгл. *lav* 'губа, губы'; вах. *lab*, *lap* 'губа, губы' [Morg. IFL II, 400, 528]; адаптированные: шугн. *-lāv* 'берег', употребляемое только в композитах (например, *daryō-lāv* 'берег реки', *wēδ-lāv* 'край арыка'), язг. *-lav* 'берег' в композите *хах-lav* 'край берега реки' (ср. *hex* 'вода, река'); язг. *sə-хах-lav* нареч. 'берегом реки; по берегу реки'; ишк. *lav* 'берег, край' в сочет. *digdon-lav* 1) 'край очага'; 2) 'нары за очагом'; вах. *law* 'губа'.

Производные слова

Кл. перс. *lafča* 'толстая губа' [Horn Gr., 212; Horn NP, 55; Hübschmann PSt., 96]), кл. перс. *lafč*, *lafj* 'отвислая толстая губа' (и *lafča* 'кусочек мяса без костей') [Гаффаров II, 716], тадж. *lafja* 'губастый, толстогубый'; семн. *lowča*, *lowša* 'губа'; пар. *lauč* (разг.), *lapč* (поэт.) 'губа' [Morg. IFL I, 268–269]; *lawč* 'губа' [Ефимов Яз. пар., 211];

шугн. *lāfč* 1) 'губа (животного и грубо – человека)'; 2) 'край', сар. *lofč* 'внутренняя часть губы' (заимствованы из таджикского); ишк. *lafč* 'губа' [Morg. IFL II, 400]; вах. *lafč* 'губа' – из таджикского, употребительно также в сочет. вах. *šin lāfčišt* 'ягодицы' (букв. 'зад(а) губы'); рош. *lafč* отмечено только в аналогичном сочетании *šardīz lāfčīn* 'ягодицы, зад' [Зар. ОТС, 41; Ст.-К. ЭСВЯ, 223].

Другие производные слова и сочетания

Кл. перс. *labīša*, *labāša*, *lavīša* 'веревка, которую затягивают, закручивая палкой вокруг морды лошади или осла, пока их подковывают' [Гаффаров II, 711]; сюда же хор. *lbyčyk* 'пути для морды животного' ('Maulfessel') = перс. *labīša* [Benz. Chwar. Wort., 51]; тал. *lybüt*, *lypüt*, *lübüt*, *lövüt* 'губа, губы' [Пир. ТРС, 133]; сюда же примыкают поздние производные, где *lab* выступает в значениях 'край, кромка': кл. перс. *lab-o-lab*, *lab-rez* 'полный до краев (о сосуде)' с компонентом *rez-* – осн. наст. вр. глагола 'лить(-ся)'; ягн. *lablūla*, ср. тадж. *lablulá* 'кайма' [ЯТ, 281]; ягн. *yarlapa* 'склон горы?' (калька с тадж. диал. *labi küh*, *sari küh*) [Мирз. ЛЯТ, 43].

⁸ Связь со значением 'свисать, дрябло висеть; висеть, болтаясь' отразилась также в осет. *læw* 'отвислый, болтающийся', в осет. ирон. *læw-læw kænyn* 'висеть, болтаясь', если вслед за В.И. Абаевым возводить осет. *læw* к и. е. **leb-*, **lemp-*, **lab-* 'висеть, болтаясь; быть дряблым' [Аб. ИЭСОЯ II, 36].

Неясно, относится ли сюда ср.-перс. *lawzēnag* {*lwčynk*'}, н.-перс. *lawzēnagīna* 'миндальные сладости, марципан' [MacK. CPD, 53].

По фонетическому признаку сюда примыкают ареальные (зафиксированные в языках Средней и Центральной Азии) обозначения малого количества чего-л., построенные по модели «один + рефлекс **lab-*», то есть первоначально 'один край' (или 'на одну губу, на один укус', если речь идет о съестном) → 'немного, понемногу' (возможно, при контаминации с субстратным **lap*, ср. буруш. *lap* 'часть, половина'): шугн., руш., хуф., барт., рош. (*y*)*i-lāv* 'немного; часть', ишк. *uk-lav* 'немного, кусочек' и др., букв. 'один *lav*', ср. аналогичные сочетания с иными родственными словами, заимствованными из местных таджикских диалектов: вах. *ilá, ilakák* 'немножко, чуть-чуть' – из тадж. (говоры бад., гор.) *ila, ilekək, ilakak* 'немного, понемногу, чуть-чуть' с редуцированным суффиксом; в ваханском контаминировано с сочетанием *i la(y), i loy* 'один раз, разок'. Аналогичны заимствованные ишк. *ila(kьk)*, сар. *il(l)u*, йд., мдж. *iloγo, yīla* 'немного', пшт. *ilá* 'немного, чуть-чуть; едва'; мдж. *yīla* 'глоток'. Ср. шугн. *bayēlā* 'еле-еле, чуть-чуть' [Ст.-К. ЭСВЯ, 194]; сюда же примыкает вах. *lav* в сочет. *yi lav xāč* 'кусочек хлеба', ср. тадж. (говоры вандж., дарв.) *lav* 'кусочек' и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 223, 225].

Сравнения и этимологии см. также в [Geiger Et. Bal., 134; Ст.-К. ЭСВЯ, 223; Цаб. ЭСКЯ I, 588–589].

12. **lap-*, **lab-*, **laf-* 'говорить, болтать; лепетать' – из арийск. **lap-*, **rap-*, ср. др.-инд. *rap-*, *lap-* 'говорить, болтать' (например, *lapati* 'болтает', основа буд. вр. *lapiṣya-*, кауз. *vi lāpau-* и др.) [Mh. KEWA III, 88–89; Mh. EWA-16, 432–433, 461]. Восходит к и.-е. **lep-* – звуко-символическому корню со значениями 'говорить, лепетать', ср. праслав. **lepetь*, **lepetanjьe* 'лепет', **lepetěti* и др., русск. *ленет, лепетать* [Рок. IEW, 677–678; ЭССЯ-14, 124 и сл.].

Кл. перс. *lāf* 'многословие, пустословие, болтовня; хвастовство', поздние образования: сложноименной глагол *lāf zadan* 'хвастаться, выдавать себя за кого-л.' и деноминативный *lāfidan* (диал. также *labīdan*) – то же; вторичные производные имена: *lāf-zan* 'болтун, хвастун, фанфарон' и абстрактное *lāf-zanī* 'болтовня, хвастовство, самохвальство; фанфаронство' [Гаффаров II, 709]. Продолжения этих слов: совр. перс. *lāf* 'пустословие, болтовня; хвастовство, бахвальство', деноминативный глагол *lāfidān* и сложноименной *lāf zādān* 'хвастаться, бахвалиться'; производные имена: *lāf-zān* 'хвастун, бахвал' и вторичное абстрактное *lāf-zānī* 'хвастовство, бахвальство; фанфаронство'; дари *lāf zadan, lāfidan* (в диалектах также *lāwidan, labīdan*) 'хвастаться, бахвалиться'; *lāfōk* 'хвастун, бахвал', *lāf-zanī* 'хвастовство, бахвальство' и др.; тадж. *lof* 1) 'хвастовство, бахвальство'; 2) 'пустословие, болтовня' и глаголы: деноминативный *lofidan* 'хвастать(-ся), бахвалиться', сложноименной *lof zadan* 'хвастаться, похваляться; бахвалиться' и производные имена: *lof-zan* 'хвастун, бахвал; хвастливый' и вторичное абстрактное *lof-zanī* 'хвастовство, бахвальство' и др. Парф. *lāb* [*lāβ*] (ман. {*l' b*}) 'просьба, мольба' [Boyse WL, 55] (и ''*l' b, l' b* 'зов, просьба, мольба' [Henn. SP I, 559, 565]); курд. *lāf* 1) курм. 'обидное слово'; 2) сор. 'хвастовство' – из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 584]; тал. *lafže* 'хвастать' – с заимствованным именным компонентом.

Заимствованные из таджикского: ишк. *lof* 'пустословие, болтовня'; язг. *lof* 'хвастовство, пустое обещание'; ягн. *lof* 'вранье, хвастовство, бахвальство', на этой базе дальнейшие свои производные: сложноименной глагол ягн. *lofē kun-* 'хвастать, сулить' и имя *lofi* 'хвастун' [ЯТ, 282]; ягн. *lof dihak* 'хвастать, бахвалиться' [Мирз. ЛЯТ, 105].

Относительно ранние именные производные

Ср.-перс. *lābag* {*l'pk*} (при ман. {*r' b*}) 'упрашивание; просьба, мольба' [Henn. SP I, 565; Henn. BBB, 114; Nyb. MP, 167; MacK. CPD, 52], кл. перс. *lāba, lāva* 1) 'мольба, упрашивание, просьба'; 2) 'лесть, угодливость'; 3) 'обман, хитрость'; 4) 'шутка, насмешка', а также сложноименные глаголы: *lāba kardan, lāba namūdan* 'умолять, упрашивать' – и вторичные производные имена: *lāba-gar* 'проситель'; *lāba-kunān* нареч. 'умоляя, упрашивая; лстя' и др.

[Гаффаров II, 707, 710; Фарханг I, 602]; совр. перс. *lâbe, lâve* 1) 'мольба, упрашивание, просьба'; 2) 'жалобы, сетование' и глаголы: *lâbidân, lâbe kârdân* 1) 'умолять, упрашивать, просить'; 2) 'жаловаться, сетовать'; ²*lâbe* кн. 1) 'лесть, подхалимство'; 2) 'хитрость, обман'; 3) 'ирония, шутка' и производные: *lâbegâr* кн. 1) 'льстец, подхалим'; 2) 'хитрец, обманщик'; *lâbegâri* кн. 1) 'лесть, подхалимство'; 2) 'хитрость, обман'; тадж. *lobá* 1) 'жалоба, стенание, мольба, сетование'; 2) 'лесть, заискивание'; 3) 'обман, фальшь, ложь'; 4) 'шалость, озорство' и производные имена: тадж. *lobagâr* 1) 'проситель, ходатай'; 2) 'льстец, подхалим'; *lobagari* 1) 'просьба, упрашивание, мольба'; 2) 'лесть, подбострастие, заискивание';

в северо-западных и восточноиранских языках обычно – заимствования из персидского, дари и таджикского: курд. курм. *lāvā, lāv* 'просьба, мольба' [Цаб. ЭСКЯ I, 586–587]; а также вторичный деноминативный глагол курд. сор. *lāwēn- : lāwāndin* 1) 'утешать, успокаивать'; 2) 'стенать, плакать' [Цаб. ЭСКЯ I, 587]; бел. *labajag* 'глупое бормотание'; тал. *lovä* 'просьба, мольба' и *lovä-šivä* 'рыдания, причитания' [Пир. ТРС, 134]. Пшт. *lāfa, lāba* 'хвастовство', *lāfuk* 'хвастун' заимствованы из дари. Возможно, сюда относится хс. *rambina* 'разговор' от этого же корня, с назальным инфиксом [Bailey DKS, 358].

Глаголы, произведенные от корня **lab-*, **laf-* в языках Западного Памира: шугн. *lūv-* : *lūvd* (осн. наст. вр. также *lū-*, по диалектам *lu-*, *lo-*, *luv-*; 3-е л. ед. ч. наст. вр. шугн., бдж. *lūvd, lūd*, барв. *lūvd*, осн. перф. шугн., бдж. *lūvǰ*, барв. *lūvǰ*, инф. шугн., бдж. *lūvdōw*, барв. *lūvdōw*) 1) 'говорить, сказать'; 2) 'повествовать, рассказывать', 3) 'просить, спрашивать'; 4) 'называть'; 5) 'петь' и т. п. (и производные имена); руш., барт. *luv-* : *lūvd*, хуф. *lūv-* : *lūvd*, рош. *luv* 'скажи'; сар. *lev-* : *levd* 'говорить, называть'; язг. *lāf-* : *laft* (3-е л. ед. ч. *left*, прич. прош. вр. *laftá(g)*, инф. *lafáǰ*) 1) 'говорить; называть'; 2) 'рассказывать'; 3) 'петь'. Г. Моргенштерне [Morg. EVSh, 42] считает эти глаголы в данных языках заимствованными, однако этому противоречит как их фонетика, см. [Ed. Hist. Cons., 303], так и семантика. Несомненными заимствованиями из таджикского и персидского являются ишк. *bylav-* : *bylavd* 'читать, учиться, петь', сгл. *belav-* : *belavəd* 'читать, петь' [Morg. IFL II, 385] (очевидно, при чтении нараспев).

Менее ясно происхождение глаголов со значением 'ляять', возможно, по ассоциации с рефлексам **rai-*, **rāi-* 'кричать (о животном); ляять': ишк. *lov-* : *lovd* 'ляять', сгл. *lav-* 'ляять' [Morg. IFL II, 401], мдж. *rāv-* : *rīvd* 'ляять' [Гр. Мундж., 352] и йд. *rov-* : *rīvd* – то же, восходящие к варианту корня, подвергшемуся ротацизму (см. сопоставление со ср.-перс. *rap-* 'кричать' в [Morg. IFL II, 244] и мдж. *rāv-* : *rīvd-* 'говорить' из **rap/b-* [Гр. МЯ ОИЯ, 208]). Неясно происхождение язг. *lāv-* : *lāvd* (3-е л. ед. ч. наст. вр. *lāvd*, прич. прош. вр. *lāvdá(g)*, инф. *lāváǰ*) 'разговаривать во сне' – возможно, это деноминативный глагол, ср. язг. *lāv* 'голос; шум, звук (например, гудок машины)'. К ним примыкают тадж. дарв. *luw kardan* 'говорить'; тадж. вандж. *luv* в сочет. *luv kardan* 'звать' и др.

Производные от данных глаголов: шугн., бдж. *lūvaǰ*, барв. *lūvaǰ* 'упреки, попреки, нарекания'; шугн., бдж. *lūvǰ*, барв. *lūvǰ* (имя деятеля) 1) 'рассказчик'; 2) 'болтун, пустослов'; 3) 'сварливый человек' и др.; язг. *lafay* модальное слово 'как будто, словно' (калька с тадж. *guyo* – то же от глагола 'говорить'), язг. *lafek* лексикализованное прич. наст. вр. 1) 'рассказчик, мастер говорить'; 2) 'болтун'; 3) 'певец' – в сочет. *sawd lafek* (*sawd* 'песня'); 4) 'плакальщица, причитальщица'; ишк. *bylavúkǰz* 'ученый; много знающий'. См. также шугн. *ki-lublub* 'болтун, говорун' – с *ki-* из **ku-* или от предлога *ki-* 'к'; вах. *bəlaftá* 'болтун, пустомеля; бестолочь' – из бадахшанских говоров таджикского языка, ср. ванджский говор *palavta* 'неприличный', руш., хуф. *biliftā* 'пустой, бестолковый' – из таджикского бадахшанского. Возможно, сюда же относятся пшт. *aplāt* 'вздорный, пустой', *aplīt* 'пустомеля, болтун', *aplātānd* 'болтающий вздор', если они связаны с **lap-/laf-* 'болтать' [Ст.-К. ЭСВЯ, 107].

Сравнения и этимологии см. также в [Horn Gr., 212; Hübschmann PSt., 96; Bailey DKS, 358; Ст.-К. ЭСВЯ, 107; Цаб. ЭСКЯ I, 586–587].

13. *³lap-, *lāp- 'плоский, приклепнутый, расплющенный; расшлепанный'; возможно, также 'прилепленный, прилеплять' – звукоизобразительный корень, который может быть связан с и.-е. *le(m)b-, *re(m)b-, см. [Рок. IEW, 655; Мh. KEWA III, 44]; не исключена также ассоциация с и.-е. *leb-, *lep- 'свисать, свешивать' [Рок. IEW, 655–657] в значении 'прикрепить, прикрепленный', ср. лат. *limbus* 'отделка', праслав. *lepati (se) 'шлепать, ударять, делать что-л. кое-как и др.', связанное с праслав. *lepiti 'лепить, мазать', *lěpati (se), *lěpiti, *lipati со значениями 'лепить(-ся), мазать, прилипнуть, лнуть и т. п.' и другими производными от корня и.-е. *lep- с первоначальным значением 'обдирать, облуплять, откалывать' [Рок. IEW, 677–678], русск. лепить, лепёшка, лепесток и др. [ЭССЯ-14, 116 и сл.; 214, 217 и др.].

Производные от этого корня широко распространены в ареале таджикских бадахшанских говоров (из восточноиранского субстрата?) и в соседних восточноиранских языках, но отмечены и в других иранских языках (обычно с экспрессивными оттенками). Например, вах. *lapāk* 'блинчик из теста', *oš-i lapāk* 'похлебка с блинчиками' – из таджикской диалектной основы *lap-* [Ст.-К. ЭСВЯ, 224]; язг. *lapaóš* 'похлебка с лапшой, нарезанной треугольниками' (с *oš* из таджикского.).

Этот же корень с небольшими фонетическими изменениями выявляется в словах, обозначающих телесные недостатки, типа 'приплюснутый' (~ русск. *лопо-*), например, ванджский говор таджикского *lapguš* 'большеухий' (об овце, баране), бадахшанский говор *laplaguš*, *lappaguš* – то же; вах. *lap(a)guš* 'лопоухий, длинноухий, вислоухий', *lapyaš* 'большеротый', ср. перс. *lurú* 'толстощекий', тадж. *luprak* 'карапуз'.

Сюда же или к омонимичному корню из и.-е. *leb-, *lep- 'свисать, свешивать' [Рок. IEW, 655–657] (ср. др.-инд. *lappha- 'дефектный', *lamba-* 'висящий' [Turner CDIAL, 10943, 10951]; англ. *lap* 'пола, подол, фалда', нем. *Lappe* 'тряпка' и др.) относят пшт. *lúpa-lúpa* 'спутанный (о волосах)'; осет. *laew-* 'отвислый, болтающийся' [Аб. ИЭСОЯ II, 36]; хс. *ttrraba* 'бахрома' ('fringe?'), которое Бейли возводит к *ati-rampa- [Bailey DKS, 142] и др.

Сюда же к образованиям типа *ka-lap- В.И. Абаев относит названия одежды и пр. в разных языках, например др.-инд. *kalāpa* 'колчан; пояс', укр. *холоши* 'штаны', перс. *kulāh* 'головной убор, шапка', осет. *xələf* 'штаны' [Аб. ИЭСОЯ IV, 164–165].

Сравнения и этимологии см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 224].

14. *⁴lap- 'большой; многий; очень' (?) – возможно, не общеиранское, но достаточно древнее экспрессивное слово, изменившее огласовки в ряде языков. Отмечено по ареалам. Будучи разговорным, оно не всегда отмечается в больших словарях, ориентированных на литературную норму.

В западном ареале: тал. *lāp* 'очень, совсем, совершенно' [Пир. ТРС, 130]; тат.-евр. *lap* 'очень, самый; в высшей степени; вполне, совершенно'.

В восточном ареале: в таджикских говорах: тадж. бад. *lumbuk* 'толстяк', тадж. кар., тадж. дарв. *lum(b)* 'большой, огромный, много', тадж. вандж. *lav* и др. Возможно, в таджикские говоры слово вошло из восточноиранского субстрата. В языках Памира: шугн. *lap* 1) 'многочисленный, много'; 2) 'полный, наполненный'; 3) нареч. 'много, порядочно'; 4) 'очень, весьма'; 5) 'часто', руш., хуф., барт., рош. *lap* – то же, язг. *lap* 'очень, много, большой'; сюда же Г.Моргенштерне относит (под вопросом) сар. *lewr*, *lawr* 'большой, великий; взрослый, старший' (?) [Morg. EVSh, 42]. Ишк. *lip* 'много, множество', сгл. *lip* 'много' [Morg. IIFL II, 401], вах. *lup* 'большой, взрослый; много' [Morg. IIFL II, 598; Ст.-К. ЭСВЯ, 227]; пшт. *lou*, *luy* 1) 'большой, крупный'; 2) 'громкий, пронзительный (звук)'; 3) 'взрослый'; 4) 'выдающийся, великий'; 5) 'знатный, почтенный' (в сочетаниях также 'вождь' и т. п.). Рефлексы корня зафиксированы также в дардских языках [Turner CDIAL, 9193], обзор материала см. в [Ст.-К. ЭСВЯ, 227].

Отмечены относительно поздние, разные по языкам, производные слова: бдж. *labamōl* 'очень много, уйма, предостаточно'; сар. *lewrēw*, *lawraw* 'предводитель, вождь, глава'; в

сложениях: вах. *lup-rup* 'прадед' (букв. 'большой дед', к семантически аналогичным образованиям ср.: ягн. *kattabobī* 'прадед' [Хр. Ягн., 187], тадж. *bobokalon* – то же) [Ст.-К. ЭСВЯ, 227]. То же в вах. *lup-ryrk* 'крыса' (букв. 'большая мышь'), *lup-raž* – название главных нар (букв. 'большие нары'); сар. *lɛwr-nox* – то же (к семантике: ср. таджикский говор Вахана *dukon-i kalon* 'большие нары') [Ст.-К. ЭСВЯ, 227].

Сравнения, этимологии и более раннюю литературу см. также в [Morg. PFL II, 491, 528; Ст.-К. ЭСВЯ, 227].

15. ***⁵lap-, *lāp-** 'лапа', возможно, звуко-символическая основа. Может продолжать и.-е. ***lēp-, *lōp-, *lāp-** 'лапа', ср. гот. *lofa*, др.-верх.-нем. *lāfa*, праслав. **lapa*, русск. *лапа*, лит. *lora* 'лапа (собаки, медведя)', см. [Рок. IEW, 679; Фасмер II, 458; ЭССЯ-14, 26–27].

Курд. *lap* 'кисть, ладонь; лапа, рука; горсть' (и производное курд. курм. *lapik* 'рукавицы, перчатки'); гур. *lap* 'ладонь', заза *lap, lab* 'рука; горсть, пригоршня'; наини *lap* 'подошва ноги' [Цаб. ЭСКЯ I, 577];

пшт. *lāpa* ж. р. 1) 'пригоршня'; 2) 'пятерня; ладонь' – возможно, под влиянием экспрессивного глагола типа ***lap-, *lab-**, восходящего к и.-е. ***labh-** 'схватывать', ср. др.-инд. *lābhate, rābhate, lāmbhate* 'схватывать' и др. [Рок. IEW, 652]. Г.Бейли восстанавливает глагол сходного звучания ***laf-** (из и.-е. ***labh-**) на материале хс. *ttralapha-* 'garacious' – 'жадный, хищный' [Bailey DKS, 143], однако других подтверждений его существования в древнеиранских диалектах или в праиранском не найдено.

Материал и этимологии см. также [Эд. СГВЯ-Ф, 29; Цаб. ЭСКЯ I, 577].

16. ***laśaka-** 'лосось' (?) – либо раннее заимствование в скифо-сарматские диалекты из северно-европейского источника, что наиболее вероятно, см. [Аб. ИЭСОЯ II, 32–33; Ск.-европ. изогл., 7–8], либо совпавшее (или ассоциированное) с европейским обозначением ***lak-so-s** 'лосось' собственное развитие производного имени (связанное с окраской или блеском чешуи) из и.-е. ***lak-** 'брызгать, кропить; покрывать крапинками', ср. др.-верх.-нем. *lahs*, нем. *Lachs* 'лосось', др.-прусс. *lasasso*, лит. *lašas* 'капля', *lašėti* 'капать'; лтш. *lāsaīns* 'пятнистый, крапчатый', тох. В *laks* 'рыба', см. [Рок. IEW, 653].

Осет. диг. *laesæg* 'лосось' – единственный надежный рефлекс праиранского слова либо раннее заимствование из европейского источника, подробнее, с литературой, см. [Аб. ИЭСОЯ II, 32–33; Аб. Ск.-европ. изогл., 7–8]; см. также [Гамкр. Ив. ИЕ II, 536–537].

17. ***¹lau- : lū- / *rau- : rū-** 'мазать, обмазывать; пачкать' – из арийск. ***lau- : lū-, *rau- : rū-** – то же. Возводится к и.-е. ***leu-, *leuə- : lū-** 'грязь; пачкать, грязнить', ср. греч. *λύμα* 'грязь, позор', *λύμη* 'брань', лат. *polluō* 'пачкаю', *lutum* 'кал', др.-ирл. *loth* 'грязь' и др. [Рок. IEW, 681; LIV, 414]. В иранских языках отразились оба фонетических варианта: с ***l-** и ***r-**.

Ср.-перс. *ālāy-* : *ālūd-*, инф. *ālūdan* ({'l'd-}, инф. {'lwtn'}), ман. осн. прош. вр. *ārūd-* {'rwd-} 'мазать, пачкать' [Henn. Verbum, 209 = Henn. SP I, 116; MacK. CPD, 7] – с основой наст. вр. из ***ā-lāuāia-/ *ā-rāuāia-**, основой прош. вр. из ***ā-lūta-/ *ā-rūta-**; кл. перс. *ālā(y)-* : *ālūd-*, инф. *ālūdan* 'мазать' [Horn Gr., 10; Horn NP, 55; Hübschmann PSt, 8; Hasandust EDP, 47–48]; совр. перс. *ālā-* : *ālud-*, инф. *āludān* 'пачкать(-ся), грязниться; осквернять(-ся)'; тадж. *olo-* : *olud-*, инф. *oludan* 1) 'вымазаться, испачкаться'; 2) 'пачкать, марать, загрязнять' (и вторичные формы инфинитива: *oloidan* = *oludan* и из каузативной основы *olondan* 'пачкать, мазать, загрязнять') и производные имена, см. ниже.

Осет. *arawun* : *aryd / arawun* : *arud* 'опалить на огне' относится сюда, если допустить исходное значение 'коптить; чернить, держа над огнем' (из преверба ***ā-** + корень ***rau-**) [Аб. ИЭСОЯ I, 56–57], осет. диг. *aruju* : *arud* 'опалиться огнем' (из медиальной формы со слабой огласовкой) [Аб. ИЭСОЯ I, 71], ирон. *wyrawun* : *wyryd* 'жечь, палить' [Аб. ИЭСОЯ IV, 119]. К этому же корню В.И. Абаев относит пшт. *alwoyəl, a(w)law-* 'опалить, обжигать,

жарить' [Аб. ИЭСОЯ I, 56–57], однако для форм пашто вероятнее продолжение более раннего **alowy-* из **adi-hauaja-* [Morg. NEVP, 8].

Производные имена

Ср.-перс. *lūtak* [Horn Gr., 10] без перевода, но в статье *ālūdan*; ср.-перс. *ālūdag* {'*lwtk*'} 'загрязненный, испачканный' и вторичное абстрактное имя *ālūdagīh* 'загрязненность, испачканность' [MacK. CPD, 7]; совр. перс. *ālude* – лексикализованное прич. прош. вр. 1) 'запачканный, запятнанный'; 2) 'оскверненный'; композит *ālude-dāmān* 'безнравственный, развратный' (*dāmān* 'подол') и др.; тадж. *olo(y)iš* 'пачканье, загрязнение; осквернение'; лексикализованное прич. прош. вр. *oluda* 1) 'испачканный, вымазанный'; 2) кн. перен. 'запятнанный, опороченный'; вторичное абстрактное имя *oludagi* 1) 'загрязненность'; 2) перен. 'запятнанность, опороченность'; 3) 'безнравственность', в композитах: *oluda-nazar* кн. 1) 'с дурным глазом, нечистый'; 2) 'грешный, порочный' и мн. др.

Имена, продолжающие корневые основы

Ср.-перс. ман. *rwd* (< **rū-ta-*) 'нечистый'; совр. перс. *lāy* (< **lāja-* или **lau(a)ja-*) 1) 'ил, тина'; 2) 'осадок, отстой, муть' и производное *lāyestān* редко 'грязное, тинистое место; топь; трясина'; тадж. *loy* 1) 'грязь, глина'; 2) 'глина (строительная, для штукатурки); 3) 'осадок, муть' и дальнейшие суффиксальные имена и композиты, например, *loyīn* 'глиняный, глинобитный', *loyqá* 'ил; тина; муть'; *loy-don* 1) 'яма, заполненная глиной'; 2) 'яма, в которой замешивают глину для строительства и штукатурки', *loy-olud* 1) 'грязный – испачканный в глине'; 2) 'мутный' и т. п. Сюда же относится курд. курм. *hilū* 'гладкий, ровный; полированный', возводимый к **rav-* < и.-е. **leu-* : *lū-* 'грязь, грязнить' [Цаб. ЭСКЯ I, 440].

Ягн. *loy* 'глина, грязь'; *loynók* 'грязный' – заимствования из таджикского [ЯТ, 282]; осет. *ryg/rugæ* 'пыль, прах' < **ru-ka-* [Аб. ИЭСОЯ II, 444]; хс. *rrumä* 'прах, глина' [Bailey DKS, 366]. В языках Памиро-Гиндукушского региона в обозначении процесса обмазывания глиной стен, пола, крыши дома (строительный термин) возможно совпадение рефлексов **lau-* : *lū-* с рефлексами **dau-* : *dū-* в значении 'тереть, мазать' в условиях заимствования последних терминов из такого восточноиранского языка (пашто, бактрийского, мунджанского или йидга), где произошел закономерный переход **d-* > *l-*. см. материал в [ЭСИЯ 2, 381–382].

Сравнения и этимологии см. также [Horn Gr., 42; Horn NP, 55; Hübschmann PSt., 8; Nasandust EDP 47–48].

18. **lau-* : *lū-* / *gau-* : *gū-* 'резать, отрезать' – из арийск. **lau-* : *lū-*, ср. др.-инд. *lav-* 'резать, отрезать' (3 л. ед. ч. *lunoti*, прич. перф. *lūna-*, ср. *á-lūna-* 'неотрезанный'), *lavaka-* 'режущий'. *lavi-*, *lavitra-* 'серп'. Восходит к вариантам и.-е. **leu-* : **leuə-* : **lēu-* : **ləu-* (: **lū-*) 'отрезать, отделять', ср. норв. *logg*, дат. *lugge*, *lug* 'надрез, насечка', хет. *Glšlu-ut-ta-i* 'окно' (← 'вырезанное') и др., см. [Pok. IEW, 681–682], ср. также сходные значения рефлексов и.-е. **reu-*, *reuə-* : *rū-*, см. [Pok. IEW, 868–871; Аб. ИЭСОЯ II, 53–54; Mh. EWA-16, 476].

Осет. *lyg/lux* 'отрезанный, порез, разрез, отрезание, отсечение' < **lu-ka-*, производные: *lyg kænyn* 'резать, рубить, разрезать, отрезать', *lygtæ kænyn / luxtæ kænyn* 'резать на куски', *lyggag / luggag* 'отрубок, обрубок; отрезок; лоскут; дубина' и др. [Бенв. Оч. осет., 44; Аб. ИЭСОЯ II, 53–54], там же литература; см. также [Biel. Oss., 191].

См. [Mh. KEWA III, 93, 106–107, 789]; фонологическая реинтерпретация индоевропейского прототипа [Mh. EWA-16, 476; LIV, 417].

19. **laub-* : *lub-* / **raub-* : *rub-* 'быть беспокойным, взволнованным; быть в смятении, одержимости' (?) – из арийск. **laubh-* 'быть беспокойным' (?), ср. др.-инд. *lobh-* 'быть в беспорядке, впасть в волнение' (например, *lubhyati* 'становится помешанным', перф. *lulobha* 'стал нарушенным', кауз. *lobháyati* 'вызывать, возбуждать желание', *lúbhyati* 'желать', прич. *lubdha-* 'спутанный, запутанный' и т. п.). Восходит к и.-е. **leubh-* 'любить; влюбиться,

желать', ср. лат. *libido*, др.-верх.-нем. *liob* 'милый, дорогой', нем. *lieben*, праслав. **l'ubiti* (*se*), ст.-слав. *ljubiti* 'любить', русск. *любить*, праслав. **l'ubъ(jь)* 'приятный' (< **leubho-*) и производные [Рок. IEW, 683–684; Мh. KEWA III, 107–108; Мh. EWA-17, 483–484; Фасмер II, 544; ЭССЯ-15, 174 и сл., 181–182; LIV, 414].

Кл. перс. **āluftan* 'быть взволнованным, возбужденным, обезумевшим (от любви), растерянным; быть сбитым, побитым' – личные глагольные формы в текстах неупотребительны, сохранилось имя – лексикализованное причастие прош. вр.: кл. перс. *ālufta* < **ā-lub-ta-* 1) 'взволнованный, взбешенный; влюбленный'; 2) 'бесстрашный, бесшабашный'; 3) 'одинокий, неприкаянный, дервиш'; 4) 'разбитый, немощный; огорченный'; 5) 'распутник, распутница' и т. п.; тадж. *olufta* 1) 'щеголь, франт'; 2) 'кутила, гуляка, жуир' и производные тадж. *oluftagi* 1) 'щегольство, франтовство'; 2) 'пристрастие к кутежам' и др. (в современном персидском вытеснено синонимом, продолжающим кл. перс. *āšufta* < **ā-xšub-ta-* от корня **xšaub-* : *xšub-*, соответствующего др.-инд. **kṣubh-* 'приходить в движение, волнение'); сюда же относится осет. диг. *ilivd* 'несчастный' – из **vi-lufta-* < **ui-lub-ta-*, подробнее см. в [Аб. Осет. *ilivd*, 10–11, 14].

К этому корню относят и ср.-перс. ман. *pdrwb-* при разных трактовках семантики: 'вергнуть в смятение'; 'разгромить, обращать в бегство' (3-е л. мн. ч. наст. вр. *pdrwbynd*); парф. *pdrwb-* (3-е л. мн. ч. наст. вр. *pdrwbynd*, прич. прош. вр. *pdrwft*) – то же, см. [Ch. EDIV, 315].

Сравнения и этимологии см. в [Аб. Осет. *ilivd*, 9–14]; этимологии В.И. Абаева приняты в [Мh. EWA-17, 483–484]. См. также [Ch. EDIV, 315].

20. **laupi-*, **laupāśa-* (и более новые **raupa-*, **raupi-*, **raupāśa-*), реже **urp-* – обозначения мелкого хищника: варианты **laupi-*, **laupāśa-* 'лиса' – из арийск. **laupi-*, **laupāśa-*, ср. др.-инд. *lopāśa-* м. р. 'лиса, шакал'; вариант **urp-* '(дикий) кот', – предположительно, из арийск. **ulp-*. Все варианты продолжают производные имена от и.-е. **ulp-*, **lup-* – обозначения хищных зверей, в основном собаководных (лиса, шакал, волк), но в отдельных случаях и диких кошек⁹. В результате табуирования уже в индоевропейском отмечаются разные варианты производных основ – с метатезами, различием огласовок, с разнымиращениями¹⁰. Арийский вариант: **laupi-* – из и.-е. **laup-* : *lup-* + *-i(?)*, вариант **laupāśa-* – из и.-е. **loupēko-*, вариант **ulp-* – из и.-е. **ulp-*. Ср. арм. *aluēs* 'лиса', греч. *ἄλωπηξ* 'лиса', лат. *volpēs* 'лиса', *lupus* 'волк', лит. *lāpė* 'лиса', *vilpišys* 'дикий кот'; лтш. *lapsa*; праслав. **lisa* (и производные **lisъ*, **lisica* и др.), русск. *лиса*, *лисица* [Рок. IEW, 1179; Аб. ИЭСОЯ II, 433–434; Fr. LEW I, 340; ЭССЯ-15, 137–139; Гамкр., Ив. ИЕ II, 513; Мh. KEWA III, 115–116; Мh. EWA-17, 482–483].

Из первой группы имен (**laupi-*, **laupāśa-*) в большинстве иранских языков отразились более поздние варианты с анлаутным **r-*, однако в отдельных регионах сохраняются архаичные варианты с **l-*. Вариант **urp-* отмечен в единичных случаях, см. ниже; надежные рефлексy варианты и.-е. **ulpēko-* в иранских языках не прослежены (об одном предположительном см. ниже).

**laupi-* : *lupi-*, **raupi-* : *rupi-* > ав. п. *raopi-* м. р. (< **raupi-*) – название животного, похожего на собаку [Barth. AiW, 1496], предположительно 'лиса, шакал'(?), ав. п. *urupi-* м. р. (< **rupi-*) – название хищника с собачьим обликом, острыми зубами, отмечено также в сочетании с *spā-* (ав. *spā-* – от основы ав. п. *span-* < **suan-* 'собака') [Barth. AiW, 1532]; ав. п.

⁹ Согласно [Гамкр., Ив. ИЕ II, 513], вариант **ulpēko-* трактуется как **ul-o-p^(h)ek^(h)-(ā)* 'губитель скота (или питающийся павшим скотом)', но возможна и трактовка его как мелкого коварного хищника, что относится не только к лисе и шакалу, но и к дикой кошке, см. лит. *vilpišys* 'дикий кот' [Fr. LEW I, 340; Fr. LEW II, 1254; ЭССЯ-15, 139]. Это подтверждается и иранским материалом, см. также [Рок. IEW, 1179; Эд. СГВЯ-Л, 51; Schwartz 2008, 283].

¹⁰ В качестве примера нарочитых фонетических изменений такого рода при табуировании ср. названия змей в памирских языках [ЭСИЯ 2, 491].

²*urupi*- м. р. – имя собственное второго иранского царя, старшего брата Йимы [Barth. AiW, там же], букв. ‘лиса, шакал’;

тат. южн. *ruvi*, кумз. *rayū* ‘лиса’; курд. курм. *rūvī*, *rōvī*, *rīvī*, курд. сор. *rēwī* ‘лиса’, перен. ‘хитрец’ < **rupi*- / *lupi*- [Цаб. ЭСКЯ II, 223–224]; сюда же заза *lu* м. р. ‘лиса’ < праиран. **lupi*- [Schwartz 2008, 283].

**laupāśa*-, **raupāśa*- > др.-перс. **raupāśa*- и. с. муж. (из эламского источника), букв. ‘лиса’ [Hinz NÜ, 203], там же литература; ср.-перс. *rōbāh* {*lwp*’*h*} ‘лиса’ [MacK. CPD, 72]; кл. перс. *rōbāh*, дари *rūbāh*, тадж. *rūboh*, совр. перс. *rubāh* ‘лиса’ [Раст. карт.]; парф. *rōbās* {*rwb*’*s*} ‘лиса’ [Boyce WL, 79]; бел. *rōpāsk*, *rōbā(h)*, *rōbā(h)* ‘лиса’, где первый вариант – из **raupāśa*- с вторичным суф. **-ka*, два последних заимствованы из диалектного персидского, ср. [Geiger Et. Bal., 144; Morg. Bal. Etym., 49 = Morg. Ir.-Dard., 160; Elf. Bal. 124, 127]; гур. *rūās*, *rūwās*, авр. *ruwās*, тал. *rəvos*, лур. *rovā*, сив. *rūbā*, вон., кохр. *rubō*, санг. *rebā*, *rūbā*, шам. *rūbo*, седеи, гази *rūbo*, ласг. *robā*, гил. *rūbā*, *rubā*; семн. *robbā* ‘лиса’, но семн. *rūā* ‘кошка’, сурх. *rubā*, *rūbā* ‘лиса’ [Цаб. ЭСКЯ II, 223–224], Однако ср. гил. *lavās*, данестани (диалект южного тати) *luwās* ‘лиса’ из варианта **laupāśa*- с сохранением **l*- [Schwartz 2008, 283]; орм. кан. *rawas* ‘лиса’ – исконное и *rōbā* – заимствованное из перс. [Morg. IFL I, 405; Morg. Ir.-Dard., 138], пар. *rūyasō*’*k* ‘лиса’ с вторичным суф. **-ka* [Morg. IFL I, 284], точнее *ruyasōk*, *r’uyasōk* [Ефимов Яз. пар., 233] (с -*γ*- из более раннего **-γ^w*- < **-w*-).

Согд. будд., ман. *rwps* [*rōpas*] ‘лиса’ < **raupāśa*-, ср. [Gersh. GMS, 16, § 121; Ливш., Хр. Согд. ОИЯ, 376]; ягн. *ruba* (из таджикского) и *rūpas* (исконное) [Хр. ЯЯ ОИЯ, 654]; осет. *rūvas* / *robās* ‘лиса’ [Аб. ИЭСОЯ II, 433–434]; хор. *rwbs* [*rūbas*] ‘лиса’ [Henn. Khwar. Lg., 435]; мдж. *rūsa*, *rāwsa* ‘лиса’ [Гр. Мундж., 349], йд. *rūso*, *ruso*, *rəusä* (и др. варианты по диалектам) ‘лиса’ [Morg. IFL II, 244] (< **raupāśā*-). Хс. *rrūvāsa*- ‘шакал’ [Bailey DKS, 367].

В севернопамирских языках фонетическое развитие может истолковываться двояко. В языках шугнано-рушанской группы: шугн. *rūrc* (и вторичное *rūrcak*) 1) ‘лиса, лисица’; 2) ‘хитрец’, руш., хуф. *rūrc*, *rūrcak* ‘лиса’, барт. *rūrc*, рош. *rūrcak*, *rərcak* [Зар. ОТС, 54], сар. *rarc*, *rarcik* ‘лиса, лисица’ – исход основы *-rc* может свидетельствовать о праформе как **raurači*- (с закономерным переходом **-č* > *-c*), так и **raupāśa*-, с *-c* < **-s*- < **-ś*- в относительно поздней группе **-ps*-, образовавшейся после выпадения **-a*- (о рефлексах **raurači*- см. также ниже). Язг. *rərc*, *rəbc* ‘лиса’ – либо из **raupāśa*- с *-c* < **s* < **ś* после выпадения **-a*-, как в шугнано-рушанской группе, либо заимствовано из шугнано-рушанского источника, см. также [Morg. EVSh, 68; Эд. СГВЯ-Ф, 184].

**raura-ka*-, **raura-ča*-: надежных рефлексов относительно древней формы с тематизацией и с суф. **-ka*- в иранских языках не прослеживается (зафиксировано только в соседнем дардском языке дамели *rōrak*, ср. др.-инд. *lopāka*-, наряду с *lopāśā*-, см. [Mh. KEWA III, 115]), однако отмечается парное к ней образование с суф. **-či*-, свойственное в основном именам жен. рода (см. [Morg. Ir.-Dard., 102 и сл.]): ст.-вандж. (Андр.) *rupč*, бадахшанский говор тадж. языка *rubiz* < **raura-či*- (несмотря на возражения в [Morg. EVSh, 68]).

Отличные от других языков Памира рефлексы ишк. *urvesók* ‘лиса’ (с поздним суффиксом), сгл. *vərvēs*, *wərwēs*, зеб. *ərvēs* ‘лиса’ могут продолжаться как **rūvēs* < **raupāśia*- [Morg. IFL II, 224, 417] с характерными для этих языков фонетическими явлениями «эпентезы» и протезы (см., например, ишк. *wūdūγ(d)* ‘дочь’ < **dugdar*- и т. д., см. [ЭСИЯ 2, 477]), так и маловероятную, но возможную праформу **urpāśa*- < и.-е. **urpeko*-.

**urp*- (из и.-е. **urp*-) отражено в рефлексах производного имени **urpa-ka* -: ср.-перс. *gurpak*, кл. перс., тадж. *gurba* ‘кот, кошка’, совр. перс. *gorbe* ‘кот, кошка’ (ср. лит. *vilpišys* ‘дикий кот’ от варианта корня **urp*-) [Рок. IEW, 1179; Эд. СГВЯ-Л, 51; Schwartz 2008, 283].

В отдельных языках исконное название лисы вытеснено табуизмами, включая заимствованные (например, вах. *nəxčir*, *nəxčir* – из таджикского [Ст.-К. ЭСВЯ, 251], пшт. *gidār* м. р., *gidāra* ж. р. – из индоарийских [Morg. NEVP, 27]).

Неясные и спорные случаи

Ав. п. *raoža-* м. р. – название хищника ‘лиса’ или ‘шакал’ Х. Бартоломе сравнивает с йд. *ruzo* ‘лиса’ [Barth. AiW, 1496], однако более новыми записями такая форма в йидга не подтверждается, см. выше. Фонетически допустимо возведение ав. *raoža-* к прототипу **raubh-so-*, однако аналогии не прослеживаются.

Глагол ав. г. *urūpaуа-*, который мог бы быть привязан к обозначению лисы = хитреца, Х. Бартоломе трактует приблизительно как ‘хитрить, обманывать, имитировать’, през. осн. 31. *urūpaуа-* в форме *urūpaуеintī* предположительно ‘они обманывают’ (sie betrügen), от **urūpa-* ср. р. ‘Scheinbild’, при сравнении с др.-инд. *rūpá-* ср. р. ‘внешний вид, форма, цвет’, *rūpaуati* ‘имитировать’ [Barth. AiW, 1532]. Однако в более новых исследованиях эта этимология опровергается, см. [Kel. Liste, 60; Mh. KEWA III, 68, 70; Mh. EWA-16, 455–456], там же литература.

Сравнения и этимологии см. также в [Mh. EWA-17, 482–483; Mh. KEWA III, 116; Аб. ИЭСОЯ II, 433–434; Morg. IIFL II, 244; Morg. EVSh, 68; Bailey DKS, 367; Цаб. ЭСКЯ II, 224]. Фонологическая реинтерпретация индоевропейского прототипа разных вариантов основ в [Mh. EWA-17, 483].

21. **lā(i)-* : II- ‘прятаться, укрываться, находить прибежище’ – из арийск. **lā(i)* : *lī-*, ср. др.-инд. корень *lay-* : *lī-* ‘прикрепляться, примыкать, приставать; прятать(-ся), пригибаться’ (например, *lināti* ‘пригибаться, прятаться; примыкать к чему-л.’ и производные: *nī-līna-* ‘спрятанный, прикрепленный к чему-л.’, *nī-lāуana-* ‘убежище, прибежище; укрытие; приют’ и др. [Mh. KEWA III, 102–103]). Возводится к одному из индоевропейских корней **lei-* с широким кругом значений – см. **³lei-*, пункт 1 в [Pok. IEW, 662]; ср. трактовку раннего значения в индоевропейском ‘aufhören, schwinden’ и т. п. в [Mh. EWA-16, 474–475].

Сюда могут относиться имена: кл. перс. *lāna* ‘гнездо, логовище, нора, берлога’, совр. перс. *lāne* – то же; тадж. *lona* ‘гнездо, логовище, нора, берлога’; курд. курм. *hēlīn, hēlīng, ēlīn* ‘гнездо, берлога’, курд. сор. *hēlāna, lān, lāna* ‘гнездо, берлога; логово, нора’ и примыкающие к ним семантически и фонетически тал. *lon* ‘курятник’, *lonā* ‘гнездо, нора’ (из перс.?), заза *lāna* ‘дыра, нора, пещера’, гур. *lāna* ‘гнездо, курятник’, сурх. *low* ‘пещера; хлев, овчарня’, *lue* ‘дыра’, ласг. *lō* ‘пещера’; семн. *low* ‘дыра’, санг. *lō* ‘дыра’, лур. *lona* ‘логово, гнездо’ [Цаб. ЭСКЯ I, 435].

Производные слова

Курд. курм. ¹*mōzalān* ‘пчелиный рой’ (из *mōz* ‘пчела’ и *lān* ‘гнездо’?) и ²*mōzalān* ‘место отдыха крупного рогатого скота’ (из *mōz* ‘теленки, бычок’ и *lān* в значении ‘пещера’) [Цаб. ЭСКЯ I, 682]; курд. курм. *tōlān* ‘конура (собачья)’ – сложение из *tōla* ‘щенки’ и *lān, lāna* ‘гнездо, логово’ [Цаб. ЭСКЯ II, 356].

Фонологическая реинтерпретация индоевропейского прототипа в [Mh. EWA-16, 474–475; LIV, 406].

22. **lā(i)-* ‘пускать, отпускать; позволять; оставлять’ – из и.-е. **le(i)-* ‘позволять, пускать’, ср. лит. *lėidziu, lėisti* ‘пускать’, диал. *lai* ‘пусть, пускай’, праслав. **lětь*, ст.-слав. *лětь* ‘можно, позволено (licet)’ [ЭССЯ-15, 18–19, 159] при совпадении с рефлексом и.-е. **lē(i)-* ‘оставлять’, см. [Pok. IEW, 666].

Основа прослеживается спорадически, главным образом в восточноиранском ареале (притом в языках, принадлежащих к генетическим западной и восточной группам), в составе сложноименных или деноминативных глаголов. Во многих языках региона выступает в сочетании с глаголами, продолжающими **kar-* ‘делать’.

В отдельных языках шугнано-рушанской группы произошло сращение элемента *lā-* с анлаутным *k-* глагола: шугн. *lā-kin-* : *lā-čūd* и далее – шугн. *lāk-, lā-* – недостаточный глагол 1) ‘отпускать, освобождать, оставлять в покое’; 2) ‘оставлять, бросать, покидать’; 3) ‘класть,

ставить; оставлять'; 4) 'разрешать, допускать' и т. д., сохраняющий в формах 1-го и 2-го л. ед. ч. наст. вр. элемент *-k-* (1-е л. ед. ч. *lākum*, 2-е л. ед. ч. *lāki* и т. п.); в 3-м лице сохраняется полная форма: ед. ч. *lā-kixt*. То же в рош. *lāk-* 'оставлять'; руш., хуф. *lā-kin-* (и сокр. *lāk-*): *lā-čūg* 1) 'класть, оставлять'; 2) 'допускать, позволять, отпускать', барт. *lā-kin-* (и сокр. *lāk-*): *lā-čūg* – то же; сар. *la-ka(n)-*: *la-čewg* 'оставлять, отпускать, разрешать'; язг. *lāy kən-*: *lāy kēg* 'пустить, отпустить; оставить в покое'; ишк. *la-kən-*: *la-kūl/l* 'оставлять, отпускать', сгл. *la-ken-* [Morg. IIFL II, 400]. Застывшие формы таких глаголов употребляются как частицы или наречия: шугн.-руш. гр. *lāk* 'пусть; пускай себе!'; сар. *laka(n)* 'пусть'; язг. *lān* 'пусть; ну и пусть!'; ишк. *lak* 'пусть, пускай'.

Аналогичны построения мдж. *lā-kən-*: *lā-kər-* 'оставлять; покидать' (и стяженное *lak-*), йд. *la-ken-* 'выпускать на свободу, оставлять, класть' [Morg. IIFL II, 223; Гр. Мундж., 318]. Такие же построения в ваханском: *ləc(ə)r-*: *ləkərt*, нижн. *rəc(ə)r-*: *rəkərt* 'оставлять, отпускать, разрешать, позволять', перф. *ləkárk*, нижн. *rəkárk* (ср. вах. *car-*: *kərt* 'делать') – рассматриваются в [Ст.-К. ЭСВЯ, 228] как сочетания глагола 'делать' с превербом, общим для многих языков региона. Однако материал других языков показывает, что трактовка начальных компонентов с *l-* как превербов едва ли правомерна. К этим образованиям примыкает также пар. *lam* в сочет. *lam dah-* 1) 'оставлять, отпускать, выпускать'; 2) 'позволять, допускать, разрешать' [Ефимов Яз. пар., 211].

Неясно, относятся ли сюда пшт. *ila kawəl* 'выпускать', бел. *ila kan-* 'освобождать' [Elf. Val., 47] или здесь первый элемент заимствован [Ст.-К. ЭСВЯ, 228]. Неясна этимология сходного с предыдущими глагола бел. *ilag* или *liag*, сев. *ilay* 'оставлять, допускать; позволять' (сравнение с скр. *slj-*, ав. *harez-* [Geiger. Et. Val., 129] некорректно).

Семантическая составляющая 'класть' в отдельных языках может быть поддержана ассоциацией с названием 'кучи', ср. шугн. *lay* 'куча, сложенное в кучу', сар. *leu, lay* 'куча'. См. также аналогичные сочетания *lay* 'куча, сложенное в кучу' с другим глаголом: руш., хуф., барт. *lay dēdōw* 'складывать, укладывать', сар. *leu dod(ew)* 'сваливать в кучу; складывать стопкой'.

Материал и обсуждение этимологий см. в [Ст.-К. ЭСВЯ, 228]. Фонологическая реинтерпретация варианта и.-е. **lē(i)-* в виде **leh₁-* в [LIV, 399].

23. **²lā(i)-* 'скользящий, гладкий; скользить; поскользнуться' (с разными древними распространителями и суффиксами) – звуко-символический корень, который может продолжать разные индоевропейские варианты сходного звучания и значения типа и.-е. **lei-* 'слизистый, липкий', с различными наращенными, например и.-е. **(s)le(i)-* 'гладкий, скользить'; **(s)leib-*, **(s)leidh-*, **sleub(h)-*, **(s)leuĝ-*, **(s)leuk-* и т. п. в значениях 'скользящий, гладкий; скользить', ср. ср.-верх.-нем. *sliten*, нем. *schleifen* 'скользить', лит. *slysti* 'скользить', ст.-слав. **slizьkь*, русск. *слизкий* 'скользящий', см. [Рок. IEW, 662 и сл., 960, 963–964 и др.; Фасмер III, 671–672, с дополнениями О.Н. Трубачева]. Данный звуко-символический корень допускает перебои в фонетических соответствиях.

В иранских языках распространены основы с рефлексами праиранской огласовки **-a-* (< и.-е. **-e-*, **-a-*, **-o-*), реже – с праиран. **-ai-*: *-i-*. Наиболее часты основы с наращенными **-k-*, **-g-* (из и.-е. вариантов **(s)leg-*, **(s)lek-* и с дальнейшим распространителем **-s*): праиранские основы **lakš-*, **lagz/ž-* 'скользить, быть ровным, гладким' с отражением первой в виде **lakš-* > *laxš-* (по В.И. Абаеву, в виде **(h)laxš-* из и.-е. **(s)leg-sk-* [Аб. ИЭСОЯ II, 26], однако точнее – из **(s)leg-s-*, поскольку **-sk-* имело бы другой рефлекс исхода основы), ср. др.-инд. *ślakṣṇa-* < **slakṣṇa-* 'скользящий, гладкий; мягкий, нежный' [Mh. KEWA III, 396].

С огласовкой **-a-*:

кл. перс. *layz* 'скольжение', *layzān* 'скользящий', *layzīdan* 'скользить', *layziš* 'скольжение' – возможно, исход на звонкие – под влиянием восточноиранских языков, при исконном кл. перс. *lašn* 'гладкий, ровный' < **laxšna-* < **lakšna-* (или, по [Аб. ИЭСОЯ II, 26], из

**(h)laxšna-* от основы **(h)laxš-*, ср. др.-инд. *ślakṣṇa-* < **slakṣṇa-*); кл. перс. *laxšīdan* 'скользить'. Ср. тадж. *layžidan* 'скользить; поскользнуться'; *layžonak* 'скользкий' – из восточно-иранского источника, возможно, из согдийского [Аб. ИЭСОЯ II, 26]; Г. Моргенштерне возводит данные персидские и таджикские основы к др.-иран. **(h)layž-*, **(h)laxš-* < и.-е. **(s)legh-s(k)-* [Morg. IFL I, 269]. Курд. *laxše-* : *laxšān* 'скользить; касаться, задевать' – собственное построение на базе заимствованной из персидского основы *laxš-* [Цаб. ЭСКЯ I, 582]; бел. *lugušag, lagušag, layušaγ* 'скользить, поскользнуться', то же в многочисленных производных [Geiger Et. Bal., 134]; пар. *l'asór-* : *l'asorí-* 'скользить, поскользнуться' (например, *pā-m l'asorí* 'я поскользнулся' букв. 'мне нога поскользнулась') [Ефимов Яз. пар., 212]; см. также пар. *lhanō* 'скользкий' [Morg. IFL I, 269], точнее *l'ánō* 'стершийся, скользящий (о мельничном жернове)' [Ефимов Яз. пар., 212], соответствующее перс. *lašn* 'скользкий, гладкий' < *(h)laxšna-* [Morg. IFL I, 269]; ср., однако, пар. *laxš-* 'скользить, поскользнуться', заимствованное из персидского [Morg. IFL I, 270].

Пшт. *layzedal* 'поскользнуться' (заимствовано?); йд. *laxsəra, laxsīra* (наряду с мдж. *yaxsəriy*) 'лед', предположительно от *laxs-* 'скользить'?, см. [Morg. IFL II, 255; Гр. Мундж., 388; Ст.-К. ЭСВЯ, 438]; сгл. *laxč-* : *bəlaxš-* 'скользить' – на базе заимствованной основы (ср. кл. перс. *laxšīdan* 'скользить, поскользнуться' [Morg. IFL II, 401]); ишк. *š(ь)lávz, вах. šlavz* 'скользкий' (при контаминации с звуко-символическим **šlap-*), см. примеры и сопоставления в [Ст.-К. ЭСВЯ, 331].

С огласовками **-ai-* : *-i-* и колебаниями огласовок **-a-* и **-ai-* : *-i-*:

осет. *læyz / ligz* 1) 'гладкий, ровный; равнина'; 2) 'ласковый, вкрадчивый (о речи)' [Аб. ИЭСОЯ II, 25–26] – с колебаниями в огласовках **-a-* ~ **-ai-* : *-i-*, поскольку при прототипе **laxš-* в осетинском было бы **læxs*; о вариантах рефлексов в разных иранских языках см. [Аб. ИЭСОЯ II, 25–26, особенно сноска на с. 26]. К праформе **hlaxšna-* 'нежный, вкрадчивый', соответствующей др.-инд. *ślakṣṇa-* < **slakṣṇa-*, В.И. Абаев относит осет. *læxstæ / lixstæ* 'мольба' – форму мн. числа (см. в сочет. *læxstæ kænyn* 'обращаться с мольбой, умолять, упрашивать'), т. е. '(говорить) нежные, вкрадчивые (слова)' [Аб. ИЭСОЯ II, 39–40].

Огласовки **-ai-* : *-i-* отмечены также в кл. перс. *lēzīdan* 'скользить', ягн. *līxna, lexna* 1) 'ровный, сглаженный, гладкий'; 2) перен. 'красивый' (в сочет. *lexnai karak* 'украшать, делать красивым (о макияже)'), *lexonak* 'ровный, гладкий, скользкий' [ЯТ, 282]. К формам с огласовками **-ai-* : *-i-* относится также сгл. *belišmān-* : *belišmānd-* – каузатив 'заставить скользить' – из перс. **lišmāndan*, ср. *lišn, laš(i)n* [Morg. IFL II, 385, 401].

Спорадически наблюдаются также варианты с наращением губного **-b* и с комбинацией губных и велярных: например, вах. *liv-* : *livd* 'скользить', по мнению Г. Моргенштерне, из **(s)leib-* [Morg. IFL II, 528], по [Ст.-К. ЭСВЯ, 225], связано с вах. *lak-, laxs-* как «дефектное» слово. Ср. язг. *rax°-* : *rax°t* (3-е л. ед. ч. наст. вр. *rax°t*, прич. прош. вр. *rax°tá(g)*) 'проскальзывать, крутиться вхолостую (о мельнице, мельничном жернове)'.

Неясно, относится ли сюда ср.-перс. *laʃan* {*lčn*} 'скользящая жидкая грязь' [MacK. CPD, 52] (и н.-перс. *laʃan* – то же), если оно восходит к **la-* + ранний суф. **-či-* + вторичный суф. **-na* ?.

Сравнения и этимологии см. также в [Geiger Et. Bal., 134; Аб. ИЭСОЯ II, 25–26, особенно сноска на с. 26; Цаб. ЭСКЯ I, 582].

Вывод

Рассмотренный материал показывает, что в фонологической системе праиранского языка существовала фонема **l*, представленная еще в праязыковой период звукотипом [l] с неустойчивой артикуляцией, что способствовало развитию ранних диалектных вариантов с [l], [l/r] и [r]. В более поздние периоды эта неустойчивость, усугубленная ареальными артикуляционными «предпочтениями», вызвала отражение фонемы **l* в виде не только

l, но и артикуляционно близких переднеязычных r и реже – δ, а в единичных случаях «специфической бемольности» *l [Степанов, Эдельман 1976: 229, 264–266] – при утрате переднеязычного фокуса – и в виде γ, как в армянском языке. При этом переход и.-е. *r в δ-, γ- для иранских языков нехарактерен.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ав.	–	авестийский
ав. г.	–	авестийский – диалект Гат
ав. п.	–	авестийский поздний
авр.	–	авромани
англ.	–	английский
араб.	–	арабский
арийск.	–	общеарийский
арм.	–	армянский
бад.	–	бадахшанский (группа говоров таджикского языка)
барв.	–	барвазский (барвозский) (диалект шугнанского языка)
барт.	–	бартангский
бдж.	–	баджувский (диалект шугнанского языка)
бел.	–	белуджский
будд.	–	буддийские тексты на согдийском языке
буруш.	–	бурушаски (изолированный неиндоевропейский язык в отрогах Каракорума)
ваз.	–	вазири (диалект пашто)
вандж.	–	ванджский (группа говоров таджикского языка)
вах.	–	ваханский
ведич.	–	ведическое наречие древнеиндийского языка
верхн.	–	верхний
вон.	–	вонишуні (один из диалектов Центрального Ирана)
гил.	–	гилянский
гор.	–	горонский (говор таджикского языка)
гот.	–	готский
греч.	–	древнегреческий
гур.	–	гурани
дарв.	–	дарвазский (группа говоров таджикского языка)
дат.	–	датский
диал.	–	диалект(-ный)
диг.	–	дигорский (диалект осетинского языка)
др.-верх.-нем.	–	древне-верхне-немецкий
др.-инд.	–	древнеиндийский
др.-иран.	–	древнеиранский
др.-ирл.	–	древнеирландский
др.-перс.	–	древнеперсидский
др.-прус.	–	древнепруссский
зеб.	–	зебаки, зебакский (диалект, родственные ишкашимскому и сангличскому)
и.-е.	–	индоевропейский
ирон.	–	иронский (диалект осетинского языка)
ишк.	–	ишкашимский
йд.	–	йидга
кан.	–	диалект Канигурама языка ормури
кар.	–	каратегинский (группа говоров таджикского языка)
кафр.	–	кафроні (один из диалектов Центрального Ирана)
кл. перс.	–	классический персидский
кн.	–	книжный
кохр.	–	кохруді (один из диалектов Центрального Ирана)

кумз.	–	кумзари́ (язык // диалект юго-западной группы)
курд.	–	курдский
курм.	–	курманджи (диалект курдского языка)
лар.	–	ларская группа диалектов
ласг.	–	ласгерди́ (язык // диалект полосы Семнана)
лат.	–	латинский
лит.	–	литовский
лтш.	–	латышский
лур.	–	лурский (один из группы лурских диалектов)
ман.	–	манихейские тексты (на среднеперсидском, парфянском и согдийском)
мдж.	–	мунджанский
нем.	–	немецкий
нижн.	–	нижний
н.-верх.-нем.	–	ново-верхне-немецкий
норв.	–	норвежский
н.-перс.	–	новоперсидский
орм.	–	ормури
осет.	–	осетинский
пар.	–	парачи́
парф.	–	парфянский
перс.	–	персидский
праиран.	–	праиранский
праслав.	–	праславянский
пшт.	–	пашто, пушту
рош.	–	рошорвский (орошорский)
русск.	–	русский
руш.	–	рушанский
санг.	–	сангесари́ (язык // диалект северо-западной группы)
сар.	–	сарыкольский
сгл.	–	сангличский, санглечи́
семн.	–	семнанский
сив.	–	сивенди́ (язык // диалект северо-западной группы)
скр.	–	санскрит
совр. перс.	–	современный персидский
согд.	–	согдийский
будд.	–	буддийские тексты
ман.	–	манихейские тексты
сор.	–	сорани́ (диалект курдского языка)
ср.-верх.-нем.	–	средне-верхне-немецкий
ср.-перс.	–	среднеперсидский
ст.-вандж.	–	старованджский
ст.-слав.	–	старославянский
сурх.	–	сурхеи́ (язык // диалект полосы Семнана)
тадж.	–	таджикский
тал.	–	талышский
тат.	–	татский, татский-мусульманский, язык татов Азербайджана
тат.-евр.	–	татско-еврейский, язык горских евреев
тох.	–	тохарский (А и В)
узб.	–	узбекский
укр.	–	украинский
хет.	–	хеттский
хор.	–	хорезмийский
хс.	–	хотаносакский
хуф.	–	хуфский
церк.-слав.	–	церковнославянский

шам.	–	шамерзади́ (диалект мазандеранского языка)
шугн.	–	шугнанский
шугн.-руш. гр.	–	шугнано-рушанская языковая группа
ягн.	–	ягнобский
язг.	–	язгулямский

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ЭТИМОЛОГИЯМ

- Аб. Избр. = Абаев 1995.
- Аб. ИЭСОЯ – В.И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; Л., 1958; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979; Т. IV. Л., 1989; Указатель (Ук.). М., 1995.
- Аб. Ск.-европ. изогл. = Абаев 1965.
- Гамкр., Ив. ИЕ – Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. I–II. Тбилиси, 1984.
- Гаффаров – М.А. Гаффаров. Персидско-русский словарь. Т. I–II. 2-е изд. М., 1974.
- Гр. Мундж. – А.Л. Грюнберг. Языки Восточного Гиндукуша. Мунджанский язык. Л., 1972.
- Гр. МЯ ОИЯ – А.Л. Грюнберг. Мунджанский язык // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. Восточная группа. М., 1987.
- Ефимов Пар. ОИЯ – В.А. Ефимов. Парачи // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. Северо-западная группа. II. М., 1997.
- Ефимов Яз. орм. – В.А. Ефимов. Язык ормури в синхронном и историческом освещении. М., 1986.
- Ефимов Яз. пар. – В.А. Ефимов. Язык парачи. М., 2009.
- Жук. I, II, III – В.А. Жуковский. Материалы для изучения персидских наречий. Ч. I. СПб., 1888; Ч. II. Вып. 1–2. Петроград, 1922; Ч. III. Петроград, 1922.
- Зар. ОТС – И.И. Зарубин. Орошорские тексты и словарь // Памирская экспедиция 1928 г. Труды экспедиции. Вып. VI. Лингвистика. Л., 1930.
- Ливш., Хр. Согд. ОИЯ – В.А. Лившиц, А.Л. Хромов. Согдийский язык // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981.
- Мирз. ЛЯТ – С. Мирзозода. Луғати яғнобӣ-тоҷикӣ. Душанбе, 2002.
- Молч. Лар. ОИЯ = Молчанова 1982.
- Молч. Сив. – Е.К. Молчанова. Сивенди в синхронном и историческом освещении. М., 2003.
- ОИЯ – Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979. Среднеиранские языки. М., 1981. Новоиранские языки. Западная группа, прикаспийские языки. М., 1982. Новоиранские языки. Восточная группа. М., 1987. Новоиранские языки. Северо-западная группа. I. М., 1991. Новоиранские языки. Северо-западная группа. II. М., 1997. Среднеиранские и новоиранские языки. М., 2008.
- Оранский ИЯИО = Оранский 1979.
- Пир. Тал. ОИЯ = Пирейко 1991.
- Пир. ТРС – Л.А. Пирейко. Талышско-русский словарь. М., 1976.
- Раст. карт. – сводные карточки этимологий западноиранских слов, составленные В.С. Расторгуевой.
- Раст. СИГЗЯ-Ф = Расторгуева 1990.
- Раст., Молч. Парф. ОИЯ = Расторгуева, Молчанова 1981.
- Ст.-К. ИФВЯ – И.М. Стеблин-Каменский. Историческая фонетика ваханского языка: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1971.
- Ст.-К. ЭСВЯ = Стеблин-Каменский 1999.
- Ст.-К. Lang – И.М. Стеблин-Каменский. Lang 'хромой' // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. VIII годичная сессия ЛО ИВАН. М., 1972.
- Топ. ИЭС 2–1 – В.Н. Топоров. Исследования по этимологии и семантике. Т. 2. Индоевропейские языки и индоевропеистика. Кн. I. М., 2006.
- Фарханг – Фарханги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX). Ч. I–II. М., 1969.
- Фасмер – М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1964–1973.
- Хр. Ягн. яз. – А.Л. Хромов. Ягнобский язык. М., 1972.

- Хр. ЯЯ ОИЯ – А.Л. Хромов. Ягнобский язык // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. Восточная группа. М., 1987.
- Цаб. ЭСКЯ – Р.Л. Цаболов. Этимологический словарь курдского языка. Т. I (А–М). М., 2001; Т. II (N–Ž). М., 2010.
- Эд. СГВЯ-Л = Эдельман 2009.
- Эд. СГВЯ-Ф = Эдельман 1986.
- Эд. 2006 = Эдельман 2006.
- ЭСИЯ – В.С. Расторгуева, Д.И. Эдельман. Этимологический словарь иранских языков. Т. 1. М., 2000; Т. 2. М., 2003; Т. 3. М., 2007; Т. 4. М., 2011.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1–31. М., 1974–2003; Вып. 32. М., 2005; Вып. 33–38. М., 2007–2012.
- ЯТ – М.С. Андреев, Е.М. Пещерева. Ягнобские тексты. С приложением ягнобско-русского словаря, составленного М.С. Андреевым, В.А. Лившицем, А.К. Писарчик. М.; Л., 1957.
- Bailey DKS – H.W. Bailey. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge; London; New York; Melbourne, 1979.
- Barth. AiW = Bartholomae 1904.
- Barth. Vorgeschichte = Bartholomae 1895–1901.
- Benz. Chwar. Wort. – J. Benzing. Chwaresmischer Wortindex (mit einer Einleitung von H. Humbach). Wiesbaden, 1983.
- Biel. Oss. – R. Bielmeier. Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz. Frankfurt am Main, 1977.
- Boyce WL – M. Boyce. A Word-list of Manichaean Persian and Parthian. Téhéran; Liège, 1977.
- Ch. EDIV – J. Cheung. Etymological dictionary of the Iranian verb. Leiden; Boston, 2007.
- Ed. Hist. Cons. – D.I. Edelman. History of the consonant systems of the North-Pamir languages // Indo-Iranian journal. 1980. Vol. 22. Pt. 4.
- Elf. Bal. – J. Elfenbein. An anthology of classical and modern Balochi literature. V. II. Glossary. Wiesbaden, 1990.
- Emm. SGS – R.E. Emmerick. Saka grammatical studies. London, 1968.
- Emm., Skj. – R.E. Emmerick, P.O. Skjærvø. Studies in the vocabulary of Khotanese. Wien, I – 1982; II – 1987.
- Fr. LEW – E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd I–II. Heidelberg; Göttingen, 1962–1965.
- Geiger Et. Bal. – W. Geiger. Etymologie des Balūčī // Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München. 1891. Bd 19. Abt. 1.
- Gersh. GMS – I. Gershevitch. A Grammar of Manichean Sogdian. Oxford, 1954.
- Gersh. Hymn – I. Gershevitch. The Avestan hymn to Mithra. Oxford, 1959.
- Hasandust EDP – M. Hasandust. An etymological dictionary of Persian language. V. 1. Tehran, 2004.
- Henn. BBB – W.B. Henning. Ein manichäisches Bet- und Beichtbuch // APAW. 1936. № 10 (= Henn. SP I, 417–558).
- Henn. Khwar. Lg. – W.B. Henning. The Khwaresmian language // Zeki Velidi Togan'a Armağan. Istanbul, 1955 (= Henn. SP II, 485–500).
- Henn. SP – W.B. Henning. Selected papers. V. I–II. Téhéran; Liège, 1977.
- Henn. Verbum – W.B. Henning. Das Verbum des Mittelpersischen der Turfanfragmente // Zeitschrift für Indologie und Iranistik. 1933 (= Henn. SP I, 65–160).
- Hinz NÜ – W. Hinz. Altiranisches Sprachgut den Nebenüberlieferungen. Wiesbaden, 1975.
- Horn Gr. = Horn 1893.
- Horn NP = Horn 1898–1901.
- Hübschmann PSt. – H. Hübschmann. Persische Studien. Strassburg, 1895.
- Kel. Liste – J. Kellens. Liste du verbe avestique. Wiesbaden, 1995.
- Kel. Verbe – J. Kellens. Le verbe avestique. Wiesbaden, 1984.
- LIV – H. Rix (ed.) Lexikon der indogermanischen Verben, die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen (2. Aufl.). Wiesbaden, 2001.
- MacK. CPD – D.N. MacKenzie. A Concise Pahlavi dictionary. London, 1971.
- MacK. Khwar. Gl. – D.N. MacKenzie. The Khwarezmian glossary // Bulletin of the school of oriental and African studies. I – 1970. V. 33. Pt. 3; II – 1971. V. 34. Pt. 1; III – 1971. V. 34. Pt. 3; IV – 1971. V. 34. Pt. 4; V – 1972. V. 35. Pt. 1.

- Mh. EWA – *M. Mayrhofer*. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg, 1986–2001.
- Mh. KEWA – *M. Mayrhofer*. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1953–1975.
- Mh. Vorgeschichte = Mayrhofer 1989.
- Morg. EVP – *G. Morgenstierne*. An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927.
- Morg. EVSh – *G. Morgenstierne*. Etymological vocabulary of the Shughni group. Wiesbaden, 1974.
- Morg. IIFL – *G. Morgenstierne*. Indo-Iranian frontier languages. V. I – 1929; V. II – 1938; V. III. Pt. 1 – 1967; Pt. 2 – 1944; Pt. 3 – 1956. V. IV – 1973. Oslo.
- Morg. Ir.-1942 – *G. Morgenstierne*. Iranica // Norsk tidsskrift for Sprogvidenskap. 1942. Bd XII.
- Morg. NEVP – *G. Morgenstierne*. A new etymological vocabulary of Pashto / Compiled and edited by J. Elfenbein, D.N. MacKenzie, N. Sims-Williams. Wiesbaden, 2003.
- Nyb. MP – *H. Nyberg*. A manual of Pahlavi. Pt. 2. Glossar. Wiesbaden, 1974.
- Pok. IEW = Pokorny 1959.
- Sam. Chwar. Verb. – *M. Samadi*. Das chwaresmische Verbum. Wiesbaden, 1986.
- Shaw Ghalchah – *R.B. Shaw*. On the Ghalchah languages (Wakhi and Sarikoli) // Journal and proceedings of the Asiatic society of Bengal. Calcutta, 1876. V. 45. Pt. I. № 2.
- Tom. – *W. Tomaschek*. Centralasiatische Studien. II. Die Pamir-Dialekte. Wien, 1880.
- Turner CDIAL – *R.L. Turner*. A Comparative dictionary of the Indo-Aryan languages. Fasc. I–XI. London, 1962–1966.

К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ СТАТЬИ

- Абаев 1965 – *В.И. Абаев*. Скифо-европейские изоглоссы: На стыке Востока и Запада. М., 1965 (то же с дополнениями в кн.: Аб. Избр., II).
- Абаев 1995 – *В.И. Абаев*. Избранные труды. Т. II. Общее и сравнительное языкознание. Владикавказ, 1995.
- Барроу 1976 – *Т. Барроу*. Санскрит. М., 1976.
- Иванов 1990 – *Вяч.Вс. Иванов*. Праязык // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Касаткина 2004 – *Р.Ф. Касаткина*. Эти странные вибранты (некоторые проявления апико-альвеолярных артикуляций в русском языке) // Семиотика, лингвистика, поэтика: к столетию со дня рожд. А.А. Реформатского. М., 2004.
- Керимова 1982а – *А.А. Керимова*. Лурские и бахтиарские диалекты // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. Западная группа, прикаспийские языки. М., 1982.
- Керимова 1982б – *А.А. Керимова*. Диалекты Фарса // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. Западная группа, прикаспийские языки. М., 1982.
- Молчанова 1982 – *Е.К. Молчанова*. Ларский язык // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. Западная группа, прикаспийские языки. М., 1982.
- Оранский 1979 – *И.М. Оранский*. Иранские языки в историческом освещении. М., 1979.
- Пирейко 1991 – *Л.А. Пирейко*. Талышский язык. Диалекты тати Ирана // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. Северо-западная группа. I. М., 1991.
- Расторгуева 1990 – *В.С. Расторгуева*. Сравнительно-историческая грамматика западноиранских языков. Фонология. М., 1990.
- Расторгуева, Молчанова 1981 – *В.С. Расторгуева, Е.К. Молчанова*. Парфянский язык // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981.
- Стеблин-Каменский 1999 – *И.М. Стеблин-Каменский*. Этимологический словарь ваханского языка. СПб., 1999.
- Стеблин-Каменский М.И. 1966 – *М.И. Стеблин-Каменский*. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1966.
- Степанов, Эдельман 1976 – *Ю.С. Степанов, Д.И. Эдельман*. Семиологический принцип описания языка // Принципы описания языков мира. М., 1976.
- Эдельман 1977 – *Д.И. Эдельман*. К фонемному составу общеиранского (о фонологическом статусе *x^h) // Вопросы языкознания. 1977. № 4.
- Эдельман 1982 – *Д.И. Эдельман*. К перспективам реконструкции общеиранского состояния // Вопросы языкознания. 1982. № 1.
- Эдельман 1986 – *Д.И. Эдельман*. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986.

- Эдельман 1992 – Д.И. Эдельман. Еще раз об этапах филиации арийской языковой общности // Вопросы языкознания. 1992. № 3.
- Эдельман 1996 – Д.И. Эдельман. Свидетельства «малых» языков об истории языковой семьи (на примере «Этимологического словаря иранских языков») // Гуманитарная наука в России. Соросовские лауреаты. Филология. Литературоведение. Культурология. Лингвистика. Искусствознание. М., 1996.
- Эдельман 2006 – Д.И. Эдельман. Артикуляционная фонетика и типология историко-фонетических процессов (к ламбдаизму и ротацизму в иранских языках) // Индоиранское языкознание и типология языковых ситуаций: Сб. статей к 75летию проф. А.Л. Грюнберга (1930–1995). СПб, 2006.
- ЭСИЯ 1 – В.С. Расторгуева, Д.И. Эдельман. Этимологический словарь иранских языков. Т. 1. М., 2000.
- Bartholomae 1895–1901 – Chr. Bartholomae. Vorgeschichte der iranischen Sprachen // Grundriss der iranischen Philologie. Bd I. Abt. 1. Strassburg, 1895–1901.
- Bartholomae 1904 – Chr. Bartholomae. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904 (repr.: Berlin; New York, 1979).
- Beekes 1981 – R.S.P. Beekes. The neutral plural and the vocalization of the laryngeals in Avestan // Indo-Iranian journal. 1981. V. 23. № 4.
- Gershevitch 1969 – I. Gershevitch. Amber at Persepolis // Studia classica et orientalia Antonino Pagliaro oblata. Vol. II. Roma, 1969.
- Horn 1893 – P. Horn. Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg, 1893.
- Horn 1898–1901 – P. Horn. Neupersische Schriftsprache // Grundriss der iranischen Philologie. Bd. I. Abt. 2. Strassburg, 1898–1901.
- Mayrhofer 1989 – M. Mayrhofer. Vorgeschichte der iranischen Sprachen; Uriranisch // Compendium linguarum iranicarum. Wiesbaden, 1989.
- Morgenstierne 1973 – G. Morgenstierne. Irano-Dardica. Wiesbaden, 1973.
- Pokorny 1959 – J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959.
- Schwartz 2008 – M. Schwartz. Iranian *L, and some Persian and Zaza Etymologies // Iran and Caucasus. 2008. 12/2.

Сведения об авторе:

Джой Иосифовна Эдельман
Институт языкознания РАН
joy.edelman@gmail.com

Статья поступила в редакцию 22.01.2013.

© 2013 г. М.В. ШКАПА

КЛЕФТ В ИРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ: К ТИПОЛОГИИ КЛЕФТА И ТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ*

В данной статье мы пытаемся показать, что в ирландском языке клефт может маркировать любой тип фокуса (в понимании [Krifka 2007]), в том числе информационный фокус, что в типологической перспективе сближает ирландский клефт с клефтом некоторых нахско-дагестанских языков и противопоставляет, с одной стороны, таким языкам, как английский и французский, где клефт маркирует лишь отдельные типы фокуса, с другой стороны – бретонскому и средневаллийскому, где составляющая, вынесенная в клефт, может выполнять коммуникативную функцию не только фокуса, но и неконтрастного топика. Во второй части статьи мы подробнее рассматриваем тетическую функцию клефта и демонстрируем, что в ирландском языке тетическая клефтовая конструкция возможна в самых разных контекстах и, таким образом, тезис о том, что за определенной формой тетического предложения закреплена определенная прагматика и что клефтовая тетическая конструкция прагматически значительно ограничена [Sasse 2006], вряд ли верен.

Ключевые слова: ирландский язык, клефт, коммуникативная структура, тетическое предложение

I attempt to demonstrate that in Irish, cleft can express any type of focus (as the latter is defined in [Krifka 2007]). This puts Irish in line with some Nakh-Daghestanian languages and apart from English and French where only certain types of focus can be expressed by a cleft structure, on one hand, and Breton and Middle Welsh where the clefted constituent can be not only focal but also an aboutness topic, on the other hand. In the second part of the paper, I focus on the thetic function of cleft and show that in Irish, cleft structure does not differ from the other morphosyntactic and prosodic means of expressing theticity from the point of view of pragmatics and information structure, and thus, one can hardly assume that there is a direct correspondence between the formal way to mark theticity and the pragmatic and informational value of the sentence (contra [Sasse 2006]).

Keywords: Irish, cleft, information structure, thetic sentence

1.1. В работе рассматривается коммуникативная структура клефтовой конструкции в современном ирландском языке. Анализируемый материал взят из нескольких источников: это литературные тексты различных жанров общим объемом около 1 500 страниц (см. список источников), корпус, собранный в Конемаре (запад Ирландии, графство Голуэй) А. Виггером (RM), и данные, полученные нами в ходе работы с информантами на п-ве Дингл (юго-запад Ирландии, графство Керри) летом 2012 г.

Понятийный аппарат для анализа коммуникативной структуры мы почти полностью заимствуем из статьи [Krifka 2007]. Мы воспроизведем здесь положения и определения из данной статьи, наиболее релевантные для нашего анализа.

Фокус М. Крифка, следуя за работами, написанными в парадигме альтернативной семантики [Rooth 1985; 1992], определяет следующим образом: «Фокус указывает на

* Мы хотим поблагодарить участников SFB 632 «Informationsstruktur», А.В. Кухто, Т.А. Майсака, Т.А. Михайлову, Д.С. Николаева, Т.Е. Янко, анонимных рецензентов журнала «Вопросы языкознания», а также наших информантов с п-ва Дингл. Работа выполнена при поддержке грантов ФФЛИ № А-42-2012 (полевая работа), РГНФ № 12-34-01345 «Синтаксис нефинитной глагольной предикации».

наличие альтернатив, релевантных для интерпретации языковых выражений» [Krifka 2007: 18]¹. Так, в вопросно-ответной паре (1) для интерпретации ответа релевантно наличие множества, из которого производится выбор: {Петя, Вася, кошка}.

- (1) А: Кто выпил молоко – ты, Вася или кошка?
В: Это кошка ↘ ↘².

В примере (1) происходит выбор из заданного в контексте множества, что соответствует определению Крифки. Это случай контрастного фокуса: пропозиции «Кошка выпила молоко» противопоставлены «Вася выпил молоко» и «Петя выпил молоко». Информационный фокус (эквивалентный простой, неконтрастной, реме традиционной терминологии; см. [Янко 2001: 23–34]) также отвечает данному определению, поскольку указывает на выбор из множества возможных ответов на подразумеваемый в дискурсе вопрос (ср. с «question under discussion» у [Roberts 1996; Büring 2003]). Среди таких имплицитных вопросов могут быть, например: *Что случилось?* (*Я подошел к дому. Погасли огни*), *Что она делала?* (*В городе жила девочка. Она ходила в музыкальную школу*), *Кто там был?* (*В дверь постучали. Это был Вася*), – ответ на которые предполагает тетическое предложение (= фокус на всем предложении), фокус на глагольной группе и на именной группе соответственно.

Крифка говорит о следующих основных прагматических³ функциях фокуса: это ответ на вопрос, в том числе выбор из множества, заданного в вопросе или в контексте (как в примере (1) выше); исправление (*Петя съел яблоко. – Нет, Вася съел яблоко*), подтверждение (*Петя съел яблоко. – Да, его съел Петя*), параллелизм (*Петя живет в Москве, а его сестра в Новосибирске*) и ограничение (*Яблочное варенье она хорошо варит*) [Krifka 2007: 21–25]. Контрастный топик в данной терминологии также подходит под определение фокуса, так как подобным образом указывает на наличие множества альтернатив: *Петя не забыл купить билет? Вася так купил*. В предложении может быть более одного фокуса; так, для интерпретации последнего предложения релевантно, с одной стороны, наличие множества {Вася, Петя}, с другой стороны – множества {купил билеты, не купил билеты}.

В отличие от подхода, предложенного в [Chafe 1976], где контрастным называется фокус с выбором из закрытого множества, например: *Какой сегодня день? – Вторник*, Крифка различает фокус с выбором из закрытого множества и собственно контрастные употребления, при которых подразумевается существование в общем фонде знаний говорящего и слушающего пропозиции, находящейся в контрасте с данной, или есть возможность такую пропозицию вывести (accomodate). Так, предполагают наличие контрастирующих пропозиций употребления фокуса в прагматической функции исправления или добавления [Krifka 2007: 24]: *Вася не смог сдать старославянский. – Он и математику провалил*.

Фокус с выбором из закрытого множества не всегда является контрастным (см. пример с днями недели выше), даже если множество эксплицитно задано в контексте. Так, Крифка обращает внимание на то, что в примере (2) в ответной реплике интонация контраста отсутствует:

- (2) А: What do you want to drink, tea or coffee?
В: I want TEA.

¹ Здесь и далее перевод цитат наш.

² Здесь и далее тип акцента в русских предложениях в случаях, когда он релевантен, обозначается по системе, основанной на интонационных конструкциях Е.А. Брызгуновой и используемой в [Янко 2001].

³ Прагматические функции противопоставлены семантическим. Под семантическими функциями фокуса М. Крифка понимает случаи, когда то, какая составляющая является фокусом, влияет на истинностное значение высказывания, ср., например, [*Вася*] ТАКЖЕ увидел рыбу (верно, если кто-то еще увидел рыбу), *Вася также* [увидел [*РЫБУ*]] (верно, если Вася сделал что-то еще или увидел еще что-то) и *Вася также* [УВИДЕЛ] рыбу (верно, если Вася ее еще, например, услышал). Скобками выделены составляющие, находящиеся в сфере действия частицы «также».

Крифка говорит также об эмфатическом фокусе, выделяющем крайние (или близкие к полюсам) элементы упорядоченного множества альтернатив [Ibid.: 33–34]: *Мама Пете торт «Наполеон» ↗ ↘ испекла!* (торт «Наполеон» является более приятным для Пети объектом, чем другие элементы упорядоченного множества <торт «Наполеон», шарлотка, пирожки с капустой, ..., вареная брокколи>); *Петя ни одной задачи не решил!* (решение нуля задач занимает крайнее положение в упорядоченном множестве <решить ноль задач, одну задачу, ..., все задачи>).

1.2. Статья организована следующим образом. В п. 2 и 3, прежде чем перейти к рассмотрению коммуникативной структуры и прагматики ирландского клефта, мы скажем несколько слов о его синтаксисе и семантике соответственно. В п. 4 мы постараемся продемонстрировать, что клефт в ирландском языке маркирует именно наличие альтернатив, релевантных для интерпретации языкового выражения, т. е. фокус – информационный, контрастный, эмфатический – на составляющих разного объема. П. 5 посвящен тетическим клефтовым предложениям в ирландском языке. Под тетическими мы понимаем предложения, целиком находящиеся в фокусе и отличающиеся формально от коммуникативно расчлененных предложений. Мы постараемся показать, что те ограничения, которые постулируются в статье [Sasse 2006] для клефтовой конструкции как маркера тетичности, на материале ирландского языка не выполняются и, таким образом, вряд ли можно говорить о строгой связи прагматики тетических предложений со способом их оформления, предлагающейся в этой работе.

2. Наиболее детальные описания синтаксиса (и отчасти прагматики) клефтовой конструкции встречаются в грамматиках [Stenson 1981; Ó Siadhail 1989; Graiméar 1999]. Синтаксическую структуру клефтовой конструкции в ирландском языке можно представить следующим образом⁴:

(3) [(Cop) XP [Rel ... __ ...]]

Иначе говоря, клефт – это клауза с копулой⁵ в вершине, где у копулы есть два аргумента: XP и релятивная клауза. Показатель релятивизации – союз *a* (как и другие комплементаризеры, он в ирландском находится слева), на месте релятивизованного актанта – пробел. Далее мы будем говорить о матричной и релятивной клаузе клефта, а XP, являющуюся аргументом копулы, называть «вынесенной».

В копуле выражены полярность, иллокутивная сила, время и наклонение, в некоторых случаях она также согласуется с аргументом – именной группой (см. об этом ниже). Копула может быть или не быть фонологически выражена без заметной для носителя разницы в семантике или коммуникативной структуре, за исключением трех случаев. Первый – отрицание: копулу в отрицательной форме, разумеется, нельзя опустить без потери для семантики (4). Полярный вопрос при этом подчиняется общему правилу: фонологически выраженная копула в нем необязательна (5).

(4) # (Ni) sú oráiste a bhíos ag ól.
 NEG сок апельсиновый DREL быть-1SG.PST PROG пить.NMLZ
 'Я пил не апельсиновый сок'.

⁴ Среди формальных лингвистов существует две основные точки зрения на устройство клефтовой конструкции, высказанные в [Percus 1997] и [Kiss 1998; 1999] соответственно. Поскольку синтаксис клефта не является предметом данной работы, мы не будем здесь их обсуждать; упомянем лишь, что грамматические свойства ирландского клефта адекватнее описывает структура, предложенная в [Percus 1997].

⁵ Мы используем термин «копула» вместо более распространенной «связки», чтобы отличить копулу как отдельную часть речи со своим набором грамматических категорий (так, копула различает меньше видо-временных форм, чем глагол, но только она может согласоваться с подлежащим по роду и выражать иллокутивную силу) от бытийного глагола *bí* в связочной функции.

- (5) (An) Le ceannacht a bhí sé?
 Q.PRS с покупать-NMLZ DREL быть.PST 3SG.M
 ‘Она была на продажу?’ (RM)

Помимо того, копула обязательна во вложенной клаузе, ср. (6a) и (6b):

- (6) a. (Is é) Tom a bhí scuabtha.
 (COP.PRS 3SG.M) T. DREL быть.PST виновный
 ‘Виновен был Том’.
- b. Bhí a fhios acu go- *(b é) Tom a bhí scuabtha.
 быть.PST знание у.3PL что COP.PST 3SG T. DREL быть.PST виновный
 ‘Они знали, что виновен Том’.

В-третьих, в *wh*-вопросе копула – ни в утвердительной, ни в вопросительной форме – не может быть употреблена⁶, поскольку занимает одну синтаксическую позицию с вопросительным словом; ср. (7a) с вопросительным словом и (7b) с косвенным вопросом, где копула не может быть опущена:

- (7) a. Ní chí-m [cé a-tá ann].
 NEG видеть-1SG.PRS кто DREL-быть.PRS там
 ‘Я не вижу, кто там’.
- b. Ní chí-m [* (an) duine atá ann].
 NEG видеть-1SG.PRS Q человек DREL-быть.PRS там
 ‘Я не вижу, человек ли там’.

В позиции *XP*, вынесенной в клефт, могут находиться различные составляющие: именная группа, предложная, глагольная, группа прилагательного или наречия, придаточное предложение; в примерах (8–13) вариант (a) представляет собой предложение с некоторой составляющей в ее «обычной» позиции в предложении без клефта, (b) – с вынесением данной составляющей в клефт.

Именная группа:

- (8) a. Bhí fear eile] istigh ann...
 быть.PST человек другой внутри там
 ‘Внутри был еще один человек...’ (RM).
- b. ...agus [fear eile] [a bhí in éineacht leo]...
 и человек другой DREL быть.PST вместе с.3PL
 ‘...с ними был еще один человек...’ (RM).

Группа наречия:

- (9) a. «Níor chuala tú» a-deir sé
 NEG.PST слышать.PST 2SG DREL-говорить.PRS 3SG.M
 «gur mara-íodh Joe Howley i mBaile Átha Cliath [inné]...»
 что.PST убить-PASS.IMF в Дублин вчера
 ‘Ты не слышал, – говорит он, что вчера в Дублине убили Джо Хаули...’ (RM).
- b. Shíl-feá gur [inné] [a d’-fhágaigh sí an harbour].
 PST/думать-2SG.COND что.PST вчера DREL PST-оставить 3SG.F DEF
 ‘Можно было подумать, что она вчера вышла из гавани’ (RM).

⁶ Похожее явление наблюдается в багвалинском языке (андийская подгруппа аваро-андоцезской группы нахско-дагестанской семьи), где копула, обязательная в других фокусирующих контекстах, при вопросительных словах не употребляется [Kalinina, Sumbatova 2007: 214–215].

Предложная группа:

(10) a. Tá mé ag cain-t [ar an bhfarraige].
 быть.PRS 1SG PROG говорить-NMLZ на DEF море
 'Мы говорили о море' (RM).

b. «...Is [ar m' iníon-sa]» adeir sé,
 COP.PRS на POSS.1SG дочь-CNTR DREL-говорить.PRS 3SG.M
 «[a thit an crann i mbliana]...»
 DREL PST/пасть DEF жребий в год
 '«В этом году жребий пал на мою дочь», – сказал он' (RM).

Группа глагольного имени с комплементаризатором (часть составного предиката):

(11) a. ...bhí muid [ag cain-t faoin sliabh]...
 быть.PST 1PL PROG говорить-NMLZ O.DEF гора
 '...мы говорили о горе...' (RM).

b. ...agus [ag caint faoi ghnaíúlacht] [a bhí muid]...
 и PROG говорить-NMLZ о красота DREL быть.PST 1PL
 '...и мы говорили о красоте...' (RM)

Группа прилагательного:

(12) a. Níl mé [an- tsiúráilte faoi sin].
 быть.NEG.PRS 1PL INT уверенный под это
 'Я не очень в этом уверен' (RM).

b. Ní [an- tsean] [atá mé féin]...
 COP.NEG.PRS INT старый DREL 1SG REFL
 'Я сам не очень стар...' (RM).

Глагольная группа (о глагольной группе в ирландском см., например, в [McCloskey 1983; 2011; Duffield 1995]; в роли вынесенной XP выступает нефинитная группа глагольного имени, а на месте финитного глагола в релятивной клаузе находится глагол *déan* 'делать' в соответствующей форме, ср. с явлением «do-support» в английском):

(13) a. B'fhéidir gur chaith sibh amach é.
 может_быть что.PST PST/бросить 2PL наружу 3SG.M
 'Может, вы его выбросили'.

b. B'fhéidir gur [é a chaithe-amh amach] a rinne sibh.
 может_быть что.PST 3SG.M TR бросить-NMLZ наружу DREL делать.PST 2PL
 'Может, вы его выбросили' [Ó Siadhail 1989: 305].

Придаточное предложение:

(14) Cheap-as féin go raibh sé go maith, ach
 PST/думать-1SG REFL что быть.PST 3SG.M ADV хороший но
 [go raibh sé tinn] [a dúirt a mháthair].
 что быть.PST 3SG.M больной DREL сказать.PST 3SG.POSS.M мать
 'Я думал, что он в порядке, но его мать сказала, что он болен'.

Если в предложении есть фонологически выраженная копула, она облигаторно согласуется с вынесенным элементом, в случае когда им является определенная именная группа [Ó Siadhail 1989: 224], как 'молодые люди' с определенным артиклем в (15):

- (15) Ní hiad na daoíní óga a thé-adh go Sasana
 COP.NEG.PRS 3PL DEF.PL человек.PL молодой-PL DREL идти-IMF в Англия
 san am sin.
 в.DEF время тот
 'В то время в Англию уезжали не молодые люди' (RM).

Копула не всегда выражает абсолютные время и наклонение. В других случаях она принимает дефолтную форму настоящего времени изъявительного наклонения, и это указывает на контрастный или эмфатический статус вынесенной в клефт составляющей:

- (16) a. (Ba) Sheán a bhí ar mo sheanathar.
 COP.PST Ш. DREL быть.PST на POSS.1SG дедушка
 'Моего дедушку звали Шон'.

- b. Is Sheán a bhí ar mo sheanathair.
 COP.PRS Ш. DREL быть.PST на POSS.1SG дедушка
 'Моего дедушку звали [именно] Шон'.

- (17) a. (Ba) sa bhliain 1993 a thárla sé.
 COP.PST в.DEF год DREL случиться.PST 3SG.M
 'Это случилось в 1993 году'.

- b. Is sa bhliain 1993 a thárla sé.
 COP.PRS в.DEF год DREL случиться.PST 3SG.M
 'Это случилось [именно] в 1993 году'.

В ирландском языке структура релятивной клаузы клефта не идентична структуре релятивной клаузы в функции модификатора именной группы. Если в последнем случае используются две стратегии релятивизации – одна, с «пробелом» на месте релятивизованной группы, применима при релятивизации подлежащего и прямого дополнения из клаузы первой глубины вложения (ее называют обычно «прямой релятивизацией» – «direct relativization» [McCloskey 1979; Deprez, Hale 1985], здесь в глоссах – DREL), другая, с резумптивным местоимением, – при релятивизации прямого дополнения и других групп («непрямая релятивизация», англ. «indirect relativization», в глоссах – IREL), то в клефте возможна только первая независимо от того, какая составляющая находится в матричной клаузе и какую позицию она занимала бы в релятивной.

Комплементаризеры, участвующие в прямой и непрямой релятивизации, фонологически идентичны, но различаются по мутации, которую претерпевает следующая за комплементаризером фонема (базовый порядок слов в ирландском – VSO, комплементаризер находится слева, и мутирует всегда первая фонема глагола): в случае комплементаризера, отвечающего за прямую релятивизацию (18a, 18c), это фрикативизация согласного (иногда с дополнительными фонетическими преобразованиями) и отсутствие мутации на гласном, в случае комплементаризера, используемого при непрямой релятивизации (18b, 18d), – озвончение глухих и назализация звонких согласных и добавление *n*- перед гласным; у неправильных глаголов здесь встречаются нерегулярные формы.

- (18) a. an teach [a thóg Seán]
 DEF дом DREL строить.PST Шон
 'дом, который построил Шон'

- b. an teach [a n-ólann tú fuisce ann]
 DEF дом IREL пить.PRS 2SG виски там
 'дом, в котором ты пьешь виски'

c. Is sa teach seo [a chaith Pádraig Mac Piarais
 COP.PRS b.DEF дом этот DREL PST/проводить Патрик Пирс
 cuid mhaith dá chuid am suas go dtí a
 часть хороший для.POSS.3SG.M часть время наверх до POSS.3SG.M
 mbás i 1916].

смерть в

‘В этом доме Патрик Пирс проводил много времени вплоть до их смерти в 1916 г.’

d. *Is sa teach seo a gcaith...
 COP.PRS b.DEF дом этот IREL PST/проводить

Помимо прагматических (о которых пойдет речь в п. 4), у клефта есть и несколько грамматикализованных функций, т. е. функций, где для клефта нет «парной» неклефтовой структуры с той же семантикой – ср. с (8–13). Форму клефта имеет *wh*-вопрос и экскламатив с частицей *nach* ‘разве не’; в обоих случаях составляющая, вынесенная в клефт, с коммуникативной точки зрения представляет собой фокус: в вопросе – информационный или контрастный, в восклицании – эмфатический. (Эти три типа фокуса, как мы покажем в п. 4, в ирландском языке могут быть выражены клефтом и вне данных грамматикализованных конструкций.)

(19) a. Cé a cheannaigh ba?
 кто DREL PST/купить корова.PL
 ‘Кто купил коров?’

b. *Cé cheannaigh ba?
 кто PST/купить корова.PL
 ‘То же’

(20) «Ha-ha nach maith luath a-tá m’
 ха-ха COP.PRS.NEG хороший ранний DREL-быть.PRS POSS.1SG
 ainm acu» adeir Sir.
 имя y.3PL сгг Сэр
 ‘«Ха-ха, быстро же они узнали мое имя», – сказал Сэр’ (RM).

Вопросы, имеющие вид клефта, встречаются во многих австронезийских языках [Keenan 1976: 269–270; Polinsky, Potsdam 2011], ингушском [Nichols 2010: 370]; как один из вариантов оформления вопроса клефт используется во французском (см., например, [Munago, Pollock 2005]).

3.1. С точки зрения семантики разные типы выражения фокуса в языках можно противопоставить по следующим признакам: наличие vs. отсутствие экзистенциальной пресуппозиции, выбор из закрытого vs. открытого множества, полнота (exhaustiveness) vs. неполнота; см. [Percus 1997; Kiss 1998; 1999; Shlonsky 2012].

Наличие экзистенциальной пресуппозиции (пресуппозиции, что существует аргумент, при заполнении которым «релятивизованной» валентности релятивная клауза превращается в истинное высказывание) отмечалось в литературе для английского и французского клефта (см. [Percus 1997; Shlonsky 2012] и цитируемую там литературу).

Французский

(21) a. A: C’est quoi que tu fais dans la vie?
 it’s what that you do in the life
 ‘What is it that you do in life?’

B: # Rien.

‘Nothing’ [Shlonsky 2012: 247].

b. A: Tu fais quoi dans la vie?
 you do what in the life
 ‘What do you do in life?’

B: Rien.

‘Nothing’ [Ibid.].

У ирландской клефтовой конструкции такой пресуппозиции нет, поэтому возможны следующие примеры:

- (22) A: Cé a chuala Seán ag can-adh, má chuala éinne é?
 кто DREL слышать.PST Шон PROG петь-NMLZ если слышать.PST кто-то 3SG.M
 B: Mi-se a chuala é.
 1SG-CNTR DREL слышать.PST 3SG.M
 'Кто слышал, чтобы Шон пел, если кто-то вообще слышал? – Я слышал'.

- (23) a. A: Ar dhíol éinne bó inné?
 Q.PST PST/продать кто-то корова вчера
 B: Seán a dhíol.
 Шон DREL PST/продать
 'Кто-нибудь продал вчера корову? – Шон продал'.

- b. Diabhal a dhíol.
 дьявол DREL PST/продать
 '(Кто продал корову? –) Никто не продал'.

Как видно из примеров, экзистенциальная пресуппозиция необязательна как в грамматикализованных, так и в прагматических употреблениях клефта.

3.2. Фокус называется полным (exhaustive), если предикат, валентность которого заполняет группа, находящаяся в фокусе, превращается в истинное высказывание, только когда эта валентность заполнена элементом, находящимся в фокусе, в данном случае – группой, вынесенной в клефт [Kiss 1998]. По признаку полноты ирландский клефт недоопределен: он может интерпретироваться и как полный, и как неполный в зависимости от контекста, ср. (24) и (25).

- (24) A: An bhfuil a fhios agat, cé a dhíol ba inné?
 Q.PRS быть.PRS знание у.2SG кто DREL PST/продать корова.PL вчера
 B: Tá, cinnte. 'S-é Pól a dhíol, agus
 быть.PRS конечно COP.PRS-3SG.M P. DREL PST/продать и
 dhíol Máire a bó freisin.
 PST/продать M. POSS.3SG.F корова тоже
 'Ты знаешь, кто продал вчера корову? – Да, конечно. Пол продал, и Мойра тоже продала'.

- (25) A: Is babóg a chuir-is sa mbosca.
 COP.PRS кукла DREL PST/положить-2SG в.DEF коробка
 B: Ní hea. Chuire-as babóg agus reann ann.
 нет PST/положить-1SG кукла и ручка туда
 'Ты положила куклу в коробку. – Нет. Я положила туда куклу и ручку'.

3.3. Выбор из закрытого множества (часто называемый признаком контраста, см. [Chafe 1976; Kiss 1999]) в некоторых языках является атрибутом клефта [Reeve 2010]. В ирландском языке клефт по этому признаку также недоопределен: элемент, вынесенный в клефт, может быть «выбран» как из открытого (26), так и из закрытого, заданного в контексте, множества (как в (25) выше; контекст: ребенок спрятал в коробку что-то из предметов, находившихся до этого на столе).

- (26) Bean a bhí ag rá, agus an teach dhá
 женщина DREL быть.PST PROG говорить.NMLZ и DEF дом для.3SG.F
 dó, go raibh sí ag brionglóidí go
 жечь.NMLZ что быть.PST 3SG.F PROG видеть_во_сне.NMLZ ADV
 minic go bhfaca sí an deatach ag dul amach
 частый что видеть.SBJ 3SG.F DEF дым PROG идти.NMLZ наружу
 thríd an teach.
 через DEF дом
 'Одна женщина говорила – которая сгорела в своем доме – что часто видела во сне, как дым выходит из окон дома' (RM).

4.1. Далее речь пойдет о коммуникативной структуре клефтовой конструкции. Самое частое коммуникативное значение клефта в ирландском языке – контрастный фокус на вынесенной составляющей, привычный для европейских языков [Lambrecht 2001]:

- (27) Oíche Dé Máirt is fearr chun glaoch orm...
 вечер понедельник.GEN COP.PRS хороший.SUPERL для звонок на.1SG
 ‘Мне лучше всего звонить в понедельник вечером...’ (GI)
 (Звонку в понедельник здесь противопоставлены звонки в другое время, менее удобное для говорящего.)

Вынесенная составляющая в клефтовой конструкции несет коммуникативную функцию контрастного фокуса во многих языках мира. Приведем несколько примеров:

Итальянский [Reeve 2010: 28]:

- (28) È GIANNI che a rotto il vaso.
 is Gianni that has broken the vase
 ‘It is GIANNI that has broken the vase’.

Агульский, лезгинская группа нахско-дагестанской семьи [Maisak 2008: 13]:

- (29) a. dad qaj-ne
 father RE:COME:PF-PFT
 ‘Father returned’.
- b. dad e qaj.i-f.
 father COP RE:COME:PF-N
 ‘It was FATHER who returned’.

Нгалакан, кунвинькуская группа, Австралия [Evans 2007: 414]:

- (30) nu-gunʔbiri baɣamunu ɲur-ɲe- ɲa-gan
 m-that sand.goanna 1INCL.PL-COOK-FUT-SUBOR
 ‘It’s the sand goanna we will cook’. / ‘We’ll cook THE SAND GOANNA’.

4.2. В клефт может быть вынесен контрастный топик:

- (31) Formhór na ndaoíní is go Meiriceá
 большая_часть DEF.PL.GEN человек.PL COP.PRS в Америка
 a chua-dar s-an am sin, agus cuid acu a chuir
 DREL ИДТИ.PST-3PL В-DEF время ЭТОТ и часть у.3PL DREL PST/класть
 cúnamh ar ais aige, cuid acu nár chuir
 помощь назад у.3SG.M часть у.3PL DREL.NEG.PST PST/класть
 agus b’fhéidir cuid acu nár scríobh ariamh.
 и может_быть часть у.3PL DREL.NEG.PST писать(PST) никогда
 ‘Большая их часть уехали в Америку, и некоторые из них слали назад деньги, некоторые нет, а другие, может, никогда [и] не писали’ (RM).

4.3. Кроме того, в ирландском языке, как, например, во французском и маргинально – в других романских языках (см. [Wehr 1984; Sasse 1987: 538–540]), клефт возможен в тетических предложениях без контраста, например в первом предложении текста:

- (32) Aighneas a thárla idir an file ó Éirinn
 спор DREL случиться.PST между DFF поэт из Ирландия.GEN
 agus an t-iascaire ón gCorsaic...
 и DEF рыбак из.DEF Корсика.GEN
 ‘Поспорили ирландский поэт и корсиканский рыбак’ (DF).

4.4. В отличие от романских языков, в ирландском информационный фокус может выражаться клефтом не только в случае фокуса на всем предложении, но и при фокусе на составляющей, меньшей по объему (33). Реже клефт используется для выражения информационного фокуса на глагольной группе, но и здесь возможен. В результате, по-видимому, любое предложение с информационным фокусом имеет синонимичный вариант в форме клефта.

(33) Muise m'anam gob ea agus go raibh m'ainm ar an leabhar, agus go raibh muid ag fanacht le bád a raibh ocht míle tonna *coke* inti, *Germany* a d'fhágaigh sí, agus **thuas thríd an Kiel Canal** a chuaigh sí.

‘Да, клянусь, что это так, что мое имя было в книге и что мы ждали корабль, который вез восемь тысяч тонн кокса. Он вышел из **Германии** и плыл **через Кильский канал**’ (RM).

В одном из экспериментов мы предложили информанту оценить перевод на ирландский начала повести «Барышня-крестьянка» А.С. Пушкина, где информационный фокус в каждом предложении был вынесен в клефт (см. фрагмент в (34)). Ни в одном из случаев такой вынос не показался информанту неестественным.

(34) Nuair a bhí sé óg, **ag seirbhís sa gharda** a bhí sé; **i dtosach 1797** a d'éirigh sé, **fén dtuath** a d'imigh sé, agus as san amach, in áit ar bith ina gcuirte é.

‘В молодости своей **служил он в гвардии**, вышел в отставку **в начале 1797 года**, уехал **в свою деревню** и с тех пор он оттуда не выезжал’.

Способность маркировать информационный фокус сближает ирландский клефт с клефтом некоторых нахско-дагестанских языков, таких как чеченский [Komen 2007] и даргинский [Harris 2004: 5], а также с весьма «похожими» на клефтовые связочными конструкциями в других нахско-дагестанских языках [Kazenin 2001; Kalinina, Sumbatova 2007] и в восточноармянском [Megerdootian 2011].

4.5. Может оформляться клефтом и эмфатический фокус (выделение крайних значений шкалы):

(35) Is beag a bhí in ann a mhac
 COP.PRS маленький DREL быть.PST способный VOC сын
 í a handle-áil ar chor ar bith.
 3SG.F TR обращаться-NMLZ вообще

‘Мало кто, сынок, вообще умел с ней обращаться’ (RM).

(Значение ‘мало кто’ близко к полюсу шкалы <никто, ..., мало кто, ..., многие, ..., все>.)

4.6. Ограничивающий фокус также может иметь вид клефта:

(36) Ba thart ar an am sin a bhog Daid isteach sa
 COP.PST вокруг на DEF время тот DREL PST/переехать папа внутрь в.DEF
 seomra beag codla-ta a bhíodh agamsa roimh
 комната маленький спать-NMLZ.GEN DREL быть.IMF у.1SG-CNTR перед
 dhul le sagartóireacht dom...
 идти.NMLZ с служба_священника для.1SG

‘Примерно в это время папа переехал в маленькую спальню, которая была моей, пока я не стал священником’ (GI).

(37) Ansin a thosóidís ag caithe-amh isteach na
 тогда DREL начать-3PL.COND PROG бросать-NMLZ внутрь GEN.DEF
 feamainn-e.
 водоросли-GEN

‘Тогда они начинали бросать внутрь водоросли’ (RM).

- (38) Agus san aimsir sin anois a déan-taí na rud-aí
 и в+DEF время то значит DREL делать-PASS.PST DEF.PL вещь-PL
 gránna ar-na daoine.
 ужасный на-DEF.PL люди
 ‘И, значит, в то время с людьми делали ужасные вещи’ (RM).

Ср. с англ. примером из [Prince 1978: 902]: *It was just about fifty years ago that Henry Ford gave us the weekend.*

В [Sasse 2006: 273] упоминается, что наличие подобных временных и пространственных адвербиалов может влечь за собой инверсию SV > VS (в таких языках, как русский, новогреческий, цыганский, албанский и румынский), которая в других случаях передает тетическую коммуникативную структуру предложения. Здесь мы имеем дело со сходным явлением: предложения с сентенциальным наречием, несущим «ограничивающую» семантику, имеют форму клефта, как и тетические предложения.

4.7. Помимо фокуса на фонетически выраженной составляющей, клефт в ирландском языке может маркировать полярный фокус (отмечен ранее в близкородственном шотландском Д. Адгером [Adger 2011]); в используемой нами классификации такой фокус будет подвидом контрастного фокуса, с тем отличием от рассмотренных выше случаев, что фокус здесь не на фонологически выраженной составляющей, а на полярности:

- (39) A: Níl tú breoite!
 быть.NEG.PRS 2SG больной
 B: Is me a-tá!
 COP.PRS 1SG DREL-быть.PRS
 ‘«Ты не болен!» – «Болен!»’

- (40) Mar sin a bhí.
 как то DREL быть.PST
 ‘Так оно и было’ (LLC).

4.8. Все перечисленные коммуникативные функции – информационный и контрастный фокус, контрастный топик, ограничение, эмфаза (выделение крайних значений шкалы) – подходят под определение фокуса как выбора из множества альтернатив, приведенное в [Grifka 2007].

Когда в предложении более одного фокуса, возможно вынесение нескольких составляющих:

- (41) S-í bean an tí is minic a ghearr-adh na
 COP-3SG.F хозяйка COP.PRS частый DREL резать-IMF DEF.PL
 sciolláin.
 глазки_картошки
 ‘Часто глазки картошки вырезала хозяйка’ (RM).

В предложении (41) два фокуса: эмфатический на слове ‘частый’ и контрастный на ‘хозяйке’ (вырезание ею картофельных глазков противопоставляется выполнению этой работы хозяином или детьми).

4.9. Интересно сравнить коммуникативную структуру клефта в ирландском и его родственниках из бриттской группы кельтских языков – валлийском и бретонском. В них сфера действия клефта шире, в частности, вынесенная составляющая может быть неконтрастным топиком [Porre 2009: 247].

Абсолютное большинство предложений в средневаллийских текстах имеют вид клефта, однако до сих пор открыт вопрос, что именно выносится в клефт и существует ли какое-либо формальное различие между клефтом, передающим контрастный и не-контрастный фокус (см. анализ литературы по этому вопросу в той же работе). Часто,

но не всегда они различаются тем, что при вынесении в клефт подлежащего глагол релятивной клаузы согласуется с релятивизованным актантом, если он является топиком, а в предложениях с вынесенным контрастным фокусом имеет дефолтную форму 3 л. ед. ч.

Средневаллийский

(42) Miui a uyd gwassanaethwr hediw
 1SG DREL быть.3SG.FUT слуга сегодня
 ‘Сегодня служить буду я’ [Porpe 2009: 253], глоссы наши.

(43) ‘Myuy’, heb ef, ‘a wnp was ieuank, tec, adwyp...’
 1SG CIT 3SG DREL знать.1SG.PRS юноша молодой красивый доблестный
 ‘«Я, – сказал он, – знаю молодого, прекрасного и доблестного юношу...»’ [Ibid.], глоссы наши.

5.1. В заключение мы рассмотрим подробнее тетические клефты в ирландском языке. Под тетическими мы понимаем предложения, которые целиком находятся в фокусе, при условии, что они отличаются формально от коммуникативно расчлененных (либо особым маркированием фокуса на всем предложении, например его номинализацией, либо отсутствием маркирования топика – топикального акцента в русском, топикальной частицы в японском и т. п.). Исследование тетических предложений осложнено тем, что, во-первых, выбор между тетическим и коммуникативно расчлененным предложением в речи гораздо свободней, чем выбор между граммемами грамматической категории, из-за чего тетические предложения часто не получают адекватного описания в грамматиках, во-вторых, множество контекстов, допускающих или – в редких случаях – требующих тетического предложения, значительно варьирует по языкам, а в-третьих, интерес к ним возник в лингвистике относительно недавно. О появлении понятия тетического высказывания и тетического предложения, а также об исследовании тетических предложений до 1987 г. см. в [Sasse 1987]. Из более поздних типологических и сопоставительных работ отметим [Sasse 1995; 2006; Lambrecht, Polinsky 1998; Wehr 2000; Янко 2008].

Мы при исследовании тетических предложений в ирландском языке пользовались в первую очередь методологией Х.-Ю. Зассе [Sasse 1995], который предлагает для нахождения в языке особых средств маркирования тетических предложений проверять, отличаются ли формально предложения, употребляющиеся в контекстах из составленного им списка, от предложений с той же семантикой, употребляемых в других контекстах, и если отличаются, называть такие особые предложения тетическими. Среди тетических контекстов по Зассе – объяснение, описание, первое предложение текста; в ирландском языке в них допустимы клефтовые предложения.

О возможности в ирландском языке маркировать клефтом предложения с фокусом на всем высказывании впервые упоминает [Mac Cana 1973] (со ссылкой на [Lewis 1942], говорившего о том же свойстве валлийского языка). Данные из этой работы попали в типологические исследования [Sasse 1987; 2006; Lambrecht, Polinsky 1998].

Анализируя корпус и предлагая носителям языка оценить предложения в контексте (обращая особое внимание на список тетических контекстов по [Sasse 1995]), мы обнаружили, что клефт в ирландском языке встречается (за исключением маркирования фокуса на составляющей, по объему меньшей предложения) в следующих группах контекстов: в первом предложении текста (44 = 32 выше), при введении нового референта (45), в описаниях (46), объяснениях (47), в начале нового эпизода с уже активированным участником (48), в восклицаниях (49, 50).

(44) Aighneas a thárla idir an file ó Éirinn
 спор DREL случиться.PST между DEF поэт из Ирландия.GEN
 agus an t-iascaire ón gCorsaic...
 и DEF рыбак из.DEF Корсика.GEN
 ‘Поспорили ирландский поэт и корсиканский рыбак’ (DF).

- (45) Duine anoir ó Chill Mocheallóg a bhí-odh
 человек с_востока из К. М. DREL быть-IMF
 sa chathaoir (sic!) againn i gcaitheamh na haimsir-e sin.
 в.DEF город у.1SG в течение DEF.SG.GEN время-GEN то
 ‘Тогда с нами в городе был человек из Килл Мохалог’ (MSF).
- (46) Pictiúr leathmhagúil, leathgheanúil a-tá againn anseo de
 картина полунасмешливая полулюбящая DREL-быть.PRS у.1SG здесь из
 shean-bhád canál-ach á tharraing-t go mall ag an
 старый-лодка канал-ADJ у.3SG.M тянуть-NMLZ ADV медленный у DEF
 sean-charall...
 старый-лошадь
 ‘Здесь мы видим полунасмешливое, полулюбящее изображение лодки, которую тянет старая лошадь...’ (DF)
- (47) Aol a bhí inti...
 известь DREL быть.PST в.3SG.F
 ‘(Почему лодка загорелась? –) В ней была известь’ (RM).
- (48) Ar a slí chun uachtar geoite a cheannach a
 на POSS.3SG.F дорога к мороженое TR купить-NMLZ DREL
 bhí sí...
 быть.PST 3SG.F
 ‘Она шла покупать мороженое...’ (GI)
- (49) Ah 'sé a bhí sásta ar é a chloisteáil.
 ах 3SG.M DREL быть.PST довольный на 3SG.M TR слышать-NMLZ
 ‘Ах, [как же] он был рад это слышать!’ (RM)
- (50) Is ar mo mháthair a bhí an t-áthas.
 COP.PRS на 1SG.POSS мать DREL быть.PST DEF радость
 ‘Как моя мать была рада!’

Интересный случай представляют собой примеры вроде (50) – эмфатического клефта с вынесенным экспериенцером – предложной группой.

Как правило, в тетическом предложении выносится в клефт подлежащее:

- (51) a. A: Cén fáth atá tú ag gol?
 почему DREL-быть.PRS 2SG PROG плакать.NMLZ
 B: Mo fón róca atá briste.
 1SG.POSS телефон карман(GEN) DREL-быть.PRS сломанный
 ‘Почему ты плачешь? – Мой телеФОН сломался’.
- b. B: # Briste atá mo fón róca.
 сломанный DREL-быть.PRS 1SG.POSS телефон карман(GEN)
 ‘(Почему ты плачешь? –) Мой телеФОН сломался’.
- (52) a. An cat a d' ith an phearóid!
 DEF кошка DREL PST есть DEF попугай
 ‘Кошка съела попугая!’
- b. # An phearóid a d' ith an cat!
 DEF попугай DREL PST есть DEF кошка
 ‘Кошка съела попугая!’
- c. An phearóid a-tá i-te ag an gcat!
 DEF попугай DREL-быть.PRS есть-PTCP у DEF кошка
 ‘Попугай съеден кошкой!’

Группа, отличная от подлежащего, может быть вынесена в том случае, если подлежащее местоименное и выражено глагольным аффиксом⁷:

- (53) Mo leabhair a d' fhágas sa bhaile!
 1SG.POSS книга/PL DREL PST оставить дома
 '(В чем дело? –) Я книги дома забыл! (Учитель рассердится.)'

Обратим внимание также на то, что вынесенный актант в (49) и (50) является активированным; ср. с рассуждениями в [Sasse 2006] о том, что активированный коммуникативный статус актантов не мешает тетическому оформлению предложения.

5.2. В наиболее полной на настоящей момент работе, посвященной типологии тетических предложений [Sasse 1987], а также в более поздней работе того же автора, суммирующей достижения в области изучения тетических предложений и содержащей обзор всех способов маркирования тетического предложения в языках Европы [Sasse 2006], представлены и данные двух кельтских языков – валлийского и ирландского.

Если в [Sasse 1987] рассматривается как маркер тетического предложения для данных языков лишь клефтовая конструкция (со ссылкой на [Mac Sana 1973]), то в более поздней работе ирландский перечисляется среди языков, которые для обозначения предложения как тетического используют и акцентуацию. Зассе предлагает следующие примеры:

- (54) Tá rian i mo SCORNACH.
 быть.PRS боль в 1SG.POSS горло
 'У меня ГОРло болит' [Sasse 2006: 255, 300].
- (55) Tá mo SCORNACH nimhneach.
 быть.PRS 1SG.POSS горло больной
 'то же' [Ibid.].
- (56) Tá an FÓN ag ring-áil.
 быть.PRS DEF телефон PROG звонить-NMLZ
 'ТелеФОН звонит' [Ibid.: 256].

В результате ирландский оказывается в одном ряду с албанским, баскским, английским и другими языками, где перенесением акцента на подлежащее (при одновалентном предикате) маркируется коммуникативная нерасчлененность. См., однако, [Cotter 1994], где утверждается, что выделение фокализованной составляющей акцентом не было свойственно ирландскому языку до недавнего времени и должно на данном этапе классифицироваться лишь как проявление интерференции с английским.

Зассе в своей ареальной типологии маркирования тетичности в языках Европы говорит, что клефт употребляется с таким коммуникативным значением во французском, маргинально в других романских языках, а также в валлийском [Sasse 2006: 267] (странным образом не упоминая в этом месте ирландский, хотя ссылаясь на посвященную ему статью [Mac Sana 1973]). Интересно также, что в таблице 2 [Sasse 2006: 268] (где присутствует строка «валлийский / ирландский») Зассе, во-первых, не упоминает акцентуацию субъекта как один из способов маркирования тетичности, хотя примеры на него были даны ранее, во-вторых, не указывает, что в ирландском представлен ред-

⁷ В ирландском языке в отдельных диалектах, грамматических контекстах и клетках парадигмы, как здесь, местоименное подлежащее может быть выражено аффиксом в глаголе. С точки зрения синтаксиса аффикс и местоимение различаются, например, тем, что в ответе на вопрос возможен либо глагол без местоименного аффикса – в той форме, которую он принимает при подлежащих-ИГ, – либо глагол с местоименным аффиксом, но не глагол с местоимением [McCloskey, Hale 1983: 531].

кий для языков Европы способ маркирования тетичности нефинитной клаузой (по его данным, в европейских языках отсутствующий [Ibid.: 266]):

- (57) Cad chuige? – Dónall a bheith i ngrá.
 в_чем_дело Д. DREL быть.NMLZ в любовь
 ‘В чем дело? – Дональд влюблен’ [Graiméar 1999: 234].

Один из основных выводов статьи [Sasse 2006] заключается в том, что явление тетичности неоднородно, поскольку разным прагматическим значениям, попадающим в «поле» тетичности (объявление, объяснение и др.), соответствует разное формальное выражение. В частности, автор утверждает, что клефтовые конструкции не используются ни для ввода нового референта [Ibid.: 285], ни в начале нового эпизода с заданным участником [Ibid.: 294], ни в описании [Ibid.: 293]. Однако для ирландского это, очевидным образом, неверно (см. примеры (45, 46, 48) выше). Таким образом, в ирландском языке клефтовая конструкция встречается во всех основных типах контекстов по [Sasse 2006], предполагающих тетическую интерпретацию, и не является прагматически ограниченной.

ВЫВОДЫ

Мы постарались показать, во-первых, что клефтовая конструкция в ирландском языке используется для выражения разных типов фокуса: информационного, контрастного, эмфатического и др. (по [Krifka 2007]), во-вторых, что клефт в ирландском языке способен употребляться во всех основных контекстах, попадающих в «поле» тетичности, а именно в начале текста или эпизода, при введении нового референта, в объяснении и восклицании.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1	1-е лицо	N	номинализация
2	2-е лицо	NEG	отрицание
3	3-е лицо	NMLZ	номинализация
ADJ	прилагательное	PASS	пассив
ADV	наречие	PF	перфектив
CIT	цитатная частица	PFT	перфект
CNTR	контрастная частица	PRS	настоящее время
COND	условное наклонение	POSS	притяжательное местоимение
COP	копула	PROG	прогрессив
DEF	определенный артикль	PRS	настоящее время
DIM	диминутив	PST	прошедшее время
DREL	прямая релятивизация	PTCP	причастие
F	женский род	Q	вопрос
FUT	будущее время	RE	рефактив
GEN	родительный падеж	REFL	рефлексивное местоимение
HAB	хабитуалис	SBJ	сослагательное наклонение
IMF	имперфект	SG	единственное число
INCL	инклюзив	SUBOR	зависимая клауза
INT	интенсификатор	SUPERL	превосходная степень
IREL	непрямая релятивизация	TR	показатель переходности
M	мужской род	VOC	вокатив

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Янко 2001 – Т.Е. Янко. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.
 Янко 2008 – Т.Е. Янко. Интонационные стратегии русской речи в сопоставительном аспекте. М., 2008.
 Adger 2011 – D. Adger. Pronouns and polarity focus. Handout presented at CASTL workshop on 8th March 2011. Tromsø, 2011.

- Büring 2003 – *D. Büring*. On D-trees, beans, and B-accent // *Linguistics and philosophy*. 2003. V. 26. № 5.
- Chafe 1976 – *W.L. Chafe*. Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics and point of view // C.N. Li (ed.). *Subject and topic*. New York, 1976.
- Cotter 1994 – *C. Cotter*. Focus in Irish and English: Contrast and contact // *Proceedings of the Annual meeting of the Berkeley linguistic society*. 1994. V. 20. № 1.
- Deprez, Hale 1985 – *V. Deprez, K. Hale*. Resumptive pronouns in Irish // *Proceedings of the Harvard Celtic colloquium*. 1985. V. 5.
- Duffield 1995 – *N. Duffield*. *Particles and projections in Irish syntax*. Dordrecht, 1995.
- Evans 2007 – *N. Evans*. *Insubordination and its uses* // I. Nikolaeva (ed.). *Finiteness: Theoretical and empirical foundations*. Oxford, 2007.
- Graiméar 1999 – *Graiméar Gaeilge na mBráithre Cnostaí*. BÉC, 1999.
- Harris 2004 – *A.C. Harris*. *Endoclitics and the origins of Udi morphosyntax*. Oxford, 2004.
- Kazenin 2001 – *K.I. Kazenin*. Focus in Tsakhur // E. Göbbel, C. Meier (eds). *Focus constructions: Grammatical and typological aspects of information structure (special issue of Linguistics)*. 2001.
- Kalinina, Sumbatova 2007 – *E. Kalinina, N. Sumbatova*. Clause structure and verbal forms in Nakh-Daghestanian languages // I. Nikolaeva (ed.). *Finiteness: Theoretical and empirical foundations*. Oxford, 2007.
- Keenan 1976 – *E.L. Keenan*. Remarkable subjects in Malagasy // Ch. Li (ed.). *Subject and topic*. London, 1976.
- Kiss 1998 – *K.É. Kiss*. Identificational focus versus information focus // *Language*. 1998. V. 74. № 2.
- Kiss 1999 – *K.É. Kiss*. The English cleft construction as a focus phrase // L. Mureu (ed.). *Boundaries of morphology and syntax*. Amsterdam, 1999.
- Komen 2007 – *E.R. Komen*. *Focus in Chechen*. MA diss. Leiden, 2007.
- Krifka 2007 – *M. Krifka*. Basic notions of information structure // C. Féry, G. Fanselow, M. Krifka (eds). *The notions of information structure. Working papers of the SFB 632: Interdisciplinary studies on information structure (ISIS)*. Potsdam, 2007.
- Lambrecht 2001 – *K. Lambrecht*. A framework for the analysis of cleft constructions // *Linguistics*. 2001. V. 39. № 3.
- Lambrecht, Polinsky 1998 – *K. Lambrecht, M. Polinsky*. Typological variation in sentence-focus constructions // *Papers from the Thirty-third regional meeting of the Chicago linguistic society*. 1998.
- Lewis 1942 – *H. Lewis*. The sentence in Welsh // *Proceedings of the British Academy*. 1942. V. 28.
- Mac Cana 1973 – *P. Mac Cana*. On Celtic word order and the Welsh 'abnormal' sentence // *Ériu*. 1973. V. 24.
- McCloskey 1979 – *J. McCloskey*. *Transformational syntax and model theoretic semantics: A case-study in Modern Irish*. Dordrecht; Boston, 1979.
- McCloskey 1983 – *J. McCloskey*. A VP in a VSO language // G. Gazdar, G.K. Pullam, I. Sag (eds). *Order concord and constituency*. Dordrecht, 1983.
- McCloskey 2011 – *J. McCloskey*. The shape of Irish clauses // A. Carnie (ed.). *Formal approaches to Celtic linguistics*. Newcastle upon Tyne, 2011.
- McCloskey, Hale 1983 – *J. McCloskey, K. Hale*. On the syntax of person-number inflection in Modern Irish // *Natural language and linguistic theory*. 1983. V. 1. № 4.
- Maisak 2008 – *T. Maisak*. Morphology, semantics and syntax of participles in Agul. Paper presented at the Seminar on noun phrase typology (TypoULM), École normale supérieure, Paris. Paris, 2008.
- Megerdooonian 2011 – *K. Megerdooonian*. Focus and the auxiliary in Eastern Armenian. Paper presented at BLS 2011 – *Languages of the Caucasus*. Berkeley, 2011.
- Munaro, Pollock 2005 – *N. Munaro, J.-Y. Pollock*. Qu'est-ce-que (qu)-est-ce-que? A case study in comparative Romance interrogative syntax // G. Cinque, R.S. Kayne (eds). *The Oxford handbook of comparative syntax*. Oxford, 2005.
- Nichols 2010 – *J. Nichols*. *Ingush grammar*. Berkeley, 2010.
- Ó Siadhail 1989 – *M. Ó Siadhail*. *Modern Irish: Grammatical structure and dialectal variation*. Cambridge, 1989.
- Percus 1997 – *O. Percus*. Prying open the cleft // *Proceedings of the North East linguistic society*. 1997. V. 27.
- Polinsky, Potsdam 2011 – *E. Potsdam, M. Polinsky*. Questions and word order in Polynesian // C. Maysefaurie, J. Sabel (eds). *Morphological and syntactic aspects of Oceanic languages*. Berlin, 2011.

- Poppe 2009 – E. Poppe. The pragmatics of Middle Welsh word order: Some conceptual and descriptive problems // E. Rieken, P. Widmer (Hrsg.). *Pragmatische Kategorien. Form, Funktion und Diachronie. Akten der Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft vom 24. bis 26. September 2007 in Marburg. Wiesbaden, 2009.*
- Prince 1978 – E.F. Prince. A comparison of wh-clefts and it-clefts in discourse // *Language*. 1978. V. 54. № 4.
- Reeve 2010 – M. Reeve. *Clefts*. PhD thesis. London, 2010.
- Roberts 1996 – C. Roberts. Informative structure in discourse: Towards an integrated formal theory of pragmatics // J.H. Yoon, A. Kathol (eds). *OSU working papers in linguistics*. 1996. V. 49.
- Rooth 1985 – M. Rooth. Association with focus. Ph. D. diss. Amherst, 1985.
- Rooth 1992 – M. Rooth. A theory of focus interpretation // *Natural language semantics*. 1992. V. 1.
- Sasse 1987 – H.J. Sasse. Thethetic/categorial distinction revisited // *Linguistics*. 1987. V. 25. № 3.
- Sasse 1995 – H.J. Sasse. «Theticity» and VS order: a case study // *Sprachtypologie und Universalienforschung*. 1995. Bd 48.
- Sasse 2006 – H.J. Sasse. Theticity // G. Bernini, M.L. Schwarz (eds). *Pragmatic organization of discourse in the languages of Europe*. Berlin; New York, 2006.
- Shlonsky 2012 – U. Shlonsky. Notes on wh in situ in French // L. Brugè et al. (eds). *Functional heads. The cartography of syntactic structures*. New York, 2012.
- Stenson 1981 – N. Stenson. *Studies in Irish Syntax*. Tübingen, 1981.
- Wehr 1984 – B. Wehr. *Diskursstrategien im Romanischen*. Tübingen, 1984.
- Wehr 2000 – B. Wehr. Zur Beschreibung der Syntax des *français parlé* (mit einem Exkurs zu «thetisch» und «kategorisch») // B. Wehr, H. Thomaßen (Hrsg.). *Diskursanalyse. Untersuchungen zum gesprochenen Französisch. Akten der gleichnamigen Sektion des 1. Kongresses des Franko-Romanisten-Verbands (Mainz, 23.–26. September 1998)*. Frankfurt am Main, 2000.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- DF – C. Ó Góilidhe. *Díolaim filíochta don Ardeistiméireacht*. BÁC, 1974.
- GI – S. O'Connor. *An guth istóiche*. BÁC, 2008.
- LLC – P. Sayers. *Labharfad le cách*. BÁC, 2011.
- MSF – P. *Ua Laoghaire*. *Mo sgéal féin*. BÁC, 1915. (<http://www.corkirish.com/wordpress/archives/category/mo-sgeal-fein>).
- RM – A. Wigger (ed.). *Caint Ros Muc*. BÁC, 2004.

Сведения об авторе:

Мария Валерьевна Шкапа
Институт языкознания РАН
mashashkapa@gmail.com

Статья поступила в редакцию 12.02.2013.

© 2013 г. Н.А. ГАНИНА

РЕЛИКТЫ ГОТСКОЙ АПЕЛЛЯТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В ЛАТИНСКИХ ПАМЯТНИКАХ

Готские языковые реликты – апеллятивные лексемы и имена собственные, сохранившиеся вне основного корпуса готских текстов. Исследование реликтов готской апеллятивной лексики позволяет расширить круг данных и уяснить содержательные основания письменной фиксации древнегерманских слов в латинских источниках. В статье предлагается обобщение и этимологический анализ реликтов остготской и вестготской апеллятивной лексики.

Ключевые слова: имена собственные, реликты, готский, остготский, вестготский, латинский язык

The author reconstructs and studies some Gothic language relics – appellatives and proper names which are preserved in Latin sources. A summarizing analysis of the East Gothic and West Gothic language relics is presented in the study.

Keywords: proper names, relics, Gothic, West Gothic, East Gothic, Latin

Готский язык первым из всех германских языков получил письменную фиксацию и поэтому весьма ценен для сравнительно-исторического языкознания. Готская апеллятивная лексика представлена прежде всего корпусом перевода Св. Писания (IV–VI вв. н. э.) и малых готских текстов (религиозный трактат «Skeireins», фрагменты календаря, купчие грамоты из Неаполя и Ареццо). Однако словарный состав этих памятников имеет свою специфику, обусловленную переводным характером готской Библии и жанрово-стилистической принадлежностью всех текстов, созданных в рамках церковной традиции. Готская лексика дошла до нас в ограниченном объеме: так, например, известны обозначения рта, снега, рыбной ловли, но отсутствуют обозначения носа, льда, охоты, слово со значением «яйцо» представлено только в крымско-готском и т. д. Более того, заимствования из готского языка в романские позволяют реконструировать целый ряд слов (военная лексика, пренебрежительные и бранные обозначения), отсутствующих в тексте готской Библии. В этой ситуации весьма перспективным является расширение круга готских лексических данных за счет реликтов готской апеллятивной лексики, сохранившихся в латинских памятниках.

ОСТГОТСКИЕ РЕЛИКТЫ

Реликты остготской апеллятивной лексики немногочисленны даже по сравнению с соответствующими вестготскими данными. Это объясняется целым рядом причин. Во-первых, в эпоху Великого переселения народов коренное население Италии, владевшее латинским письмом, не занималось созданием латино-готских глоссариев, поскольку древнегерманские языки еще не стали объектом научного и культурного интереса. Количество готских слов, известных из латинских памятников нарративного характера, исключительно мало. Ученые авторы, будь то италиец Кассиодор Сенатор или гот Иордан, стремились поднять готскую историю до римской, а не наоборот. Латинские

правовые тексты также не содержат какого-либо пласта или хотя бы группы готских терминов. Эпоха остготского королевства в Италии была краткой. Готы были субъектами права, но, судя по всему, еще не сложились особые институты и понятия, которые следовало бы обозначать готскими словами. Материал готских подписей в латинских купчих (ср. [Tjäder 1981; Ганина 2008]) свидетельствует об автономности двух миров – римского и готского – и о фактической подчиненности первого последнему в плане реалий и понятий. Например, римская золотая монета *solidus* ‘солид’ называлась по-готски *skilliggs*, что засвидетельствовано в тексте купчих грамот. Однако это обозначение было актуальным только для готов, ибо солид оставался солидом, чеканился в Восточной Римской империи, и германский термин не имел общекультурной ценности.

Для остготской Италии засвидетельствован лишь один случай, когда готское слово функционирует в латинских памятниках в качестве термина. «*Variae*» Кассиодора доносят слово *saio* ‘сайон’, применяемое исключительно к готам. Термин *saio* обозначает дружинника и встречается как в остготском, так и в вестготском законодательстве. Сайон обладает полной свободой передвижения и имеет в своей собственности оружие. Однако то, что он приобретает во время службы, без ограничений остается в собственности его господина при смене сайоном покровителя. В вестготском «*Codex Euricianum*» нет ни одного положения об экономических и социальных гарантиях для сайона, который не может приобретать никакой собственности (*possessio*). При этом важно различие между остготским и вестготским сайоном: остготский был уполномоченным короля, тогда как вестготский мог быть и дружинником какого-то иного господина [Вольфрам 2003: 345].

Остготские сайоны – воины на королевской службе, которые от имени короля могли выполнять как военные, так и гражданские задачи. Вестготский сайон был дружинником второго разряда при любом знатном человеке, но остготский являлся посланцем короля и передавал его приказы. Обладатели всех мандатов получали указания сайонов и находились под их контролем; им подчинялся даже префект претория. Сайоны выступали представителями короля, если он «должен был беседовать» со своими готами. В полномочия сайонов входили: передислокация войск, доставка на суд двора разных лиц, даже высокопоставленных, а также вмешательство в нравы и обычаи. Сайона часто использовали для того, чтобы обеспечить определенному лицу защиту (*tuitio*) со стороны короля. Но, несмотря на близость к королю и двору, сайоны редко шли в гору, и сайонат лишь для немногих был началом карьеры [Вольфрам 2003: 419–420]. Все известные нам имена сайонов – готские, что объясняется необходимостью выбирать доверенных воинов короля из числа единоплеменников [Wrede 1891: 109].

Наиболее убедительная этимология остготского слова *saio* была выдвинута Р. Кёгелем, рассмотревшим соответствующий термин в «Салической Правде», и поддержана Ф. Вреде в применении к остготскому [Wrede 1891: 109–110]. Исследователи реконструировали гот. **sagja*, возводимое к и.-е. **sek^w*- ‘следовать’: ср. лат. *sequor*, греч. *ἔπομαι*, др.-ирл. *sac* ‘следовать’, латышск. *sekt* ‘следить (проводить глазами)’; к этому же этимологическому гнезду относится гот. *saiwan* ‘смотреть, видеть’ и др. (ср. [Pokorny 1959: 587–588, 775–777, 896–898]). В. Леман выражает сомнения по поводу семантического перехода ‘следовать, следить’ > ‘смотреть’ и потому подвергает сомнению традиционную этимологию [Lehmann 1986: 291]. Такая трактовка представляется гиперкритичной, поскольку, во-первых, индоевропейский этимон неоспорим с формальной точки зрения, а во-вторых, существует латышск. *sekt* ‘следить (проводить глазами)’, где совмещаются оба значения. Группа слов *saiwan* – *siuns*, **sagja* в готском свидетельствует об исходном индоевропейском лабиовелярном **k^w*, перешедшем в остготском в **h^w* или **g^w* с озвончением по закону Вернера. В случаях *siuns*, **sagja* < **seg^w*-, **sag^w*- наблюдается характерный распад звонкого лабиовелярного спиранта, бывшего нестойким звуком: ср. гот. *tawi* ‘девочка’, *magus* ‘мальчик’ < **mag^w*-. Примечательно, что лат. *socius* ‘товарищ, сообщник, компаньон’ < **sokwio-s* ‘последователь’ представляет собой полную аналогию гот. **sagja* [Wrede 1891: 110]. Говоря точнее, лат. *socius* и гот. **sagja* восходят к единому индоевропейскому прототипу: **sok^wió-s*. Связь гот. *saiwan* ‘видеть’

и **sagja* ‘последователь, сопровождающий’ оказывается диахронической (этимологической): это равноправные продолжения и.-е. **sek^w-/sok^w-* ‘следовать’, имеющие разные значения.

Что же касается передачи исходного **sagja* латинским *saio*, то Ф. Вреде указывает здесь как на спирантный характер интервокального *g* в готском, так и на слабость интервокального *g* в латыни: ср. *Cytheo = Cethego* и др. [Wrede 1891: 110–111].

Данная этимология слова *saio* была поддержана новейшими исследователями (ср. [Wagner 1993: 130]). Таким образом, *saio* означает ‘последователь’, ‘лицо, сопровождающее господина’ > ‘дружинник’. Та же линия развития семантики (при иных формальных средствах) представлена в др.-англ. *ge-sīð* ‘дружинник’, буквально ‘спутник’ < *sīð* ‘путь’.

Другой реликт остготской апеллятивной лексики также относится к сфере права, но не имеет широкого распространения в латинских памятниках и терминологического статуса. Это слово *belagines* (мн. ч.) ‘законы’, засвидетельствованное в «Getica» Иордана. Возводя историю готом к гетам, Иордан сообщает, что Дикиней (верховный жрец гето-дакийского союза при царе Бурвисте) «обучил готом почти всей философии» и дал им законы: *Nam ethicam eos erudiens, barbaricos mores conpescuit; fysicam tradens naturaliter propriis legibus vivere fecit, quas usque nunc conscriptas belagines nuncupant* [Get. 69] «наставляя их в этике, он обуздал [их] варварские нравы; преподавая физику, он заставил их жить в соответствии с природой, по собственным законам, которые, будучи записаны, до сих пор зовутся ‘белагины’»¹.

Е.Ч. Скржинская справедливо отмечает, что указание на «писанные» законы столь отдаленных времен вызывает сомнение; Иордан либо ошибается, так как запись обычаев впервые была произведена у визиготов только при короле Эврихе (466–485)², либо имеет в виду древнюю устную традицию этих обычаев, которые были позднее письменно зафиксированы [Скржинская 1997: 236].

В соответствии с закономерностями готского языка исследователи реконструируют гот. **bi-lagineis* (ж. р. мн. ч.). Форма единственного числа **bi-lageins* является производным от незасвидетельствованного глагола **bi-lagjan*: ср. гот. *lagjan* ‘класть’ и др.-в.-нем. *bi-legen* ‘занимать’ (в отношении суффикса *-eins* в именах существительных В. Леман указывает на гот. *ahmateins* (ж. р. *-i/ō*) ‘вдохновение’ < *ahma* ‘дух’ [Lehmann 1986: 11, 69], *mereins* ‘известие, весть’ < *merjan* ‘возвещать’ и др.). Гот. **bi-lageins* сопоставляется с др.-исл. *lög* ‘закон’, др.-англ. *gi-lagu* (ср. р. мн. ч.) ‘законы’, *lagu* (ж. р. ед. ч., ср. р. мн. ч.) ‘законы’; ср. лат. *lēs* ‘закон’, род. п. *legis*, оскск. *ligud* (аблатив) ‘по закону’. Индоевропейский этимон – **legh-/logh-* ‘лежать’ (каузатив **logh-* ‘класть, полагать’) (ср. [Рокогн 1959: 658–659])³; в отношении других параллелей и семантики ср. русск. *у-ложение* ‘закон, законодательство’.

При том, что готское **bi-lagineis* (ж. р. мн. ч.) допускает реконструкцию формы единственного числа **bi-lageins*, не исключено, что это слово функционировало как *pluralia tantum* со значением ‘совокупность законов’.

В генеалогии остготского королевского рода Амалов Иордан приводит готское слово **anses* и толкует его как *semideos* ‘полубоги’ [Get. 78]. У Иордана лексема передана как *ansis*, что, по замечанию В. Лемана, является формой вин. п. мн. ч.⁴ Возможна также интерпретация формы *ansis* как именительного падежа **ansīs* (мн. ч. основы на *-i-*),

¹ При цитировании «Getica» приводится русский перевод Е.Ч. Скржинской [Иордан 1997], который далее особо не оговаривается в отличие от перевода отдельных контекстов, выполненных автором статьи.

² «Codex Euricianus»; ср. выше.

³ Сомнения В. Лемана по поводу традиционной этимологии и.-е. **legh-/logh-* ‘лежать’ касаются только лат. *lēs*, *lēgis*, где имеются определенные фонологические проблемы в возведении к индоевропейской основе (правильная форма род. падежа должна выглядеть как **lēhis*).

⁴ Очевидно, исследователь имеет в виду готский винительный падеж мн. ч. *-i-*основ типа *gastins*, а не латинский аккумулятив мн. ч., не дающий такой формы ни в одном склонении.

то есть как готского слова, употребленного вне связи с предшествующими латинскими аккузативами: *id est *ansis*, 'то есть ансы'. Употребление готского слова в генеалогии царского рода вполне понятно: именно к асам возводили свой род древнегерманские династии (ср. генеалогии норвежских и англосаксонских королей). Однако наименование асов представителями «своей [то есть готской. – Н.Г.] знати» (*proceros suos*) показывает всю глубину укоренения исконной готской традиции в германской: по сути дела, асы в изложении Иордана вдруг оказываются *natione Gothi*. Вряд ли стоит упрекать Иордана (Кассиодора) в «готском национализме»; непосредственное соотнесение готов с асами имеет свое обоснование в традиции. О. Хёфлер [Höfler 1963: 55] и другие исследователи [Beck 1967: 139, Lehmann 1986: 164] считают гот. *gut-* аблаутным вариантом формы **gaut-* (др.-исл. *Gauti*, *Gautar*, др.-англ. *Gēatas* и др.). О. Хёфлер указывает в связи с этим на одно из имен Одина – *Gautr* [Höfler 1963: 55]. В этом нет противоречия с общепринятыми этимологиями, так как др.-исл. *Gautr* может быть сопоставлено с общегерм. **geut-* 'лить', точно так же, как др.-исл. *Gauti*, *Gautar*, гот. *gut-* [Lehmann 1986: 164]. Итак, слова Иордана об ансах как «представителях готской знати» могут иметь своей опорой не эвгемеристическую концепцию и не индивидуальные домыслы Иордана (Кассиодора), а реалии исконной традиции [Ганина 2001: 46–49].

Обратимся к этимологии. Соотнесение гот. **anses* с гот. *ans* 'бревно' (к греч. *κάρφος* в контексте [Лк. 6,41–42] о «сучке и бревне» в глазу), предложенное Я. Гриммом [Grimm 1854: 22], и соответственно истолкование термина «ансы» как 'идолы, деревянные столбы с вырезанными лицами' решительно отвергнуто исследователями [Güntert 1923: 102, Polomé 1953: 36–44]. При обосновании этимологии Я. Гримм привлекал в качестве сравнения свидетельство о культовом столпе *Irmingsul* у древних саксов, а также сообщение Ибн-Фадлана о деревянных идолах-столбах у русов. Однако Ирминсуль следует сопоставлять с древнегерманской мифологемой мирового древа, а идолы-столбы известны во многих архаических культурах и не являются особой принадлежностью культа асов. При этом семантическое развитие 'бревно' > 'божество' представляется маловероятным.

Гот. **anses* имеет общепризнанные параллели в древнегерманских языках – др.-исл. *áss* 'ас', 'имя руны', *ásir* 'асы', *ás-* как компонент сложных слов и имен собственных [Cleasby, Vigfusson 1957: 46], др.-англ. *ōs* (название руны, компонент имен собственных), др.сакс. *ōs* (*ōsum* в крещальном обете). При этом гот. **ansīs* (ед. ч. **ans* < **ansiz*) должно быть отнесено к *-i*-основным существительным, тогда как соответствия в других германских языках большей частью принадлежат к основам на *-u-* (кроме др.-исл. *ási* дат. п. мн. ч.⁵ и др.-англ. *esa* род. п. мн. ч.).

Общегерм. **ansuz/*ansiz* традиционно сопоставляется с др.-инд. *ásuras* 'господин', авест. *ahurō* 'господин', *Ahurō Mazdā* 'Господь Мудрый', 'Ахурамазда', др.-перс. *Aura Mazda* 'Ахурамазда'. О.Н. Трубачев указал также на мордовскую религиозную формулу *azozin'e pas* (морд. *pavas*, *pas* < иран. **bayas* с сохранением конечного согласного) 'Господь Бог', вероятно, целиком заимствованную из иранского и отражающую чрезвычайно архаическую, доиранскую огласовку **ásura-* [Трубачев 1967: 10].

П. фон Брадке первым сопоставил др.-инд. *ásura-* и *asuh* 'жизненная сила' (как 'сила дыхания', 'дух' – ср. др.-инд. *āniti*, гот. *uz-anan*) [Bradke 1886: 347]. Х. Гюнтерт интерпретировал др.-инд. *ásura* как 'божество, обладающее повышенной жизненной силой' [Güntert 1923: 10], что было поддержано М. Майрхофером [Mayrhofer 1953–1980, I: 65–66]. Э. Полومه считает, что германские **anses* осознавались в традиции как божества, осуществляющие власть и контроль над магическими силами [Polomé 1953]. Другая возможность интерпретации – сближение др.-инд. *ásura-* с хет. *haššu* 'царь' при возведении последней лексемы к и.-е. **Hons-/*Hns-* 'рождать' (ср. также хет. *haš-* 'рождать', *hašša-tar* 'род', *hašša hanzašša* 'внуки и правнуки' и др. [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 750]). Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов предполагают для данного случая известный

⁵ Клятва Глума, 388 [Cleasby, Vigfusson 1957: 46].

семантический переход 'господин, властелин' > 'бог'. В любом случае выделяются две основные версии: 1) к и.-е. *an- 'дышать', 2) к и.-е. *Hons-/*Hns- 'рождать'.

Ансы у Иордана описаны как существа, приносящие победу: *quorum quasi fortuna vincebant* 'благодаря якобы удаче коих победили' [Get. 78]⁶. Это согласуется как с древнейшими представлениями о сверхъестественных существах, наделенных особой жизненной силой, так и с понятиями об асах в скандинавской традиции. Ср.: «Он [Один. – Н. Г.] был настолько удачлив (*svá sigrsæll*) в битвах, что одерживал верх в каждой битве...» [Ynglingasaga 2; Снорри Стурлусон 1980: 11]. Однако в синхронии гот. *ansis уже не связаны ни с общегерм. *an- 'дыхание, дух', ни с производными и.-е. *Hons-/*Hns- 'рождать'.

Сообщение Иордана не оставляет сомнений в том, что готы почитали ансов-асов, возводили к ним свой род и считали, что ансы ниспосылают воинскую удачу. Готский ономастикон свидетельствует об употреблении имен с основой *ans- даже в VI–VII вв.: ср. имя *Ansila* («римлянин родом» в войсках Нарзеса) и вестготские имена *Ansemundus*, *Ansericus*, *Ansoaldo*.

Иордан приводит еще одно слово, отражающее мифологические представления готы – *haliurunnas (мн. ч.) [Get. 121–122], толкуемое как *magas mulieres* 'колдуньи':

«Из древних преданий мы узнаем, как они [гунны. – Н. Г.] произошли. Король готы Филимер, сын великого Гадариха, после выхода с острова Скандзы, пятым по порядку держал власть над гетами, и... вступил в скифские земли. Он обнаружил (*reperrit*) среди своего племени (*in populo suo*) несколько женщин-колдуний (*magas mulieres*), которых он сам на родном языке называл галиуруннами (*haliurunnas*). Сочтя их подозрительными (*suspectas*), он прогнал их далеко (*longeque*) от своего войска и, обратив их таким образом в бегство (*fugatas*), принудил блуждать (*errare*) в пустыне. Когда их, бродящих по бесплодным пространствам, увидели нечистые духи (*spiritus inmundi*), то в их объятиях соитием смешались с ними и произвели то свирепейшее племя, которое жило сначала среди болот, – малорослое, отвратительное и сухопарое, понятное как некий род людей лишь в том смысле, что обнаруживало подобие человеческой речи» [Get. 121–122].

Слово *haliurunnas относится к германскому лексическому фонду, однако при этимологизации допустимо привлечение различных германских параллелей – производных общегерм. *rūnō- 'тайна, тайное совещание, таинственный шепот', 'рунический знак' и производных общегерм. *rinnan 'бежать, мчаться'. Первая версия была выдвинута исследователями конца XIX – начала XX в. (см. [Feist 1939: 240]) и основывается на допущении, что готское слово, приводимое Иорданом, при записи испорчено и требует конъектуры. Так, К. Мюлленгоф в Моммзеневом издании Иордана истолковал указанное слово как 'руна (тайна) Хель', сведя письменно засвидетельствованное -runnas к гипотетическому *-runa (см. [Scardigli 1964: 84]) – ср. др.-верх.-нем. *holzrūna* 'колдунья', *Albruna* у Тацита [Germ. 8], др.-верх.-нем. *alrūna* 'ведьма, демоническое существо' [Feist 1939: 240, Скржинская 1997: 270].

П. Скардильи и В. Леман оправданно соотносят основу *haliu- в рассматриваемом композите с гот. *halja* (ж. р. -o) 'ад' (в переводе Св. Писания), 'царство мертвых, Хель' (в исконном употреблении). П. Скардильи полагает, что форма *halju- (вместо *halja-) вполне возможна в композитах: ср. гот. *broprulubo (вместо *bropra-) – и не должна корректироваться [Scardigli 1964: 85]. Это мнение поддержано В. Леманом [Lehmann 1986: 174]. Второй компонент композита *haliurunna (ед. ч.) интерпретируется П. Скардильи как производное гот. *rinnan* 'бежать, мчаться'. Гот. *haliu-runna может, таким образом, иметь значение 'та, кто мчится в/из Хель'. В соответствии со своей концепцией «готского шаманизма» П. Скардильи считал готских *haliurunnas шаманками, общавшимися с духами и владевшими искусством «переноситься в Хель» [Scardigli 1964: 84]. Предложенная этимологическая интерпретация возможна (хотя и не обязательна), однако «готских шаманов» в IV–VI вв., равно как и в эпоху Филимера, не существовало.

⁶ Перевод автора.

Тем не менее, на фоне древнегерманских параллелей всё же более предпочтительно сопоставление **haliurunnas* с общегерм. **gūnō*- 'тайна, тайное совещание, таинственный шепот'. Нужно лишь изменить модель сопоставлений. Тацитова *Albruna* (женщина, которой поклонялись германцы), др.-верх.-нем. *holzrūna* 'колдунья, ведьма', *alrūna* 'ведьма, демоническое существо' укладываются в общую схему N + *rūna*, где *rūna* имеет значение 'женщина-прорицательница, колдунья' (в позднейшем осмыслении – 'ведьма'), ибо выступает в традиции в непосредственной связи с этим образом, а N (субстантивный эпитет *alb-* 'альб, эльф', *holz-* 'дерево', *al-* 'все') служит обозначением «специализации» данной колдуньи. Представляется, что в этом случае *runa* должно быть истолковано не как 'тайна' или 'рунический знак', а как 'таинница, прорицательница': ср. др.англ. *rūnian*, др.-сакс. *rūnan*, др.-верх.-нем. *rūnēn* (совр. нем. *raunen*) 'таинственно шептать'. Гот. **haliurunna* может в этом свете означать 'таинница царства мертвых (Хель)', 'колдунья, прорицательница, связанная с Хель' [Ганина 2001: 107–108]. Весьма важным в связи с этим представляется указание Я. де Фриса на тот факт, что др.-верх.-нем. *hellirūna* глоссирует лат. *necromantia* 'вопрошание / вызывание мертвых, некромантия', а др.-англ. *hellerūne* (лат. *pythonissa*) 'волшебница, прорицательница' [de Vries 1956–1957, I: 323]. Итак, в результате критического осмысления версий гот. **haliurun(n)a* поддается вполне удовлетворительному истолкованию даже при различном понимании внутренней формы слова.

Заклучив гот. **haliurun(n)a* в узкие рамки концепции «готского шаманизма», П. Скардильи отказался от проведения других культурных параллелей. Тем не менее, при осмыслении гот. **haliurun(n)as* важно вспомнить образ колдуньи, запечатленный арабским путешественником X в. Ахмедом Ибн-Фадланом в описании похорон знатного руса (скандинавского купца-воина на Волге). Ибн-Фадлан сообщает о приготовлениях к добровольному жертвоприношению девушки – наложницы руса: «И пришла старуха женщина, которую называют "ангел смерти", и разостлала на скамье подстилки... (далее о стеганых матрацах и византийской парче. – Н.Г.). И она руководит обшиванием его (корабля. – Н.Г.) и приготовлением его, и она убивает девушек. И я увидел, что она ведьма большая и толстая, мрачная» (цит. по [Ковалевский 1956: 143]). Я не располагаю сведениями, какой оборот арабского оригинала соответствует определению «ангел смерти», однако здесь следует учесть, что греч. *ἄγγελος* буквально означает 'вестник'. В любом случае, подобное наименование старухи-колдуньи вполне сопоставимо с гот. **haliu-runna* или **haliu-runna*.

Следует также учесть общий контекст представлений русов о загробном мире. Ибн-Фадлан описывает, как обрекая себя в жертву девушка «видит» потусторонний мир: ее подводят к каким-то заранее воздвигнутым воротам, сооруженным возле приготовленного костра, трижды поднимают над воротами в лучах заходящего солнца, она же заглядывает вниз, где сидит пышно наряженный покойник. При этом девушка приносит в жертву курицу и говорит, что видит отца и мать (в первый раз), всех своих умерших родственников (во второй раз) и, наконец, своего господина, сидящего «в красивом, зеленом саду» с мужами и отроками и зовущего ее. «Так ведите же меня к нему!» – заключает девушка. Видение девушки и совершаемый ею обряд справедливо сопоставляются с некоторыми деталями повествования Саксона Грамматика о Хаддинге (петуху отрывают голову и бросают через стену «в иной мир»; птица оживает и кукарекает) и включаются в комплекс древних представлений о «переправе в иной мир», «дороге в Хель» (см. [Ellis 1968]). Эти сопоставления позволяют заключить, что автохтонное наименование жрицы – распорядительницы погребального обряда у русов, переданное Ибн-Фадланом как «ангел смерти», должно было соотноситься с германским обозначением иного мира – общегерм. **haljō*, др.-сканд. *hel* [Ганина 2001: 109].

В случае, если второй компонент рассматриваемого композита восходит к гот. *rinnan* и словом **haliurunnas* Филимер назвал на родном языке не готских, а иноплеменных (скифских) колдуний, есть еще одна возможность интерпретации. Слово **haliurunnas* могло означать 'те, кто мчится из Хель', то есть было связано с образом готских «скачущих» злых духов (гот. *skohsl*) и древнегерманской «дикой охоты» (см. [Ганина 1990]).

Ср. в связи с этим др.-англ. *helruna* о Гренделе. Однако Я. де Фрис, приводя это слово, дает указание на долгое *ū* [de Vries 1956–1957, I: 323]. Поэтому последний пример заставляет предполагать контаминацию **-rūnō* и **-runna*, так как Грендель – выходец из тьмы, носитель ужаса (*wælgæst*, *wælgenga*), а не колдун-некромант. Образ «мчащихся из Хель» ведьм вполне согласуется с данным у Иордана описанием «порождения нечистых духов» – гуннов: «Этот свирепый род (*natio saeva*)... не знал никакого другого дела, кроме охоты, если не считать того, что он... стал тревожить покой соседних племен коварством и грабежами» [Get. 123]. В любом случае не подлежит сомнению, что гот. **haliurun(n)as* употреблено Иорданом (готским преданием) в оскорбительном для гуннов ключе.

ВЕСТГОТСКИЕ РЕЛИКТЫ

Готский язык в Испании в любую эпоху был языком меньшинства населения. Есть все основания предполагать, что он не был полноценным живым языком уже во времена, предшествующие арабской экспансии, то есть еще до начала VIII в. При этом, разумеется, нельзя исключать возможности его сохранения в быту, особенно в отдаленных областях. Тем не менее, во всей области тулузско-испанского королевства вестготов не сохранилось ни одного текста на готском языке [Piel, Kremer 1976: 29]. Известно, что богослужебные тексты вестготов-ариан были уничтожены, однако отсутствие иных памятников заставляет предполагать, что все готские тексты в Испании так или иначе были связаны с церковной традицией. При этом исследователи подчеркивают, что готский перевод Св. Писания нигде не упоминается в источниках (ни в исторических трудах, ни в деяниях соборов). Все это позволяет заключить, что готский язык в Испании довольно рано приобрел статус реликтового и уже в VII – начале VIII в. существовал на основаниях, характерных для реликтового языка.

Что касается знания готского языка вообще, то св. Исидор Севильский в VII в. упоминает некие *carmina majorum* ‘песни предков’, или ‘песни о предках’, в чем следует видеть указание на некие эпические предания. Однако конкретное оформление и содержание этих песней неизвестно. Как подчеркивают Й. Пиль и Д. Кремер, единственным намеком на владение готским языком является характеристика короля Рекесвинта (649–672 гг.) как *sapientissimus in lingua barbara* (‘наиболее сведущий в варварском языке’); однако это сообщение содержится в хронике XI в.

Количественное соотношение вестготских апеллятивов (включая те, что восстанавливаются по заимствованиям в испанский и португальский языки) и имен собственных (включая топонимы) характеризуется огромным перевесом в сторону последних. Й. Пиль и Д. Кремер указывают, что в настоящее время известно несколько тысяч имен собственных и топонимов, несомненно имеющих готские корни, тогда как бесспорно готские заимствования в испанском и португальском составляют всего около тридцати единиц [Piel, Kremer 1976: 27]. При этом вестготская апеллятивная лексика в латинских памятниках представлена лишь несколькими словами из области общественно-правовой и бытовой лексики.

В «*Leges Visigothorum*» содержатся следующие термины: *gardingus* (5 случаев употребления) ‘лицо на службе короля, принадлежащее к ближайшей свите’, ‘придворный’, *guardianus* (3 случая употребления) ‘страж, стражник, телохранитель’, [*comes*] *scancierum* ‘придворная должность’, *thiufadus* (2 случая употребления) ‘*millenarius*’, ‘тысячник (на ранг ниже комита)’⁷, *thiufada*, *thiufadia* ‘воинское подразделение под командованием *thiufadus*’ [Gamillscheg 1934, I: 356–357]. В средневековой латыни Испании засвидетельствовано слово *gasalianes* ‘члены монастырской общины’ [Piel,

⁷ Лат. *comitus* передается здесь (и ниже, при цитировании Get. 243) как ‘комит’, хотя в более позднюю эпоху это наименование обозначало графа: ср. «граф Булгаран» [Альтамира-и-Кревеа 2003: 100] о лице, обозначенном в латинских документах как *comitus Bulgar*. В эпоху короля Леовигильда комит / граф – наместник крупного города [Альтамира-и-Кревеа 2003: 96].

Kremer 1976: 40]. Кроме того, у св. Исидора Севильского засвидетельствованы слова *granos* 'косички, косы' или 'усы' и *cinnabar* 'бородка, эспаньолка': *videmus... granos et cinnabar Gothorum* 'видим косички / усы и бородку готов' [Etymologiae, XIX.23, 7]. Слово *cinnabar* не следует смешивать с лат. *cinnabaris*, *-is* 'киноварь'; в словаре А. Вальде и Й. Хофмана *cinnabar* толкуется как «Art Haarfrisur der Goten (Isid.): aus got. *kinnubar(d)s 'Kinnbart, Backenbart'» [Walde, Hoffmann 1938–1956: 218].

Э. Гамильшег оценивает латинизированные германские формы *leudes* (1 случай употребления) 'свободные дружинники' и *saio*, *sagjo* 'сайон' как неготские, считая первую франкской, а вторую вообще негерманской [Gamillscheg 1934, I: 358]. При отсутствии апеллятива, соответствующего форме *leudes* в классическом готском, первое предположение можно учесть как одну из возможностей интерпретации⁸. Однако слово *saio* 'сайон', рассмотренное выше, характеризуется в латинских источниках как готское и этимологизируется как германское.

Этимология приведенных слов большей частью прозрачна, однако при рассмотрении деталей возникает целый ряд интересных проблем.

Лат.-гот. *gardingus* восходит к гот. **gardings* – производному от *gards* (м. р. *-i*) 'дом, двор' и буквально означает 'лицо, принадлежащее к дому, двору' в прямом, а не переносном смысле. Однако для обозначения домочадца (греч. *οἰκεῖος*) в классическом готском употребляется слово *ingardja* (м. р. *-n*) (Еф. 2,19) [Gamillscheg 1934, I: 356; Lehmann 1986: 147]. Поэтому лат.-гот. *gardingus* явно отражает развитие словом *gards* 'дом, двор' переносного значения, а именно – 'двор короля'.

Э. Гамильшег отмечает, что термин *gardingus* стал непонятным или неупотребительным уже в VII в., поскольку в рукописи Codex Parisinus оно глоссируется словом *astualdus* [Gamillscheg 1934, I: 356]. Этимология последнего термина требует пояснения. Оно трактуется исследователями как композит, первый компонент которого – *astu-* – сопоставляется с лат.-герм. *asdingi / azdingi / astingi* < общегерм. **hazdingōs* 'носящие (длинные) волосы', 'длинноволосые': ср. *Asdingi* 'знатный род у вандалов', *Haddingus* у Саксона Грамматика, др.-исл. *Haddingr* 'имя мифологического героя', *skati Haddingja* 'князь Хаддинггов' («Язык поэзии», перечень коней с указанием на «Вису Кальва»), др.-англ. *Heardingas* в древнеанглийской рунической поэме. Обозначение **hazdingōs* является суффиксальным производным от общегерм. **hazdaz* 'волосы': ср. др.-исл. *haddr* 'женские волосы' (поэт.), др.-англ. *heord* 'волосы', а из параллелей в других индоевропейских языках – русск. *коча* [de Vries 1962: 200; Cleasby, Vigfusson 1957: 227]. По своей внутренней форме **hazdingōs* буквально означает *кочатые*. На основании этих сопоставлений лат.-гот. *astualds* этимологизируется как **hazda-walds* 'длинноволосый правитель', причем старое **hazdings* могло совместиться с обозначениями должностей на **-walds* [Gamillscheg 1934, I: 356]⁹.

Еще Я. Гримм заключил, что благородные германцы (готы, вандалы, маркоманны) в ранге «гардинггов» обозначались как *asdingi* [Wrede 1886: 40; Gamillscheg 1934, I: 356]. Сакральное и правовое значение длинных волос для германцев общеизвестно. Прежде всего вспоминаются «длинноволосые короли» Меровинги, для которых стрижка означала отрешение от власти (в истории – всегда насильственное). Не лишне напомнить, что свободные готы назывались, по Иордану, *capillati* 'простоволосые', 'длинноволосые': «Это имя и приняли готы в большинстве своем, и до сего дня они поминают его в своих песнопениях» [Get. 72]. Правовая сторона употребления термина *capillati* рассмотрена у Е.Ч. Скржинской [Скржинская 1997: 238–239]; в VI в. так обозначались лица варварского происхождения, то есть готы (Cass. Var. IV, 49). Упоминание же о «песнопениях» готов позволяет видеть в слове *capillati* латинский эквивалент имени **Hazdingōs* 'асдинги', так как это имя прочно связано с древнейшим эпическим на-

⁸ В готском засвидетельствованы такие продолжения и.-е. **leudh-* 'расти', как *liudan* (снгл. 2) 'расти', *ludja* (ж. р. *-jō*) 'лицо', *jugga-laups* (м. р. *-i*) 'юноша'.

⁹ Приводимое у Э. Гамильшега *hariwalds* 'Heeresbeamter', 'командир, военный' отсутствует в словаре В. Лемана [Lehmann 1986: 178–179] и должно считаться реконструкцией.

следуем и родовыми преданиями германцев. В древнеанглийской эпической поэме *Heardingas* упоминаются в строфе, посвященной руне \times (*Ing*) и в связи с преданием об уходе древнейшего божества Инга (*Ing*) на восток, за море, после чего Хеардинги обрели счастье, удачу (*hæ!*).

Обоснование культурной значимости волос, косы, гребня у древних германцев (и в частности, у восточногерманских племен) содержится в работе М.Б. Щукина. Исследователь указывает в связи с этим и на «свевский узел», и на изображения длинноволосых готов-телохранителей императоров Юстиниана и Феодосия (равеннские фрески, серебряное блюдо из Мадрида). Носители черняховской культуры со тщанием изготавливали гребни и очень часто помещали их в мужские и женские могилы [Щукин 2005: 176]. Примечательно, что в законодательстве вестготской Испании было предусмотрено такое наказание, как публичное унижительное обрезание волос [Клауде 2002: 148; Щукин 2005: 176].

С учетом древнегерманского культурного фона слова *granos* и *cinnabar* у св. Исидора Севильского предстают не случайной фиксацией бытовых обозначений, но указанием на характерные признаки готов, их отличие от римлян. В. Леман интерпретирует *granos* как ‘косы, косички’ (*pigtails*) [Lehmann 1986: 159], благодаря чему возникает ассоциация со «свевским узлом». Если это слово действительно обозначало косу (мужскую), то перед нами еще одно свидетельство о ритуальной роли этого вида прически у древних германцев при рассмотренном выше общегерм. **hazdaz* < и.-е. **kos-* ‘прическа, коса’.

При этом следует отметить, что этимологические параллели гот.-лат. *granos* (мн. ч.), *granus*, *grana* (ед. ч.) [Walde, Hoffmann 1938–1956, I: 619] имеют значение ‘усы’ – ср. др.исл. *grǫn*, др.-англ. *granu*, др.-верх.-нем. *grana* ‘усы’. Эти параллели восходят к и.-е. **ghren-* ‘край, грань’ (< **gher-*, **ghr-ē-n-*), ср. русск. *грань*. Важно, что значение ‘волосы’ эта основа получает в кельтском: ср. такие примеры, как ср.-ирл. *greinn* ‘борода’, валлийск. *gran* ‘ресница’, галльск. **grennos* (реконструкция на основе ст.-франц. *grenon* ‘борода’ и др.). Примечательным образом в рейнском ареале поздней античности существовала мифологическая фигура *Mercurius Grannos*, которую исследователи сопоставляют с некоторыми аспектами образа Водана – ср. *Síð-grani* как прозвище Одина [Enright 1996]. Можно видеть, что и *granos* ‘усы’ непосредственно относятся к мифоритуальной сфере древних германцев. Однако, думая о том, были ли вестготские *granos* ‘косичками, косами’ или ‘усами’, следует принимать во внимание, что у знаменитого свева (находка из Северной Германии [Germanen 1976: Tafel 27; Щукин 2005: 176]) коса гораздо богаче усом, готы-придворные представлены на указанных выше изображениях безусыми, а на известной монете Теодориха Великого (пусть и при определенной тирафретности монет этой эпохи) король остготов изображен длинноволосым (прическа «пажа»), безбородым (по римской моде) и, возможно, лишь с небольшими усиками.

Слово *cinnabar* давно этимологизировано как готский композит **kinnu-bards*: ср. гот. *kinnus* к греч. *στρυών* ‘щека’ (Мф. 5,39; Лк. 6,29) [Lehmann 1986:218], крым.-гот. *bars* ‘борода’. Однако и здесь возникает вопрос о том, какую именно реалию обозначало рассматриваемое слово, поскольку и.-е. **gen-u* имеет значение ‘щека’ (ср. греч. *γένυς* ‘щека’), а общегерм. **kinnuz* ‘щека, подбородок’. Соответственно, *cinnabar* может обозначать как бородку (волосы на подбородке; совр. нем. *Kinnbart*), так и бакенбарды (волосы на щеках). Х. Вольфрам в связи с этим говорит о «так называемой эспаньолке» [Вольфрам 2003: 33, прим. 131]. Если это действительно так, то традиционный образ испанского дворянина с усами и эспаньолкой находит свой прототип в готском воине с его *granos* и *cinnabar*, и испанец оказывается «готом» (*Godo*) не только по своему германскому имени и истокам рода, но и по внешнему облику.

Описание короля вестготов Теодориха (Теодориха) II у Аполлинария Сидония гласит: «У него красиво закругленная голова, и кудрявые волосы на ней уложены назад от гладкого лба... Обе надбровные дуги увенчаны густыми бровями. Когда же он прикрывает веки, кончики его ресниц достают почти до середины щек. Уши и мочки ушей по варварскому обычаю закрыты зачесанными назад волосами. Нос имеет благородную

горбинку. Губы тонкие, и никакое растяжение уголков рта не делает их форму грубой. Волосы, растущие под ноздрями, он ежедневно обрезает. Растительность на лице густо растет на слегка закругленных висках, однако если на нижней половине лица пробивается борода, ее постоянно сбривает брадобрей, так что щеки выглядят как у молодого человека» (цит. по [Вольфрам 2003: 290]). Этот контекст не позволяет прийти к однозначному выводу. Слово *granos* здесь могло обозначать либо косицы длинных, зачесываемых назад волос, либо усы – «волосы, растущие под ноздрями», которые король «ежедневно обрезает», но не сбривает. Что же касается *cinnabar*, то ясно, что эта деталь мужской прически располагалась не посреди щек и не на нижней половине лица, а составляла некое обрамление, будь то густые волосы на висках (недлинные бакенбарды) или мысок волос на подбородке при гладко выбритых щеках (эспаньолка, о которой в тексте прямо не говорится). Разумеется, прическа короля, во многом следовавшего римской моде, могла отличаться от прически готского воина, однако приведенное описание все же позволяет уяснить некоторые детали внешнего облика.

Вернемся к перечисленным выше общественно-правовым терминам. Лат.-гот. *guardianus* (3 случая употребления) ‘страж, стражник, телохранитель’ имеет убедительную параллель в виде гот. *wardja* ‘страж, сторож’ (м. р.; вин. п. мн. ч. *wardjans* к греч. (ἔχειν) *κουστωδίαν* – Мф. 27,65 [Lehmann 1986: 394]), для [*comes*] *scanciarum* ‘придворная должность’ восстанавливается исходное готское **skankja* ‘виночерпий’ [Gamillscheg 1934, I: 356]. И лишь этимологизация лат.-гот. *thiufadus* ‘*millenarius*’, ‘тысячник (на ранг ниже комита)’, *thiufada*, *thiufadia* ‘воинское подразделение под командованием *thiufadus* сопряжена с некоторыми трудностями. Греч. χιλίαρχος ‘тысячник’ передается в классическом готском как *busundifaps* (м. р. -i) (Ин. 18,12); ср. также *busundifadaim* (дат. п. мн. ч.) в контексте Мк. 6,21. Поскольку звуковой облик латино-готского и классического готского обозначения тысячника сильно различаются, приходится признать, что это разные слова с общим вторым компонентом *-faps* ‘господин’ < и.-е. **patis* ‘господин’. Эта основа не встречается в готском в виде самостоятельной лексемы, но хорошо засвидетельствована как второй компонент сложных слов – ср., помимо *busundifaps*, гот. *hundafaps* ‘сотник’, *brupfaps* ‘жених’ [Lehmann 1986: 82, 194, 367–368] и особенно *swnagogafaps* к греч. ἀρχισυνάγωγος ‘начальник синагоги’. Последний случай указывает на продуктивность этого компонента в синхронии (ср. [Lehmann 1986: 82–83]), фактически – на переход его в разряд полусуффиксов-германизмов.

Э. Гамильсег выдвигает две возможные причины, по которым вестготский «тысячник» обозначается словом, отличным от гот. *busundifaps*: 1) утрата числительного *busundi* ‘тысяча’ в позднем вестготском (аналогично крымско-готскому); 2) употребление существительного с обобщенным значением ‘командир, офицер’, восходящего к гот. **piu-faps* букв. ‘начальник слуг’ – ср. гот. *pius* (м. р. -wa) ‘слуга, раб’ и др. [Gamillscheg 1934, I: 356–357]¹⁰. Первое положение не поддается верификации, а второе представляется наиболее экономным решением. Возможно, в определенную эпоху значение «командир» стало более важным, чем указание на численность воинского подразделения, находившегося в подчинении у этого командира. Более того, следует задуматься, имело ли латинское слово *millenarius* значение ‘тысячник’ в применении к реалиям вестготской (а не римской) армии¹¹.

Более сложный путь – реконструкция модели типа **tigu(-hunda-)faps* ‘тысячник’ и предположение о синкопе. Эта версия, выдвигаемая мною лишь в интересах полноты осмысления, основана на функционировании в готском языке разных моделей числительных – ср. *hunda* ‘сто’ (Мр. 14,5; Лк. 7,41; в обозначении 300 и 500, а также в композите (*hundafaps*) и *taihuntetund/taihuntaihund* ‘сто’ (только Лк. 15,4 и 16,6–7).

¹⁰ Гот. *pius* ‘слуга, раб’ – см. [Lehmann 1986: 362]. К сожалению, лат.-гот. *thiufadus* в словаре В. Лемана не рассматривается.

¹¹ Ср. русск. *десятник* – обозначение начальника рабочих на стройках. Изначально это слово связано с идеей о командовании десятью рабочими, но при переводе на иностранные языки это слово должно снабжаться пояснением «бригадир», «распорядитель на стройке» и т.п.

Гот. *þusundi* (ж. р. *jō*) ‘тысяча’ – германо-балто-славянская изоглосса, продолжение и.-е. **tūs-kmtom* ‘большая / толстая сотня’ – также могло иметь готский коррелят, образованный при помощи основы **tēhun/tīgūn* ‘десять / десяток’. Слово «тысячник», образованное по такой модели, должно было восприниматься носителями латыни как труднопроизносимое и могло быть упрощено при заимствовании в латынь. Однако начальный *th-* (без исключений) в латинских памятниках скорее указывает на германский **þ-*, что подтверждает предложенную Э. Гамильшегом реконструкцию **þiu-faps* ‘командир, офицер’. При этом слово *thiufada*, *thiufadia* может являться производным от **þiu-faps*, и в таком случае должно возводиться к вестгот. **þiu-fadjo*, но может и отражать гот. *þiwadw* (ср. р. ?) ‘подчинение’ (в классическом готском – к греч. *δουλεία* ‘рабство’, Гал. 4,24 [Lehmann 1986: 362]), хотя последнее менее вероятно. В любом случае Э. Гамильшер подчеркивает, что подобное многообразие этимологических решений свидетельствует о разрушении (*Zersetzung*) готского языка в середине VII в. [Gamillscheg 1934, I: 358], или, иначе говоря, о переходе готского языка в статус реликтового.

И наконец, лат.-гот. *gasaljanēs* ‘члены монастырской общины’, отмечаемое в ряде латинских грамот из Испании, имеет своим прототипом гот. **gasalja* – *ga-*компонит от глагола *saljan* ‘селиться, жить, обитать’ (слгл. 1), в переводе Св. Писания – к греч. *ξενίζεσθαι* ‘пребывать, гостить’ (1 Кор. 16,7), ср. также *us-saljan* к греч. *καταλυσαι* ‘размещаться, расселяться’ (Лк. 19,7), *salipwos* (ж. р. *-o*, мн. ч.) к греч. *ξενία, μονή* ‘гостиница’ (Ин. 14,2) [Lehmann 1986: 293]. Й. Пиль и Д. Кремер отмечают, что указанное слово могло также иметь значение ‘сожителю, супруги’ – ср. контекст грамоты из монастыря Мореира (914 г.), где речь идет о женщине, не свободной от своего сожителя («*a suo gasaljane*») [Piel, Kremer 1976: 40]. Очевидно, *gasalja* этой женщины был ее законным супругом, коль скоро он имел право препятствовать ее поступлению в монастырь (ср. употребление термина ‘*Gatte*’ у Й. Пиль и Д. Кремера). Можно видеть, что готское слово позволяет обозначить понятие «сожителюство» без каких-либо дополнительных коннотаций: на первый план выводится совместное проживание людей на определенной территории, будь то монастырская братия или супруги. В отношении монастырского обихода *gasaljanēs* этимологически соответствует русск. *насельники*, но выясняется, что диапазон применения готского термина был более широк и мог касаться совместного проживания супругов.

В отношении связей вестготских апеллятивов и имен собственных следует указать на вестготские имена *Astaldus* и *Gardingus*. Отмечая такую корреляцию, нужно иметь в виду общую тенденцию к пополнению позднеантичного и раннесредневекового ономастикона именами, одновременно представляющими собой апеллятивы – обозначения социального статуса (как правило, высокого). Так, например, *Senator* было личным именем деятеля, известного ныне почти исключительно как Кассиодор (*Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator*); ср. также лат. *Patricius* ‘Патрикий’ и древнерусское имя *Воин*.

Исследование готских апеллятивных реликтов в латинских памятниках позволяет заключить, что письменной фиксации подвергались наиболее распространенные восточногерманские правовые термины и обозначения древнегерманских мифологических или культурных реалий, то есть слова, относящиеся к безэквивалентной лексике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Альтамира-и-Кревеа 2003 – Р. Альтамира-и-Кревеа. История средневековой Испании / Пер. с исп. Е.А. Вадковской, О.М. Гармсен. СПб., 2003.
- Вольфрам 2003 – Х. Вольфрам. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической этнографии) / Пер. с нем. Б.П. Миловидова, М.Ю. Некрасова; под ред. М.Б. Щукина, Н.А. Бондарко, П.В. Шувалова. СПб., 2003.
- Гамкрелидзе; Иванов 1984 – Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. К реконструкции праязыка и протокультуры. Т. I–II. Тбилиси, 1984.
- Ганина 1990 – Н.А. Ганина. К этимологической интерпретации гот. *skohsl* // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1990. № 5.
- Ганина 2001 – Н.А. Ганина. Готская языческая лексика. М., 2001.

- Ганина 2008 – *Н.А. Ганина*. Готские языковые реликты: Дис. ... докт. филол. наук. М., 2008.
- Иордан 1997 – *Иордан*. О происхождении и деяниях гетов (*Getica*) / Вступит. ст., пер., коммент. Е.Ч. Скржинской. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1997.
- Клауде 2002 – *Д. Клауде*. История вестготов / Пер. с нем. С.В. Иванова. СПб., 2003.
- Ковалевский 1956 – *А.П. Ковалевский*. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Харьков, 1956.
- Скржинская 1997 – *Е.Ч. Скржинская*. Иордан. *Getica*. Комментарий. СПб., 1997.
- Снорри Стурлусон 1980 – *Снорри Стурлусон*. Круг Земной / Изд. подгот. А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. М., 1980.
- Трубачев 1967 – *О.Н. Трубачев*. Из славяно-иранских лексических отношений // *Этимология* 1965. М., 1967.
- Щукин 2005 – *М.Б. Щукин*. Готский путь: Готы, Рим и черняховская культура. СПб., 2005.
- Beck 1967 – *I. Beck*. Studien zur Erscheinungsform des heidnischen Opfers nach altnordischen Quellen. Diss. München, 1967.
- Bradke 1886 – *P. von Bradke*. Beiträge zur altindischen Religions- und Sprachgeschichte // *Zeitschrift für Deutsche Morgenländische Gesellschaft*. Bd 40. 1886.
- Cleasby, Vigfusson 1957 – *R. Cleasby, G. Vigfusson*. An Icelandic-English dictionary / Initiated by R. Cleasby; revised, enlarged and completed by G. Vigfusson. Oxford, 1957.
- Ellis 1968 – *H.R. Ellis*. The road to *hel*. New York, 1968.
- Enright 1996 – *M.J. Enright*. Lady with a mead cup. Ritual, prophecy and lordship in the European warband from La Tène to the Viking age. Blackrock (Dublin); Portland, 1996.
- Feist 1939 – *S. Feist*. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3. Aufl. Leiden, 1939.
- Gamillscheg 1934 – *E. Gamillscheg*. Romania germanica. Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Römerreichs. Bd I. Berlin, 1934.
- Germanen 1976 – Die Germanen. Ein Handbuch in 2 Bd. Bd 1. Berlin, 1976.
- Grimm 1854 – *J. Grimm*. Deutsche Mythologie. Göttingen, 1854. Bd I–II [Nachdr. Graz, 1968].
- Güntert 1923 – *H. Güntert*. Der arische Weltkönig und Heiland. Bedeutungsgeschichtliche Untersuchungen zur indo-iranischen Reigionsgeschichte und Altertumskunde. Halle (Saale), 1923.
- Höfler 1963 – *O. Höfler*. Der Rökstein und die Sage // *Arkiv för Nordisk filologi*. Bd 78. 1963.
- Lehmann 1986 – *W.P. Lehmann*. A Gothic etymological dictionary. Based on the 3-d ed. of Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache by Sigmund Feist. Leiden, 1986.
- Mayrhofer 1953–1980 – *M. Mayrhofer*. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1956–1980–.
- Piel, Kremer 1976 – *J.M. Piel, D. Kremer*. Hispano-gotisches Namenbuch. Heidelberg, 1976.
- Pokorny 1959 – *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd I–II. Bern; München, 1959.
- Polomé 1953 – *E. Polomé*. L'etymologie du terme germanique **ansuz* 'dieu souverain' // *Études Germaniques*. V. 8. 1953.
- Scardigli 1964 – *P. Scardigli*. Lingua e storia dei Goti. Firenze, 1964.
- Tjäder 1981 – *J.-O. Tjäder*. Note per l'interpretazione del misterioso 'hugsis' nel *pap. Marini 118* // R. Avesani, G. Billanovich, M. Ferrari, G. Pozzi (eds). *Miscellanea Augusto Campana*. V. II. Padova, 1981.
- Vries de 1956–1957 – *J. de Vries*. Altgermanische Religionsgeschichte. 2. Aufl. Bd I–II. Berlin, 1956–1957.
- Vries de 1962 – *J. de Vries*. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1962.
- Wagner 1993 – *N. Wagner*. Thela/Okla*, Tzeioug und ähnliche // *Beiträge zur Namenforschung*. Neue Folge. Bd 28. 1993.
- Walde, Hoffmann 1938–1956 – *A. Walde*. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3., neubearb. Aufl. von J.B. Hoffmann. Heidelberg, 1938–1956.
- Wrede 1886 – *F. Wrede*. Über die Sprache der Wandalen. Straßburg; London, 1886.
- Wrede 1891 – *F. Wrede*. Über die Sprache der Ostgoten in Italien. Straßburg, 1891.

Сведения об авторе:

Наталья Александровна Ганина
МГУ им. М.В. Ломоносова
ganina@philol.msu.ru

Статья поступила в редакцию 17.01.2013.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

A.A. Kibrik. Reference in Discourse. Oxford: Oxford university press, 2011. 651 с.

Референциальные механизмы языка являются одним из немногих абсолютно универсальных элементов человеческого языка – такими же как, например, сегментная фонетика или синтаксис. Связано это, очевидно, с тем, что основной функцией языка является описание ситуаций и участвующих в этих ситуациях объектов реального мира. Такая постановка вопроса, вообще говоря, ставит референцию вне сферы интересов, например, структурализма. До конца XX века работы отечественных лингвистов, относящиеся к теории референции, за редкими исключениями лежали в русле логического анализа языка – единственной в то время распространенной альтернативы структурализму [Арутюнова 1982; Падучева 1985] – и не имели выхода в междисциплинарное измерение. Рецензируемая книга находится в ином поле лингвистического анализа – с самых первых страниц автор акцентирует внимание на том, что речь идет о когнитивном анализе языковых механизмов референции в дискурсе; автор подчеркивает, что, по его мнению, грамматика в целом возникла для обслуживания целей организации дискурса (например, с. 76).

Два этих измерения книги – анализ референции в дискурсе, с одной стороны, и попытка моделирования отвечающих за референцию когнитивных процессов, с другой, – очевидно, тесно связаны друг с другом. Смещение фокуса внимания от высказывания к тексту очевидно и в работах других российских исследователей референции, например Е.В. Падучевой. Тем не менее подход А.А. Кибрика существенно отличается ориентацией на дискурс как на реальное речевое взаимодействие, а не на текст как языковой «артефакт» (хотя и анализ художественного текста в книге учитывается, например в главах 11 и 12 для русского и английского языков соответственно). Кажется достаточно ясным, что переход от анализа референции в

предложении к тексту и особенно к дискурсу тесно связан с рассмотрением языкового взаимодействия в более широком контексте исследования межличностного взаимодействия и человеческого поведения вообще. Локальные, действующие внутри предложения механизмы поддержания референции – рефлексивизация, релятивизация, логофоричность – высоко грамматичны в традиционном смысле этого слова и часто описываются в грамматиках. Их можно рассматривать вне моделирования языкового взаимодействия (конечно, функциональный подход к лингвистическому анализу и для описания локальных механизмов апеллирует к внеязыковым факторам). Поэтому, например, современная генеративная парадигма, с ее акцентом на анафорические отношения, парадоксальным образом вообще никак не связана с той перспективой исследования референциальных механизмов, которая принимается в книге, и даже является в определенной степени ее антитезой. В генеративной парадигме референциальные механизмы рассматриваются в первую очередь локально и вне речевого контекста, важна не референция как соотносительность элементов высказывания с элементами (представления о) действительности, а кореферентность как соотносительность элементов высказывания между собой. Здесь генеративная грамматика, с ее фокусом на *competence*, а не *performance*, является очевидным продолжением структуралистской традиции. При подходе, принятом в рецензируемой книге, механизмы установления отношений локальной кореференции являются частным и не обязательно центральным случаем референциальных механизмов. Последние отвечают за поддержание кореферентных отношений в широком смысле в дискурсе (тексте) и в целом за соотношение референциальных выражений с действительностью. Более того, такие механизмы могут

быть соотнесены с незвуковыми средствами поддержания референции – указательными жестами, обсуждаемыми в заключительной, пятнадцатой главе. Корпусному подходу и тому, что сам автор называет многофакторным когнитивным подходом к анализу референции в дискурсе, посвящена четвертая часть книги (главы с 10 по 14).

Третья составляющая подхода относительно независима от первых двух – автор пытается понять суть референции через анализ языкового разнообразия референциальных механизмов, а не только через анализ данных конкретных отдельных языков. При этом целью оказывается классификация не просто языковых средств, а в целом языковых типов (ср. классификацию языков на агглютинирующие и кумулирующие или изолирующие и синтетические) – классификация референциальных профилей языков мира. Если, как только что было сказано, к дискурсивному анализу референции автора обязывает само понимание объекта исследования, то использование типологического метода в каком-то смысле является выбором автора; те же представления о референции могут исповедовать и работы по конкретным языкам. Тем не менее, выбор этот осуществляется вполне последовательно и особенно широко представлен во второй и третьей части исследования.

Как нам кажется, совмещение типологической и когнитивной или корпусной перспектив не может быть вполне последовательным – по большинству упоминаемых в книге языков просто нет ни экспериментальных данных, ни корпусов сколько-нибудь значительного объема. Автор считает, что это вопрос времени. Нам представляется, однако, что здесь мы сталкиваемся не просто с проблемой локального, временного недостатка эмпирического материала, но в целом с дисбалансом между методами исследования и уровнем интереса к материалу малых и крупных языков. Такая ситуация в обозримом будущем вряд ли изменится. Если она и может измениться гипотетически, к этому времени значительной части цитируемых в книге языков уже не будет существовать. (В этом смысле особенно ценно, что в некоторых главах книги обсуждаются результаты исследований по различным малым языкам – навахо, пулар, серер – причем некоторые из этих исследований осуществлены самим автором). Тем не менее, такой двойственный подход существенно и положительно выделяет рецензируемую книгу среди исследований по данной проблематике – комбинируя когнитивно-корпусной и типологический подходы, автор последовательно проецирует теоретические инсайты о природе референции, полученные из богатого

материалом эмпирического анализа структуры дискурса, на анализ куда более бедных данных о языковом разнообразии соответствующих механизмов. Если считать референциальные механизмы универсальным когнитивно мотивированным компонентом языковой системы (такова позиция автора), такая проекция оказывается вполне оправданной. Принимая теоретические выводы из анализа данных отдельных, относительно хорошо исследованных языков типа русского или английского или даже пулар, за компоненты универсальной модели референции, автор затем применяет эти модели для описания тех языков, по которым мы едва ли имеем достаточно подробные грамматические описания. Такой подход может казаться методологически небезупречным (неясно, например, почему анализ использования независимых местоимений в английском должен быть переносим на независимые местоимения языков гур – оба языка отнесены к одному типологическому профилю), но он является единственно возможным для применения дискурсивного анализа референции к широкому эмпирическому материалу: с одной стороны, дискурсивный анализ необходим для понимания природы языковой референции, с другой, независимое обоснование такого понимания невозможно построить на данных каждого отдельного языка.

Книга имеет достаточно сложную иерархическую структуру и состоит из шестнадцати глав, сгруппированных в пять частей – вводная часть (главы 1 и 2), типология редуцированных референциальных выражений (*reduced referential devices*; главы 3–7), типология средств разрешения референциальных конфликтов (*referential aids*; главы 8 и 9), когнитивный анализ механизмов выбора референциальных средств (главы 10–14), рассмотрение референции в более широкой перспективе внеязыковых дейктических средств (глава 15) и заключение (глава 16). Части вторая, третья и четвертая для удобства снабжены собственными краткими вступлениями и заключениями.

Части 2 и 3 посвящены типологии редуцированных референциальных выражений (*reduced referential devices*; RRD) и средствам предупреждения референциального конфликта (*referential aids*; RA) соответственно. Различие между этими двумя связанными с поддержанием референции языковыми механизмами является для автора центральным. Анализ RRD описывает выбор полного (именная группа) или сокращенного (местоимение, местоименный показатель или нулевая анафора) типа номинации, причем доступность последнего определяется степенью активации соответ-

ствующего референта в сознании участников речевого акта. Указание на высокую степень активации, таким образом, оказывается основной языковой функцией прономинальных средств и нулевой анафоры. Типология RA описывает те средства, к которым прибегает язык в случае, если в дискурсе присутствуют одновременно два референта с высокой степенью активации, претендующих на использование RRD. Язык может прибегать к различным, в том числе и грамматическим, средствам для снятия или предупреждения референциального конфликта. По крайней мере для некоторых из таких средств данная функция является не основной, а сопутствующей (например, показатели рода). И во второй, и в третьей части на первый план выходит типологическая перспектива исследования референции. Различение RRD и RA не кажется нам совершенно непроблематичным в конкретных случаях; мы вернемся к нему ниже при обсуждении главы 8.

В части второй речь идет о референтах – нелокуторах (т. е. участниках, отличных от говорящего и слушающего), в первую очередь – но не исключительно – одушевленных участниках. Автор предлагает типологию, согласно которой языки мира характеризуются одним из трех возможных типологических профилей – использование независимых местоимений (3.2), использование морфологических местоименных показателей (3.3) и использование нулевой референции (3.4). Такую таксономию автор считает более удачной, чем деление языков на Pro-drop vs. Non-Pro-drop (ср. достаточно убедительную аргументацию на с. 77). При обсуждении каждого из трех типов рассматриваются демонстрируемые этими типами ареальные и генеалогические предпочтения (например, языки Юго-Восточной Азии в случае нулевой референции), их типологические корреляты (или значимое отсутствие корреляций – как, например, отсутствие в языках выборки WALS корреляции между языками, профилирующими независимые местоимения, и степенью синтетизма), а также некоторые связанные с данной проблематикой теоретические проблемы (например, статус аргументных именных групп в языках с развитой системой морфологических местоименных показателей). В связи с последней проблемой автор (со ссылкой на [Mithun 2003]) убедительно отстаивает точку зрения, согласно которой именные группы в таких языках не обязаны иметь особый «внесинтаксический» статус типа топики. Речь может идти о двоякой референции, при которой одна и та же дискурсивная функция выполняется параллельно именной группой и местоименным по-

казателем (то же имеем в случае репризы, выраженной клитическим местоимением). Отказ от такой интерпретации, представляющейся автору единственно возможной и прямо вытекающей из эмпирических данных, является, с его точки зрения, следствием дедуктивного, теоретического положения, согласно которому в клаузе каждому аргументу соответствует лишь одна аргументная позиция.

При этом автор подчеркивает, что каждый из рассматриваемых профилей является лишь идеализированным языковым типом, так что в качестве примеров рассматриваются лишь самые яркие представители этих типов (абхазский для второго и японский для третьего профиля).

Термин *reduced*, возможно, недостаточно эксплицитен: повторные упоминания референта могут сокращаться не только до местоименной морфемы, но и, например, до вершинного имени (*высокий человек со шрамом* → *человек*). Такие упоминания тоже естественно было бы называть сокращенными (*reduced*). Конечно, это вопрос чисто терминологический, и, раз определив, что он имеет в виду под RRD, автор вполне избегает опасности быть понятым неправильно. Тем не менее остается неясным, почему эти средства нельзя назвать, например, неименными (*non-nominal*), что было бы более прозрачно и покрывало бы как местоимения и местоименные показатели, так и нулевую референцию, при этом, кажется, не включая никаких других средств.

Важным для автора оказывается обсуждение в рамках предлагаемой им классификации статуса местоименных клитик (с. 82–89). Он настаивает на помещении местоименных клитик и свободных местоимений в один класс, указывая на то, что в литературе не проводится последовательного разделения этих двух типов и особенно на то, что многие местоимения, которые традиционно считаются независимыми, например в английском или в русском языках, при более внимательном изучении оказываются простыми клитиками (*simple clitics*; т. е., согласно определению [Zwicky 1985], клитики, являющиеся клитической реализацией самостоятельных словоформ). При этом для некоторых языков, для которых проводились соответствующие подсчеты, клитические реализации местоимений заметно преобладают над просодически самостоятельными, причем именно последние являются маркированными, требуя особых контекстных, часто прагматических (контраст) условий.

Вполне отдавая себе отчет в нечеткости границы, автор тем не менее противопоставляет независимые местоимения вкуче с местоименными клитиками связанным местоименным

показателям. В этой связи он дискутирует с Сиверской [Siewierska 2004], которая предлагает более дробную, скалярную классификацию местоименных средств, и Хаспельматом, который считает клитики, вместе с аффиксами, связанными формами (*bound forms*), в отличие от канонических словоформ, обладающих просодической самостоятельностью. Кажется, это полемическое упрощение позиции Хаспельмата, который вполне отдает себе отчет в двойственной природе клитик [Haspelmath, Sims 2010: 196]. Помещая клитики и аффиксы в один класс с точки зрения просодии, он указывает, что клитики при этом являются самостоятельными синтаксическими словами. Особенность клитик заключается как раз в том, что они по-разному группируются в зависимости от принятых оснований классификации, от перспективы анализа. А.А. Кибрик, который смотрит на местоименные показатели с позиций дискурсивного анализа, очевидно более близкого к синтаксической перспективе, защищает помещение местоименных клитик в один класс со свободными местоимениями. С нашей точки зрения, это никак не отменяет взгляд на клитики с другой, просодико-морфологической стороны (вполне уместной в цитируемом учебнике морфологии Хаспельмата) и помещение их в один класс с аффиксами. Это всего лишь вопрос выбора перспективы.

Объясняя особые формальные свойства местоименных клитик через общую тенденцию к просодической редукции активированной информации, автор далее справедливо указывает, что отнесение таких референциальных средств к независимым местоимениям или аффиксам (или придание им промежуточного статуса) требует особого исследования. Не вполне ясно, однако, почему, последовательно обсуждая функциональные (например, контрастивность) и формальные (фонетическое «опрощение») различия между двумя типами независимых местоимений – клитическими и полными, – автор несколько неожиданно делает жесткий вывод о том, что между этими типами нет существенных языковых различий (с. 85). Интуитивно кажется, что небинарный подход к классификации местоименного материала был бы полезен и для некоторых концепций, развиваемых в книге (например, диахроническая эволюция RRD, обсуждаемая в главе 7); поэтому бинарный подход требует, на наш взгляд, более подробного обоснования.

Глава 7 по сути является серией очерков о диахронии морфологических местоименных показателей в трех языковых группах – атапасских, романских и славянских языках. Для каждой из групп для обозримости данных и литературы выбран один язык, материал кото-

рого рассматривается в первую очередь – навахо, французский и русский соответственно. Дополнительно, в качестве сопоставительного (в первую очередь, для славянских языков) фона, используются данные германских языков. Автор предлагает считать, что в каждом случае – иногда для группы в целом, иногда для отдельных ее представителей – речь идет об эволюции языковых систем в сторону одного из двух полюсов шкалы «местоименности» RRD-профиля языка (*pronoun saliency*) – к нулевой референции или к морфологическим местоименным показателям. (Согласно принятому в книге подходу, лично-числовые окончания в латыни или старославянском не отличаются по своей языковой природе от морфологических местоименных показателей, например, в абхазо-адыгских языках: и те и другие относятся в классификации автора к RRD.) Согласно этой модели, французский язык утратил унаследованные им от латыни морфологические местоименные (лично-числовые) показатели. Их место, однако, заняли бывшие независимые местоимения, которые прошли через стадию независимых аргументных местоимений и к настоящему моменту уже приблизились к статусу морфологических местоименных показателей (автор является сторонником противоречащего грамматической традиции, но достаточно распространенного полисинтетического анализа французской глагольной словоформы и сравнивает ее с западнокавказским глагольным комплексом). Русский язык также прошел значительный путь от старославянского состояния: в результате утраты вспомогательного глагола перфект, перешедший в современный *л-претерит*, утратил местоименную (лично-согласовательную) морфологию, в связи с чем основной груз поддержания референции перешел на местоимения, и степень их обязательности заметно возросла. Основное измерение диахронических изменений в этой главе – это смещение языка к одному из полюсов шкалы местоименности (*pronominal saliency*), то есть увеличение или уменьшение использования местоименных средств в качестве RRD.

Часть 3. Типология средств предупреждения референциальных конфликтов (*referential aids*; RA). Референциальным конфликтом называется языковая ситуация, в которой на роль референта языкового выражения претендует одновременно несколько участников ситуации; средства их разрешения варьируют от достаточно тонких семантических интерпретаций контекста до высоко грамматикализованных, в том числе морфологических средств, таких, как средства переключения референции. Важно, что речь идет о средствах не разрешения

уже имеющего места референциального конфликта, а предупреждения потенциальных конфликтов. Как и в первой части, конечной целью автора является типология не самих средств (формулировка названия в этом смысле снова неточно отражает содержание, хотя первая глава части посвящена именно этой задаче), а языковых профилей, связанных с выбором тех или иных средств из типологического арсенала.

В главе 8 строится типология собственно RA. Автор различает адхоковые (связанные с прагматически возможными и невозможными интерпретациями контекста и ситуации) и конвенционализированные (лексико-семантические, или классифицирующие) средства. Конвенционализированные средства лежат в сфере грамматики и опираются на указание на класс, к которому относится референт, поэтому их также предлагается называть классифицирующими (*sorting*), причем различаются лексические и контекстные классификации (*stable vs. current sorting*). В свою очередь лексические классификации подразделяются на абсолютные и скалярные (*absolute vs. relative* – например, род, с одной стороны, и иерархия одушевленности, с другой), а контекстные – на текстовые и локальные (*broad vs. narrow domain*). В качестве локальных средств разрешения референциальных конфликтов рассматриваются такие средства, как переключение референции (*same subject /different subject marking*), логофоричность, подлежащность и маркирование топика и проч. Грамматические средства, областью определения которых является текст в целом, кажутся более редкими; в качестве примеров автор обсуждает «четвертое» лицо в навахо и противопоставление по проксимативности / обвиативности в алгонкинских языках. И в том и в другом случае в некоторый момент одному из участников описываемых событий, чаще всего одушевленному, приписывается особый статус, своего рода ярлык «главного протагониста». В дальнейшем, вне зависимости от дискурсивной дистанции, использование соответствующего маркера (четвертое лицо, обвиатив, проксиматив) указывает на «назначенного» на эту роль персонажа. В качестве независимого параметра типологического варьирования конвенционализированных средств разрешения конфликта автор рассматривает локус указания на класс референта – независимое местоимение, морфологический местоименный показатель на глаголе или другие глагольные аффиксы или сама глагольная основа.

В самом начале главы 8 автор включается в полемику относительно значимости референциальных конфликтов как языкового фено-

мена (с. 291). Согласно одной из точек зрения, референциальные конфликты периферийны и порождаются эффектом внешнего наблюдения; для носителя языка и культуры проблема правильного установления референции редко бывает по-настоящему остра. Если принять это положение, приходится сделать вывод, что исследуемые в части 3 механизмы не предназначены специально для разрешения конфликтов; кроме того, встает вопрос о границе между такими средствами и собственно RRD. Точка зрения автора промежуточна: с одной стороны, он подчеркивает, что ядром референции как языкового феномена является выбор между полной номинацией и одним из средств сокращенной номинации; с другой, проблема референциальных конфликтов все же имеет место, и, соответственно, специализированные средства их разрешения возможны (и, более того, существуют в любом языке).

Тем не менее, нельзя не заметить, что трактовка по крайней мере некоторых из обсуждаемых в этой части книги грамматических средств именно как средств разрешения референциальных конфликтов, а не особых RRD, кажется недостаточно обоснованной. Отчасти это связано с сознательной постановкой задачи: если бы рассматривались языковые средства, которые говорящий или адресат использует в ситуации действительного референциального конфликта, положения автора было бы защищать значительно проще. Но при выборе в качестве объекта анализа средств предупреждения таких конфликтов встает острая необходимость в отграничении их от тех средств, которые обсуждаются в части 2. Мы отнюдь не настаиваем здесь на ошибочности подхода или конкретных решений, выбранных в книге, – скорее, они кажутся нам недостаточно аргументированными. Пример аргументированного утверждения – наблюдение автора, согласно которому использование одного из таких средств в навахо более ожидаемо в условиях возможного референциального конфликта (с. 311); но такого рода аргументы должны приводиться для каждого из рассматриваемых в этой части книги средств по отдельности. Иначе остается неясным, почему, например, категория переключения референции является средством разрешения референциального конфликта, а не средством поддержания референции; отсутствие необходимых аргументов скорее льет воду на мельницу тех, кто отказывает данной проблеме в релевантности для построения теоретических моделей референции в человеческом языке.

Аналогичный вопрос возникает при сравнении систем типа навахо или алгонкинских проксимативов ~ обвиативов с рассматриваемыми

в части 5 указательными жестами в виртуальном пространстве нарратива. Параллель напрашивается сама собой – и в том, и в другом случае в определенной точке нарратива задается система координат (виртуальное пространство в случае жестов, дискурсивное пространство в случае языка навахо), после чего выбор референта осуществляется использованием указания на положение его в этой системе координат (использованием указательного жеста или особого грамматического показателя четвертого лица соответственно). Тем не менее системы типа навахо и алгонкинских трактуются как средства предупреждения референциального конфликта, а виртуальные индексальные жесты в нарративе считаются RRD.

Кроме того, по крайней мере для рода (согласовательного класса) в его обычном понимании функция разрешения референциальных конфликтов является вторичной по отношению к функции поддержания синтаксической связности; вопрос о том, относится ли контролируемое именованными группами согласование личных (или выступающих в их роли указательных) местоимений собственно к категории рода, остается открытым. (Впрочем, автор высказывается по этому поводу довольно осторожно и, со ссылкой на [Corbett 2006], использует термин «анафорическое согласование».) Те же оговорки вызывает обсуждение в этой связи средств выражения логофоричности: при наиболее распространенном понимании этой категории ее функцией является изменение дейктической перспективы, а не разрешение референциального конфликта. Эта проблема лишь кратко затрагивается в главе 9 (ср. заключение на с. 359). Таким образом, функциональная однородность обсуждаемых в этой части грамматикализованных средств разрешения референциальных конфликтов и их отграничение от собственно RRD, если продолжать пытаться жестко разграничить эти две группы референциальных механизмов, требует, как нам кажется, дополнительного обоснования.

В следующей, 9-й, главе арсенал RA и параметры их варьирования используются для определения типологического профиля языков – того набора лингвистических средств, которые они выбирают для предупреждения референциального конфликта. Среди прочего, два раздела посвящены детальному анализу двух конкретных африканских языков – серер и пулар; оба языка имеют сложную систему именных классов, но различаются в смысле использования этой системы в качестве RA. В заключении главы (и части книги в целом) автор снова указывает на второстепенный характер RA по сравнению с RRD.

Если обсуждаемая выше вторая часть книги посвящена типологии референциальных средств указания на участника с высоким уровнем активации, характеризующихся определенными формально-функциональными особенностями (сокращенные референциальные выражения, или RRD), то четвертая часть представляет из себя когнитивно ориентированное исследование совокупности дискурсивных факторов, вносящих вклад в активацию того или иного референта. Степень активации референта отражает его статус в рабочей памяти и определяется в рамках предлагаемой модели как некая (количественная) функция от совокупности дискурсивных факторов и свойств самого референта. Кроме того, в этой части обсуждается еще одна когнитивная система, взаимодействующая с механизмами языковой референции – система в н и м а н и я (*attentional system*). Различие между вниманием и рабочей памятью автор формулирует следующим образом: внимание контролирует эксплицитное упоминание референта путем использования того или иного референциального выражения (в том числе и полной именной группы), а рабочая память определяет выбор референциального выражения – полной именной группы или сокращенного референциального выражения (RRD); этот выбор отчасти контролируется необходимостью избежать референциального конфликта (ср. анализ RA в части 3).

В понимании автора, когнитивный подход в лингвистическом исследовании – это попытка посмотреть на лингвистические данные через призму того, что известно о когнитивных механизмах из других дисциплин. Речь идет об исследованиях рабочей памяти, внимания и их взаимодействия (глава 10), в том числе методами квантитативного корпусного анализа (главы 11, 12, 13, раздел 2 главы 14). Когнитивные науки являются для автора по отношению к лингвистике не только донором. Описываемые в главе 13 лингвистические методы количественного анализа уровня активации референта в тексте опираются на общие, несобственно лингвистические принципы и положения анализа рабочей памяти, используемые в психологии и других когнитивных науках, но при этом вносят и свой собственный вклад в понимание и моделирование работы человеческой памяти и внимания. В этой части книги анализируются в первую очередь квантитативные данные нескольких крупных языков, по которым накоплен достаточно большой экспериментальный и корпусной материал (английский в главе 12, русский в главе 11, также японский в третьем разделе главы 14). Автор кратко затрагивает перспективу осуществления аналогичных исследований на данных других, в том числе ма-

лых языков (например, на с. 498); выше мы уже высказывали определенные опасения в связи с реалистичностью таких прогнозов.

В последней пятой части референциальные механизмы человеческой коммуникации рассматриваются в более широкой перспективе. Речь идет об указательных жестах в трех разных сферах коммуникации: собственно указательные жесты в дискурсе, их функциональные аналоги в жестовых языках, а также виртуальные указательные жесты в нарративе. Книга в целом посвящена звучащим языкам, и неголосовые средства референции обсуждаются только в этой части, состоящей из единственной главы. Акцент на дейктических жестах объясняется несколькими очевидными факторами. Во-первых, согласно некоторым концепциям языковой эволюции, указательные жесты предшествовали голосовой коммуникации (например, [Томаселло 2011]). Во-вторых, из всех средств неголосовой коммуникации именно указательные жесты наиболее тесно связаны с поддержанием референции. В-третьих, несмотря на кажущуюся однородность постановки задачи, оказывается, что три рассматриваемые типа жестикуляции существенно различаются и позволяют взглянуть на указательные жесты с разных точек зрения. В обычном дискурсе указательные жесты служат вспомогательным референциальным механизмом и связаны в первую очередь с реальным пространством и видимыми референтами. В жестовых языках аналогичные элементы являются основным средством поддержания референции, аналогичным указательным и личным местоимениям звучащего языка (ср. также дрейф указательных местоимений некоторых языков от пространственного дейксиса к анафоре). Исследования русского жестового языка позволяют автору определить его типологический профиль в терминах второй части книги и охарактеризовать его как язык с преобладанием нулевой референции. В этом смысле характеристика соответствующего инвентаря жестовых языков как указательных жестов в определенной степени условна и оправдана в первую очередь формальной аналогией с жестовым дейксисом звучащих языков. Наконец, виртуальные указательные жесты в определенном смысле занимают положение, промежуточное между обычным дискурсивным указыванием и использованием «указательных» жестов в жестовых языках. Речь идет об использовании различных указательных элементов в нарративе: рассказчик сперва как бы создает воображаемое дейктическое пространство и размещает в нем протагонистов и предметы (ср. грамматическое «распределение ролей» участников, описанное в части 3 для

навахо и алгонкинских языков), а затем осуществляет референциальный выбор указаниями на различные зоны этого воображаемого пространства. С одной стороны, такие жесты еще не перенесены из физического пространства в ментальное пространство дискурса (как элементы жестовых языков или анафорические местоимения); с другой, они уже не соответствуют никакой наблюдаемой физической реальности (как указательные жесты в обычном дискурсе), то есть отчасти «ментализованы».

Подведем итоги. Пожалуй, единственной общей претензией является то, что некоторые тезисы, сформулированные вполне ясно и прозрачно (это вообще одно из огромных общих достоинств книги: автор формулирует свои мысли исчерпывающе понятным образом), остаются, на наш взгляд, недостаточно аргументированными – сюда относится, например, неразличение с точки зрения дискурса самостоятельных местоимений и местоименных клитик (в принципе, впрочем, ответственность за доказательство наличия таких различий может быть возложена на противоположную сторону дискуссии), тезис о несогласованной природе местоименных показателей в некоторых языках (например, в сванском – раздел 3.3.3), выделение средств разрешения референциальных конфликтов как особого языкового механизма. Подчеркнем: мы не настаиваем на том, что высказанные утверждения ошибочны, они скорее представляются нам на данный момент недостаточно аргументированными, так что книга не предоставляет читателю достаточной теоретической и эмпирической базы для того, чтобы он мог в этих пунктах согласиться или не согласиться с автором. При этом рецензируемая книга является важным обобщением работ исследователей, работающих, с одной стороны, в рамках дискурсивного (в противовес логическому) и, с другой, типологического подхода к исследованию референциальных механизмов. Сам автор работает в обеих теоретических парадигмах, и рецензируемая книга является обобщающим результатом его работ по референции как с точки зрения теории дискурса, так и с точки зрения изучения языкового разнообразия. Такое совмещение двух перспектив является принципиальной позицией автора книги, вновь и вновь защищаемой в разных ее фрагментах. В работе собран богатый как типологический, так и экспериментальный (в широком понимании этого слова) материал, систематизированы данные большого количества языков разной степени исследованности, предложены базовые параметры как межязыкового варьирования конкретных средств и конструкций, так и типологические профили языков в связи с двумя основными референ-

циальными механизмами – редуцированными референциальными средствами и средствами разрешения референциальных конфликтов. Книга может стать как методологическим фундаментом для разнообразных корпусных и экспериментальных исследований референции в языках, по которым существуют обширные корпуса и доступны ресурсы для проведения экспериментов, так и руководством для полевых лингвистов – не столько в практическом отношении сбора данных (типологических анкет в собственном смысле этого слова в книге нет), сколько написанного в функционально-когнитивном русле современного теоретического пособия, помогающего понять природу механизмов референции.

Несмотря на то, что объединение под одной обложкой столь разных методов, как корпусные методы, с одной стороны, и лингвистическая типология, с другой, при современном состоянии науки (а возможно, и вообще никогда) не может привести к созданию новой вполне интегрированной области исследований – когнитивной типологии референции, к идее которой автор неоднократно возвращается на страницах своей книги, – сама идея взаимной проекции методов и результатов исследования этих столь разных ветвей лингвистического знания, как кажется, может дать мощный толчок исследованиям в каждой из них.

J. Nørgård-Sørensen. Russian nominal semantics and morphology. Bloomington (Indiana): Slavica publishers, 2011. 361 p.

Монография известного датского слависта Йенса Нёргора-Сёренсена посвящена грамматической системе имени в русском языке. В определенном смысле это книга «с двойным дном». Ее можно рассматривать как чисто дескриптивную работу отчасти справочного характера: в этом качестве, как отмечает автор в предисловии, она может быть, например, использована студентами, изучающими русский язык. В работе лаконично и при этом достаточно детально, последовательно и систематично, с учетом очень разных описательных традиций, изложены основные факты русской грамматики. Однако можно посмотреть на эту работу и по-другому – как на чисто теоретическое исследование, для которого материал русского языка служит только эмпирической базой.

С точки зрения композиции на первом плане оказывается «внешняя», описательная, сторона работы. Монография состоит из десяти глав, восемь из которых составляют собственно дескриптивную ее часть. Во второй–шестой главах последовательно описываются категории существительного (общий обзор системы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова 1976 – Н.Д. Арутюнова. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М., 1976.
 Падучева 1985 – Е.В. Падучева. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: референциальные аспекты семантики местоимений. М., 1985.
 Томаселло 2011 – М. Томаселло. Истоки человеческого общения. М., 2011.
 Corbett 2006 – G. Corbett. Agreement. Cambridge, 2006.
 Haspelmath, Sims 2010 – M. Haspelmath, A.D. Sims. Understanding morphology. London, 2010.
 Mithun 2003 – M. Mithun. Pronouns and agreement: The information status of pronominal affixes // Transactions of the philological society. 2003. 101 (2).
 Siewierska 2004 – A. Siewierska. Person. Cambridge, 2004.
 Zwicky 1985 – A. Zwicky. Clitics and particles // Language. 1985. 61(2).

М.А. Даниэль

Сведения об авторе:

Михаил Александрович Даниэль
 НИУ «Высшая школа экономики»,
 МГУ им. М.В. Ломоносова
 misha.daniel@gmail.com

русских существительных, склонение, одушевленность, род, число), седьмая глава посвящена прилагательным, восьмая – местоимениям, девятая – числительным. Теоретические основания исследования изложены в первой и последней главах работы, общим объемом всего около пятнадцати страниц, а также – на более конкретном материале – отчасти во второй главе.

Однако на более глубоком уровне именно теоретические установки автора оказываются центральными и задают достаточно оригинальный общий тон дескриптивной части работы, не нарушая при этом беспристрастного стиля грамматического описания. Монография написана в русле своеобразной датской лингвистической традиции, известной широкому кругу лингвистов прежде всего по работам Пера Дурст-Андерсена (многочисленные ссылки на которые содержатся и в этой книге). Парадигму, в которой работает Йенс Нёргор-Сёренсен, можно охарактеризовать как своего рода постструктурализм в лингвистике. Принципиально важным для автора является идущее

еще от Соссюра (на которого он, в частности, прямо ссылается) понимание языка как стройной, цельной и в определенном смысле самодостаточной системы. На эту классическую структуралистскую посылку накладываются характерные для современной лингвистики в целом, и в том числе для разных направлений функционализма, интерес к процессу коммуникации, апелляция к стоящим за ним более универсальным психологическим (когнитивным) процессам и типологический метод (в данном случае – типологически ориентированное описание конкретного языка).

Такой подход позволяет автору на уже, казалось бы, достаточно хорошо исследованном языковом материале поставить очень глубокие (и даже, возможно, «сверхглубокие») и не вполне традиционные вопросы. В рамках данного исследования Нёргора-Сёренсена прежде всего интересует проблема взаимодействия лексики и грамматики. Отстаивая структуралистскую идею системной организации языка, он ставит вопрос о том, как внешняя хаотичность лексики сочетается с внешней жесткостью грамматики, и видит и за тем, и за другим единую стройную и достаточно простую систему семантических противопоставлений, пронизывающую и скрепляющую оба уровня языка. Из разрозненных фактов русской именной морфологии Нёргор-Сёренсен выводит иерархически организованную семантическую классификацию, отражение которой он прослеживает в устройстве всех категорий русского имени – как грамматических, так и деривационных, как словоклассифицирующих, так и словоизменяющих, как категорий существительного, так и категорий прилагательного и т. д. Более того, автор (хотя и менее детально) вписывает свою именную классификацию в значительно более широкий контекст. Во-первых, он распространяет ее за пределы именной системы, сопоставляя семантическим оппозициям, релевантным для имени, оппозиции, лежащие в основе глагольной системы. Во-вторых, он распространяет ее за пределы русского языка, исходя из того, что, различаясь степенью дробности, аналогичные классификации, построенные на материале других языков, не должны, тем не менее, принципиально противоречить друг другу. Вкратце обсуждается выражение аналогичных противопоставлений в английском и некоторых других языках Европы. Специфические особенности классификации, построенной на русском материале, автор пытается связать с более общими типологическими характеристиками русского языка (в частности, с общей ориентацией русского языка на «описываемую реальность» (reality-based language) в про-

тивопоставление ориентации на Говорящего или Слушающего в терминологии П. Дурст-Андерсена [Durst-Andersen 2011]). Наконец, в-третьих, Нёргор-Сёренсен постулирует для своей чисто лингвистической, выведенной эмпирически из фактов грамматики конкретного языка, семантической классификации более глубокую психологическую мотивацию. Свои семантические противопоставления он интерпретирует в таких когнитивных терминах, как «фигура–фон», «базовый уровень категоризации» и проч.

Остановимся подробнее на некоторых из этих пунктов, проиллюстрировав их отдельными примерами из работы.

1. Общий принцип системности. Желание увидеть в каждом явлении языка стройную и простую систему, «затемненную» на поверхностном уровне, в значительной мере определяет весь стиль грамматического описания Нёргора-Сёренсена. Для каждой из обсуждаемых категорий автор стремится выделить простой набор общих правил, которые далее «осложняются» правилами более частными. Так, описывая распределение существительных по типам склонения (глава 3), он прежде всего противопоставляет «непродуктивную систему», в соответствии с которой по типам склонения распределяется исконная лексика, и «продуктивную систему», в соответствии с которой по типам склонения распределяются неологизмы (аббревиатуры, заимствования). Для первой постулируются основные, очень простые, правила (зависимость от окончания им.п. ед.ч. и рода существительного), для второй – дополнительные, более сложные.

2. Семантическая классификация русских имен. Основным результатом исследования Нёргора-Сёренсена оказывается построение иерархически организованной семантической классификации, лежащей в основе русской именной системы (в общем виде она схематически представлена на с. 18 и 42). Свою классификацию Нёргор-Сёренсен строит в традициях классического структурализма, она эмпирически ориентирована и основывается на внутрисистемных противопоставлениях: семантическая оппозиция постулируется в том и только в том случае, если мы находим соответствующее формальное противопоставление в системе русских имен и только в ней. Классификация оказывается довольно простой. Она представляет собой иерархию из четырех уровней, на каждом из которых ровно один из узлов ветвится надвое (итого 8 классов). На первом уровне противопоставляются индивидуальные / не-индивидуальные объекты (*молоко, солдатня vs. яблоко, солдат*; формальное отражение: типы

склонения и род). На следующем уровне индивидуальные объекты делятся, в свою очередь, на активные и не-активные (*девочка, жираф vs. яблоко, автомобиль*; формальное отражение: одушевленность). Активные делятся на классы «человек / не-человек», класс людей – на классы «женщина / не-женщина» (формальное отражение последних двух противопоставлений: род). На с. 19 приводится также более подробная классификация не-индивидуальных существительных, отражаемая только на уровне деривации, но не в грамматике. Они делятся на собирательные / не-собирательные, а не-собирательные – на названия веществ и абстрактные существительные. Каждому из семантических противопоставлений Нёргор-Сёренсен сопоставляет психологические корреляты: например, противопоставлению по индивидуальности – оппозицию фигуры / фона. В связи с этим естественным образом встает вопрос об универсальности получившейся классификации. Классификация эмпирически ориентирована и лингвоспецифична. Но поскольку, по мнению автора, за ней стоят достаточно общие когнитивные предпосылки, в принципе можно предположить, что она окажется универсальной языковой с точностью до степени подробности отдельных фрагментов. Сам автор впрямую этого не декларирует, отмечая только, что «в основе системы различительных признаков, специфичной для русского языка, лежат независимые от конкретного языка <когнитивные> признаки» и что «эти признаки <...> (*Фигура или фон? Способен ли производить действие? Человек? Женского пола?*) универсальны в том смысле, что они могут быть выведены из способа восприятия мира человеком» (с. 18). Однако означает ли это, что иерархический порядок противопоставлений, выведенный Нёргором-Сёренсеном на русском материале, должен оказаться не лингвоспецифичным, а универсальным? Если универсальны оппозиции, то, в принципе, естественно ожидать, что и их порядок будет мотивирован общими когнитивными принципами и, таким образом, будет универсален. Однако уже материал русского языка заставляет усомниться в этом. Например, на основании грамматического устройства категорий одушевленности и рода признак «человек / не-человек» оказывается в иерархии ниже, чем признак «индивидуальный / не-индивидуальный». Действительно, все существительные с референтами-лицами, входящие в класс не-индивидуальных, оказываются либо неодушевленными (*народ*), либо неохарактеризованными по категории одушевленности (*старичье, солдатня*), т. е. не попадают в класс активных объектов, который, в свою очередь, включает в себя класс людей. С дру-

гой стороны, можно выйти за рамки именных категорий и посмотреть, например, на способность к употреблению в контексте безличного модального пассива типа *ему не спится*, про который неоднократно утверждалось, что он (в силу своей семантики, связанной с контролем ситуации) допустим только с названиями лиц [Булыгина, Шмелев 1997] (изредка – животных [Фичи 2011]): *мне не работается / *мотору не работается*. Не-индивидуальные существительные в этой конструкции вполне допустимы: *Легли спать... только детворе не спится* (rusforum.com). То есть, рассматривая изолированно этот параметр, следовало бы, наоборот, поместить противопоставление по личности (человек / не-человек) выше в иерархии, чем противопоставление по индивидуальности. Это противоречие преодолевается, если допустить возможность ветвления по одному и тому же параметру двух значений параметра более высокого уровня: индивидуальные > активные (> личные / неличные) / не-активные vs. не-индивидуальные > активные (> личные / неличные) / не-активные. В этом случае, однако, теряет смысл сама идея иерархической организации семантических классов, уступая место «горизонтальной» классификации.

3. Взаимодействие лексики и грамматики. В соответствии с концепцией Нёргора-Сёренсена, основным механизмом, позволяющим уложить лексику в «прокрустово ложе» грамматики и обойтись при этом самой простой системой всего из четырех базовых семантических противопоставлений, является механизм «реклассификации» (reclassification). В соответствии с ним, слово, принадлежащее исходно к одному семантическому классу, меняя его в определенном контексте, меняет и свои грамматические характеристики. Например, в терминах реклассификации интерпретируются колебания по одушевленности для слов типа *мышь* (*полевая vs. компьютерная*), *горноста́й* (*животное vs. мех*) и т. п. В контексте типа *ставить капкан на горноста́я* существительное принадлежит к исходному классу «активных индивидуальных» объектов и в соответствии с этим по общему правилу принимает положительное значение признака одушевленности. В контексте типа *одета в горноста́й* оно реинтерпретируется как «не-индивидуальная» (нерасчлененная) совокупность (т. е. переходит в тот же класс, что и названия веществ, такие как *мех, ткань*) и в этом статусе принимает падежное оформление по неодушевленной модели.

4. Единая система в грамматике и словообразовании. Одна из интересных черт под-

хода Нёргора-Сёренсена состоит в том, что он рассматривает под одним и тем же углом и в единой системе терминов грамматические категории имени и словообразовательные категории, видя в них отражение единой семантической классификации. Так, в главе 2 рассматриваются суффиксы существительного, характерные для каждого из выделяемых автором классов (например, *-ость*, *-ств-о* – не-индивидуальные, *-ль-н-я* – индивидуальные, не-активные и др.), а в главах 3–6 описывается, как те же самые классы формируют грамматические противопоставления в системе существительного.

5. Единая система для разных частеречных классов имен. Стремление представить всю русскую именную морфологию как единую структуру приводит Йенса Нёргора-Сёренсена к очень нетривиальным системным сопоставлениям. Так, он обнаруживает изоморфизм между противопоставлением индивидуальных vs. не-индивидуальных объектов (имена масс и собирательные), релевантным для существительного (оно, как показывает автор, проявляется в организации категории рода, числа, в распределении по типам склонения), и традиционным противопоставлением качественных vs. относительных прилагательных (глава 7). Это позволяет, в частности, дать этим классам, традиционно определяемым очень туманно, достаточно четкую семантическую характеристику. Относительные прилагательные, по мнению автора, с семантической точки зрения отличаются от качественных тем, что они «индивидуализируют» определяемое существительное, то есть, иными словами, сужают его экстенционал ('стол' > 'деревянный стол'). В частности, сочетаясь с существительными, обозначающими не-индивидуальные объекты, они – в отличие от качественных прилагательных – меняют их семантический класс: *суп*, *вкусный суп* – не-индивидуальное (название вещества) vs. *гороховый суп* – индивидуальное ('вид супа'). И именно сочетания таких существительных с относительными прилагательными автор предлагает считать сингулятивными коррелятами «множественного видового», допустимого для многих из них: *супы* ≠ *суп* + *суп*, *супы* = *гороховый суп* + *картофельный суп* + *молочный суп*... Схожую оппозицию Нёргор-Сёренсен усматривает и в системе местоименных прилагательных и наречий («классифицирующие vs. неклассифицирующие местоимения» в терминологии автора), рассматривая такие пары, как *весь* / *целый*, *многие* / *много*, *каждый* / *всякий*, *другой* / *иной*.

6. Параллели между глагольной и именной системой. Свою семантическую классифика-

цию имени Нёргор-Сёренсен рассматривает не изолированно, а как часть более общей классификации, лежащей в основе языка как единой системы. Принципиальное значение в рамках такого подхода получают параллели между именной системой и другими фрагментами грамматики. Так, свое противопоставление по индивидуальности в именной системе он сопоставляет с противопоставлением событий и предельных процессов vs. непредельных процессов и состояний (action / non-action в терминологии автора) в системе глагола (с. 13). Подобный параллелизм неоднократно обсуждался лингвистами разных школ (ср., например, краткий обзор в [Плунгян 2011: 213]). Однако любопытно, что, поддерживая общую идею о примерном сходстве этих именной и глагольной зон, разные исследователи, тем не менее, не сходятся в конкретных деталях. Так, в вероятно самой разработанной (и наиболее формализованной) теории такого рода, предложенной М. Крифкой (ср. [Krifka 1998]), требованию «кумулятивности» (объединяющим их с непредельными ситуациями) удовлетворяют как объекты типа *вода*, так и объекты типа *яблоки* (но не *яблоко*). Классификация же Нёргора-Сёренсена противопоставляет лексемы в целом, а не отдельные употребления. По одну сторону границы оказываются объекты типа *вода* (не-индивидуальные), по другую – и объекты типа *яблоко*, и объекты типа *яблоки* ('какие-то, некоторое количество'): контекст множественного числа и неопределенного референциального статуса не переводит их из класса индивидуальных в класс не-индивидуальных.

Несколько необычными кажутся некоторые частные решения, принятые в работе. Например, в разделе 2.7 обсуждается согласование по роду, одушевленности, числу между анафорическими выражениями и их антецедентами. При этом класс анафор трактуется очень широко. В частности, в него включаются такие единицы, как *такой* (как), *каждый* (из), *один* (из). То есть, например, для фразы *Знаю, что такие группы_{ж.р.} уже существуют. В одну_{ж.р.} из них ... с удовольствием ходит мой внук* постулируется, что слово *одну* получает женский род непосредственно от существительного *группы*. Возможно, естественнее было бы в данном случае считать (как это часто и делается, ср. [Зализняк 1967/2002: 62–68]), что согласование по роду происходит не с линейно предшествующим существительным, а с существительным из группы *из* + род. п. В пользу этого говорит, например, тот факт, что далеко не всегда для выражений типа *каждый из*, *один из* вообще можно обнаружить линейно предшествующее ему существительное с тем

же референтом (ср. *Как-то раз одна_{ж.р.} из моих подруг_{ж.р.}...*).

Как было сказано выше, Нёргор-Сёренсен в большей степени стремится к нетривиальной интерпретации уже известных фактов, нежели к представлению новых эмпирических данных, что применительно к такой сравнительно детально изученной области, как русская именная морфология, вполне естественно. Однако следует отметить и некоторые интересные наблюдения эмпирического характера, встречающиеся в работе. Так, в главе 8, посвященной местоимениям, особый интерес представляет описание предикативных употреблений личных местоимений 3 л. типа *И хотя она уже давно по должности не комиссар, она остается им по призванию* (с. 273), которые до сих пор не привлекали повышенного внимания лингвистов (ср. краткое их упоминание в [Падучева 1985/2001: 148–149]). Нёргор-Сёренсен противопоставляет два типа таких употреблений, различающиеся референциальным статусом местоимения: 1) нереперентные употребления в контексте характеристики (как в приведенном выше примере), 2) употребления, интерпретируемые как референтные, в контексте идентификации (...*роль оппонента выполнял содокладчик... им был депутат Е. Муравьев*) – и показывает, что эти употребления различаются по формальным свойствам. Еще одно интересное частное наблюдение касается вариативности падежного оформления прилагательного в группе числительного типа *две красивые / красивых девушки* (глава 9). Обычно эти варианты считают полностью взаимозаменяемыми и между ними не усматривают семантического противопоставления (ср., например, [Граудина и др. 2001: 40–41]). Нёргор-Сёренсен, однако, видит между ними тонкое различие: конструкция типа *две красивых девушки* фокусирует внимание на количестве объектов, тогда как конструкция типа *две красивые девушки* – на самих объектах. В доказательство своей гипотезы автор приводит тот факт, что конструкция типа *две красивые девушки* оказывается более предпочтительной в контексте указательного местоимения (*эти две красивые девушки / ?эти две красивых девушки*). Качественная оценка, данная Нёргором-Сёренсеном, подтверждается численными данными Национального корпуса русского языка (подкорпус с 1950 г.): *эти две / три / четыре + прил., им. п., мн. ч. + сущ., ж. р.* – 62 употребления vs. *эти две / три / четыре + прил., род. п., мн. ч. + сущ., ж. р.* – всего 3 употребления (5 %). Тем не менее, такое предпочтение можно объяснить и более общей тенденцией к использованию модели с им.п. для существительных ж. р.: род. п. (*две красивых*) в целом гораздо менее частотен, чем

им.п. (*две красивые*): 13 % (879 употреблений) род. п. по тому же подкорпусу. Эти данные не позволяют делать уверенных выводов о влиянии контекста местоимения *эти* на выбор падежа ($\chi^2 = 3.0739$, $df = 1$, $p\text{-value} = 0.07956$ при критическом 3.84).

Одним из бесспорных достоинств работы является использование в качестве иллюстративного материала преимущественно естественных примеров. Большая их часть взята из Упсальского корпуса, отдельные примеры – из Национального корпуса русского языка и русскоязычного Интернета (в предисловии автор оговаривает, что недостаточное использование последних двух источников объясняется чисто техническими причинами: материал исследования был собран задолго до публикации, когда эти ресурсы еще не были доступны). Это обстоятельство, в частности, надежно защищает автора от обычной для таких работ критики со стороны читателей – носителей описываемого языка. Неизбежные мелкие огрехи, заметные носителю, в работе встречаются (*краснота – краснотца* ‘beauty’, *текстиль* ‘textile worker’, *крокодилъ, нижный, полаты* ‘sleeping bench’, *глиняной дом*), но они немногочисленны и на принципиальные выводы автора не влияют.

В целом следует еще раз повторить, что работа Йенса Нёргора-Сёренсена оказывается интересной, с одной стороны, как детальное и последовательное описание фрагмента русской морфологии (не претендующее, тем не менее, на представление принципиально новых эмпирических данных), а с другой – как чисто теоретическое исследование, для которого факты русской морфологии являются лишь отправной точкой. Достаточно оригинальные общие теоретические установки исследователя позволяют ему на, казалось бы, хорошо изученном материале поставить глубокие и нетривиальные вопросы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Булыгина, Шмелев 1997 – Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- Граудина и др. 2001 – Л.К. Граудина, В.А. Ицкович, Л.П. Катлинская. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. М., 2001.
- Зализняк 1967/2002 – А.А. Зализняк. Русское именное словоизменение. М., 2002 (1-е изд. – М., 1967).
- Плунгян 2011 – В.А. Плунгян. Введение в грамматическую семантику: грамматические

значения и грамматические системы языков мира. М., 2011.

Фичи 2011 – Ф. Фичи. Об одной модальной функции рефлексивных конструкций // И.М. Богуславский, Л.Л. Крысин, Л.Л. Иомдин (ред.). Слово и язык. Сб. статей к 80-летию акад. Ю.Д. Апресяна. М., 2011.

Durst-Andersen 2011 – P. Durst-Andersen. Linguistic supertypes: A cognitive-semiotic theory of human communication. Berlin; New York, 2011.

Krifka 1998 – M. Krifka. The origins of telicity // S. Rothstein (ed.). Events and grammar. Dordrecht, 1998.

Н.М. Стойнова

Сведения об авторе:

Наталья Марковна Стойнова
МГУ им. М.В. Ломоносова
ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН
ashl@yandex.ru

L. Johanson, M. Robbeets (eds). *Copies versus cognates in bound morphology*. Leiden: Brill, 2012. xv + 455 p. (Brill's studies in language, cognition and culture. V. 2.)

В последние годы заметно возрос интерес исследователей к проблеме языковых изменений, связанных с контактом. Так, только в 2012 году вышло три сборника статей по данной теме – помимо рецензируемой книги, это [Stolz et al. (eds) 2012] и [Wiemer et al. (eds) 2012], также посвященные контактному влиянию на морфологическую систему¹. Сборник «Копии и когнаты в морфологии» подготовлен по результатам трехдневного рабочего совещания в Вильнюсе в сентябре 2010 года, проходившего в рамках 43-й конференции Европейского лингвистического общества. Его редакторами стали Ларс Юхансон, известный тюрколог и автор оригинального подхода к описанию контактных явлений, и компаративист Мартина Роббетс, занимающаяся прежде всего вопросами родства японского и прочих алтайских (в ее терминологии – «трансевразийских») языков. Участие в сборнике специалистов по языковым контактам, с одной стороны, и по сравнительно-исторической реконструкции, с другой, позволяет выработать общие подходы к решению основных проблем контактного влияния в морфологии: как, при наличии в языках общих морфологических показателей, отличить их заимствованный характер от исконного, а также как определить те факторы, которые способствуют или, напротив, препятствуют заимствованиям в морфологии².

¹ Рецензия М.А. Живлова на сборник статей 2011 года по сходной проблематике («Языковые контакты в период глобализации») публиковалась в ВЯ № 2 за 2012 год (с. 125–128).

² Большинство авторов сборника использует при анализе контактных явлений терминологию Л. Юхансона, в модели которого речь идет не о «заимствовании» (borrowing), а о «копировании» (copying) из языка-источника. Речь при этом может идти как о полном (global) копировании, при котором происходит перенос и материальной формы языковой единицы, так

Помимо весьма содержательной вступительной статьи редакторов книги («Bound morphology in common: copy or cognate?»), в сборник вошло 20 статей, разделенных на две части: в первой рассматриваются общие вопросы, во второй проводится анализ конкретных случаев на материале широкого круга языков Евразии и Америки.

В статье Дж. Николе («Selection for *m:T* pronominals in Eurasia») представлены результаты исследования начальной согласной в личных местоимениях языков Евразии – индоевропейских, тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, уральских и картвельских. Для данных языков характерно противопоставление согласного /m/ в личных местоимениях и местоименных аффиксах 1-го лица ед. ч. и согласных типа *T* (/t/, /d/, /ð/, /s/) во 2-м лице ед. ч., ср. курдское *man* ~ *to* или грузинское *me* ~ *šen*. Встречаемость этого противопоставления в евразийском ареале гораздо выше, чем в остальных частях света, поэтому его нельзя трактовать как случайность; о наследовании из общего праязыка говорить также не приходится, поскольку в ряде случаев появление соответствующего согласного является вторичным. Автор расценивает наличие противопоставления *m:T* в личных местоимениях 1–2 лица как «состояние притяжения» (attractor state), которое легко приобретает, однако с трудом утрачивается. На широкое распространение противопоставления повлияла как его фонетическая природа (в обоих случаях звуки относятся к базовым и при этом имеют ярко выраженные различия), так и особенности миграций в северной Евразии в постнеолитическую эпоху.

и о выборочном (selective) копировании, при котором новой единицы в языке не возникает, однако существующая под воздействием языка-источника меняет какие-то свои свойства (значение, сочетаемость, частотность и пр.); см., в частности, [Johanson 2002].

Некоторые из статей теоретической части посвящены тому, как заимствование можно ошибочно принять за развитие из общего праязыка, и наоборот. Ю. Янхунен («Non-borrowed non-cognate parallels in bound morphology: Aspects of the phenomenon of shared drift with Eurasian examples») рассматривает явление «параллельного дрейфа» (shared drift), под которым подразумевается конвергентное развитие материально и функционально похожих показателей, не связанное ни с прямым заимствованием из одного языка в другой, ни с наследованием из общего праязыка. Речь идет о морфемах, происходящих из разных источников, однако сближающихся в результате контактов. К подобным случаям в «алтайских» языках, родство которых автор не признает, он относит, например, суффикс множественного числа / собирательности *-s (в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках), дативный / локативный показатель на *-d/*-t (в монгольских и тунгусо-маньчжурских), условный суффикс -sal-se и показатель множественного числа -la/-le в тюркских и монгольских языках тибетского региона Амдо и др. Поскольку общности в морфологии часто считаются надежным признаком языкового родства, автор призывает обращать внимание на то, что речь может идти лишь о параллельном дрейфе, который отражает языковые контакты, а не родство (хотя при этом не отражает непосредственное заимствование морфемы).

В свою очередь, Б. Джозеф («A variationist solution to apparent copying across related languages») обращает внимание на то, что вариативность в морфологии, в высшей степени свойственная живым языкам, должна учитываться и при реконструкции праязыковых состояний, что позволит сделать такую реконструкцию более реалистичной. Случаи, когда в родственных, однако давно разошедшихся языках (или группах) вдруг возникают сходные явления, легко принять за случайное совпадение: после разделения языков прошло уже слишком много времени, чтобы считать эту общность унаследованной, аргументов в пользу заимствования также нет. Между тем не исключена ситуация, что общность является все же следствием праязыкового наследия и связана с имевшейся в праязыке вариативностью: при конкуренции нескольких вариантов один из них мог быть вытеснен на периферию (и в том числе мог не отразиться в сохранившихся памятниках). Со временем, однако, ушедший было «на дно» второстепенный показатель вновь «всплывает» в обоих языках, что производит впечатление независимого возникновения.

Э. Грант («Bound morphology in English (and beyond): copy or cognate?») приводит

результаты подсчетов, призванных выявить, насколько массовое копирование лексики коррелирует с копированием морфологических показателей. Материалом для анализа послужили данные 14 языков, у каждого из которых имеются заимствования в 207-словном списке базисной лексики (от 10 до 34 % слов): это английский, кэлдэрарский цыганский, хинди / урду, стандартный суахили, тагальский, ачехский, чаморро, нганди, пипиль и др. Как оказывается, почти во всех из этих языков имеются примеры заимствованных служебных слов, во многих также словообразовательных морфем, однако лишь в меньшинстве отмечаются копии словоизменительной морфологии. Корреляция с числом лексических копий при этом оказывается достаточно слабой: в языках с большим числом заимствований в лексике может быть как большое, так и незначительное число морфологических копий (от 17 показателей в чаморро до нуля в японском языке).

К известной иерархии, утверждающей, что знаменательные слова в целом копируются легче, чем служебные, а деривационная морфология – легче, чем словоизменительная, не раз обращаются и другие авторы сборника. Так, в караимский язык, согласно статье Э. Чато («On the sustainability of inflectional morphology»), из славянских и литовского проникло множество лексических заимствований, а также некоторые словообразовательные суффиксы. В синтаксисе же, равно как и в словоизменительной морфологии, отмечается только частичное копирование: ср., например, начальное положение вопросительных слов, постпозитивный генитив, постпозитивные относительные и обстоятельственные финитные клаузы, приобретение комитативом инструментальной и предикативной функции, появление у бытийного глагола значения ‘мочь’ в сочетании с постпозитивным инфинитивом.

С. Элиассон («On the degree of copyability of derivational and inflectional morphology: Evidence from Basque») предлагает подробный обзор заимствованной морфологии в баскском языке – генеалогическом изоляте и типологически наиболее необычном языке западноевропейского ареала. На протяжении более чем двух тысяч лет баскский испытывал значительное влияние латыни и западнороманских языков, что привело к появлению огромного пласта заимствованной лексики. Много заимствований имеется и в словообразовании, однако это почти исключительно именные суффиксы (от трети до половины всех словообразовательных суффиксов, которых насчитывается порядка полусотни); заимствованных префиксов нет, хотя в языках-источниках они имеются и теоретически могли подвергнуться копированию.

В словоизменении заимствований мало: так, в системе имени по диалектам отмечается лишь использование испанских показателей рода *-o/-a* у некоторых прилагательных и существительных; в глагольной системе был заимствован суффикс перфективного причастия на *-tu/-du* (из латинского *-tu(m)*). При том, что в целом данные полностью соответствуют известной шкале заимствования «лексика > словообразование > словоизменение», автор отмечает и некоторые более частные закономерности (именные показатели копируются лучше, чем глагольные, а нефинитные – лучше, чем финитные), а также выделяет ряд параметров, способствующих или препятствующих заимствованию.

Критерии того, какие словоизменительные морфемы чаще всего заимствуются, рассматривает и **Ф. Гардани** («Plural across inflection and derivation, fusion and agglutination»). Выявляя отмечавшиеся в литературе бесспорные примеры заимствованной морфологии в различных языках, он обнаруживает 37 случаев, из которых 12 приходится на показатель множественного числа. По мнению автора, закреплению морфемы в языке-реципиенте способствуют следующие обстоятельства: во-первых, множественное число является типичным примером содержательной, а не контекстно обусловленной (согласовательной) категории, тем самым на шкале от словообразования к словоизменению располагается ближе к словообразованию; во-вторых, заимствованию наиболее подвержены агглютинативные показатели, которые имеют прозрачные границы и соответствуют принципу «одна форма – одно значение».

А. Бакус и **А. Вершик** («Copiability of (bound) morphology») пытаются подойти к ответу на вопрос о том, почему морфология мало подвергается заимствованию, исходя из семантики и прагматики морфологических показателей. По их мнению, полному копированию будут подвергаться прежде всего единицы, обладающие наибольшей семантической специфичностью (semantic specificity), в том числе и те лексемы, для которых в языке-реципиенте отсутствует точный аналог. Напротив, единицы с наиболее обобщенным значением – как базовый лексикон, так и грамматические показатели, – менее «притягательны» и скорее не копируются из источника полностью, а воздействуют на значение своего ближайшего аналога (например, приводят к появлению у грамматического показателя новых значений). Что касается чисто структурных характеристик типа порядка слов, то для их копирования ключевую роль играет не семантическая обобщенность, а частотность: частотная структура из языка-источника легко укореняется в созна-

нии носителя языка-реципиента и постепенно переносится в этот язык.

В статье **А. Айхенвальд** («'Invisible' loans: How to borrow a bound form») подчеркивается, что при длительном и интенсивном контакте возникновение общих черт у языков неизбежно, даже если говорящие сознательно сопротивляются этому. В качестве примера она приводит ареал реки Ваупес на границе Колумбии и Бразилии, в котором носители контактирующих языков резко отрицательно расценивают проникновение в свою речь заимствований и отвергают их. Это приводит к парадоксальной ситуации, когда лексических заимствований в языке, действительно, удается избежать, однако какие-то грамматические явления, тем не менее, «просачиваются». Так, в аравакский язык тариана из восточнотуканского языка тукано проникли три клитики (одна модальная и две образа действия), а некоторые показатели претерпели «грамматическую аккомодацию» и изменили значение под влиянием близкого по форме аффикса в тукано. Такие заимствованные элементы можно считать «невидимыми» в том смысле, что они всегда выступают в составе словоформы, так что увидеть их в изолированном виде и оценить их заимствованный статус носители не могут.

Численные данные по употребительности заимствований в текстах приводятся в статье **Д. Бэккера** и **Э. Хеккинга** («Constraints on morphological borrowing: Evidence from Latin America»), которые обращаются к корпусам устной спонтанной речи трех генетически и ареально далеких языков Центральной и Южной Америки, испытавших значительное испанское влияние. В целом языковых единиц испанского происхождения в текстах оказывается достаточно много: в кечуа они приходятся почти на каждое пятое слово, в гуарани на каждое шестое, в отоми на каждое седьмое. Лексических заимствований среди них больше всего – от половины всех заимствованных элементов в отоми до более 80 % в кечуа. Остальное приходится на заимствованные служебные слова, к которым относятся предлоги, сочинительные и подчинительные союзы, иногда артикли. Примеров использования испанской аффиксальной морфологии с исконными корнями нет, хотя авторы предполагают, что испанская морфология вполне может проникнуть в индейские языки под видом «троянского коня», т. е. через испанские словоформы. По корпусным данным можно предположить, что по крайней мере в кечуа испанские формы множественного числа с суффиксом *-(e)s* и агентивные существительные на *-ero* конструируются на основе усвоенных правил, а не заимствуются как готовые комплексы. Тем самым ничто не мешает через

какое-то время начать использовать эти морфемы не только для испанских, но и для исконных основ. Испанским заимствованиям в америндских языках посвящена также статья **С. Гутьеррес-Моралес** («Morphological borrowing in Sierra Popoluca»), которая показывает, что суффикс агентивных имен *-eeroj/-teeroj* в сьерра-пополука, явно восходящий к испанскому *-ero*, не может быть непосредственным заимствованием из этого языка. Учитывая как грамматические особенности, так и исторические данные о контактах, можно предполагать, что суффикс был заимствован через посредство одного из диалектов языка нахуатль, который также оказывал влияние на сьерра-пополука.

Еще одну гипотезу о «цепочечном» заимствовании грамматического показателя исследует **Ю. Йозефсон** («The historical background of the transfer of a Kurdish bound morpheme to Neo-Aramaic»). Она показывает, что курдский префикс *bi-/be-* является либо непосредственной копией персидской морфемы конъюнктива и повелительного наклонения, либо изменил свое значение под персидским влиянием; из курдского же префикс попал в северо-восточную разновидность новоарамейского языка.

В. Фридман («Copying and cognates in the Balkan Sprachbund») иллюстрирует сложность отделения праязыкового наследия от заимствования примерами из языков балканского ареала. Так, некоторые окончания презенса в мегленорумынском выглядят как македонские заимствования, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в деревнях, наиболее близких к македонским, данное сходство отсутствует; кроме того, в самом мегленорумынском похожие окончания встречаются в парадигме других времен, так что речь, скорее всего, должна идти о независимом внутреннем развитии без какого-либо контактного влияния. Еще один интересный пример касается вокативной частицы *o* и суффикса *-o*, давно заимствованных в албанский язык из славянских. В современном македонском языке эти показатели уже почти утратились, однако в последнее время происходит повторное распространение вокативной частицы как раз под влиянием албанского, которое особенно сильно в говоре Скопье. Тем самым утраченная в македонском частица возвращается в язык в виде заимствования, хотя в самом албанском она исторически является копией из славянских языков.

Случай исконного явления, развитие которого было поддержано контактом, рассматривает **Н. ван дер Пол** («Between copy and cognate: the origin of absolutes in Old and Middle English»). На материале древнеанглийского корпуса текстов она исследует нефинитную адвербиальную конструкцию, в которой существительное

и вершинный предикат (причастие) имеют форму косвенного падежа – чаще всего датива или инструменталиса (ср. *ofslegenum Pendan hyra cyninge* [убитый.DAT Пендан.DAT их король.DAT] ‘когда был убит их король Пендан’). В литературе представлены две точки зрения на «абсолютную» конструкцию – она была калькирована из латыни либо унаследована из прагерманского состояния. Автору удается объединить оба подхода, показав, что конструкция являлась исконной, однако, как и в других германских языках, в определенный период начала исчезать из языка; при этом с началом активной переводческой деятельности с латыни частотность конструкции резко возросла (хотя впоследствии опять пошла на убыль).

П. Бэкер («Cognates versus copies in North America: New light on the old discussion on diffusion versus inheritance») обращается к проблеме объяснения структурных сходств в полисинтетических языках Северной Америки – алгонкинских и салишских. Попытки объединения этих семей вместе с несколькими другими семьями и изолятами в «алмосанскую» надсемью не признаются специалистами, и в целом на основе выявления регулярных фонетических соответствий в лексике родственные отношения между ними, скорее всего, не могут быть установлены ввиду крайне малого числа потенциальных когнатов. Тем не менее, языки обеих семей имеют сходную структуру глагольной словоформы, общий тип типологически редкой («иерархической»³) стратегии кодирования актантов, особый класс «лексических суффиксов». Поскольку речь идет о диахронически стабильных языковых явлениях, автор приходит к выводу о том, что наблюдаемые сходства все-таки являются унаследованными из общего праязыка.

Ф. Йозефсон («Transfer of morphemes and grammatical structure in Ancient Anatolia») описывает контактные влияния в древних языках Анатолии. Так, под влиянием лувийского языка в родственном ему хеттском произошло сокращение числа падежей и числа локативных и направительных клитик. Ряд других изменений в хеттском морфосинтаксисе (появление «расщепленной эргативности», перестройка системы ваккернагелевских клитик), скорее всего, вызваны внутренними причинами, а не контактом. Неиндоевропейские же языки – хаттский

³ Речь идет о кодировании основных актантов при помощи личных показателей. В «иерархическом» типе кодирование агенса и пациенса зависит от иерархии лиц; он противопоставлен аккузативному, эргативному, активному, трехчастному и нейтральному типам, при этом встречается в языках мира реже прочих.

и хурритский – не оказали существенного влияния на структуру анатолийских языков, несмотря на существование билингвизма.

Весьма специфическую социолингвистическую ситуацию рассматривает **Т. Хаяси** («Foreign and indigenous properties in the vocabulary of Eynu, a secret language spoken in the south of Taklamakan») на примере особой разновидности уйгурского языка, известной как «эйну» и используемой группой уйгуров Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В эйну, который функционирует как тайный язык, корни слов имеют в основном персидское происхождение, тогда как морфология остается уйгурской. По всей видимости, этот язык был создан сознательно, а не является результатом перехода персоязычной группы носителей на уйгурский. В пользу такой интерпретации говорят, в частности, явные структурные параллели эйну с уйгурским в идиомах, сходная омонимия некоторых лексем (например, 'огонь' / 'трава' и др.). При создании эйну имело место, тем самым, лишь копирование внешних оболочек персидских слов (корней) как вариантов, используемых в особых ситуациях.

В нескольких статьях сборника разбираются спорные вопросы классификации алтайских языков. Так, **Л. Уэйли** («Deriving insights about Tungusic classification from derivational morphology») отмечает, что установление регулярных фонетических соответствий и построение генеалогического древа тунгусо-маньчжурских языков затруднено из-за большого числа внутрисемейных контактов. В качестве альтернативы она предлагает классификацию, основанную на сравнении словообразовательных показателей (в частности, суффиксов способа действия), которых в этих языках особенно много. Предварительный анализ показывает, что распределение показателей отчасти коррелирует со стандартной классификацией – например, маньчжурский язык максимально отличается от всех остальных, – однако из-за неполноты данных по языкам и диалектам более детальную картину еще предстоит установить. Статья **Дж.М. Унгера** («The likelihood of morphological borrowing: The case of Korean and Japanese») посвящена критике книги А. Вовина, в которой морфологические этимологии в поддержку гипотезы корейско-японского родства подвергаются сомнению и объясняются заимствованиями из корейского в японский.

Наконец, заключительная статья **М. Роббетс** («Shared verb morphology in the Transeurasian languages: copy or cognate?») во многом суммирует данные других работ и предлагает список критериев того, следует ли относить общие в двух языках морфологические показа-

тели к унаследованным из праязыка или к заимствованию. В пользу заимствования говорят следующие свойства: 1) морфема сочетается только с корнями, общими для обоих языков, но не с различающимися; 2) последовательность морфем в одном из языков является нечленимой, хотя она членима в другом; 3) в одном из языков отмечается только второстепенное значение морфемы, тогда как в другом и первичное, и второстепенное; 4) означаемое морфемы не соответствует установленным ранее звуковым соответствиям; 5) морфема встречается только в зоне тесного языкового контакта, но не на периферии контактного ареала; 6) общая морфология отмечается только в определенной подсистеме (например, только в именном склонении, только в словообразовании или только в нефинитных формах). Напротив, следующие признаки увеличивают вероятность генетического родства, а не заимствования: 7) формы морфем сходны, причем путь их грамматикализации достаточно редок (что снижает вероятность независимого развития); 8) значение морфем непрозрачно и полностью определяется только внутри комплекса с другими морфемами; 9) морфемы кумулятивно выражают несколько значений (тогда как при заимствовании значение нередко упрощается); 10) морфемы имеют сходное число алломорфов (тогда как при заимствовании алломорфия имеет тенденцию редуцироваться); 11) морфема отмечается более чем в двух языках, связанных по цепочке (для заимствований «цепочечное» копирование из одного языка во второй, а из второго в третий в целом нехарактерно); 12) морфема не отмечается в одном из промежуточных языков цепочки (при заимствовании ожидается, что язык-посредник не утратит морфему сразу после передачи ее другому языку). Далее автор рассматривает по данным критериям похожие морфемы в пяти ветвях алтайской («трансевразийской») макросемьи – среди них показатели аспекта, залога, отрицания, согласования, вопросительности, различных финитных и нефинитных форм глагола. Вывод, к которому приходит Роббетс, однозначен: во всех случаях гораздо вероятнее развитие из общего праязыка, нежели копирование.

Статьи сборника достаточно неоднородны как тематически, так и по широте охвата материала и методике его анализа: одни авторы в большей степени обращают внимание на социолингвистическую составляющую контактных изменений, другие – на пути диахронического развития языковых явлений, в каких-то работах привлекаются корпусные данные и используется математический аппарат (пусть даже на уровне простейших подсчетов). Оценивая сборник в целом, стоит отметить, что

союз сравнительно-исторического подхода и контактологии оказался плодотворным – авторам удалось получить интересные обобщения относительно возможных типов заимствований в морфологии, а также выявить ряд эвристик, позволяющих приблизиться к ответу на вопрос, имеем мы в конкретном случае дело с копией или когнатом. Вместе с тем, понятно и то, что полностью убедительного решения этой проблемы вполне может и не быть, на что указывает гипотетический характер некоторых выводов или даже их противоположность (ср. подходы Янхунена и Роббетс к «алтайской проблеме»). Как бы то ни было, данная публикация, как и другие недавние работы сходной направленности, способствует более адекватному пониманию возможных результатов взаимодействия языков и является шагом к созданию теории контактных изменений, которая, как хочется надеяться, появится в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Johanson 2002 – *L. Johanson*. Contact-induced linguistic change in a code-copying framework // M.C. Jones, E. Esch (eds). *Language change: The interplay of internal, external and extra-linguistic factors*. Berlin, 2002.
- Stolz et al. (eds) 2012 – *T. Stolz, M. Vanhove, H. Otsuka, A. Urdze* (eds). *Morphologies in contact*. Berlin, 2012.
- Wiemer et al. (eds) 2012 – *B. Wiemer, B. Hansen, B. Wälchli* (eds). *Grammatical replication and borrowability in language contact*. Berlin, 2012.

Сведения об авторе:

Тимур Анатольевич Майсак
Институт языкознания РАН
timur.maisak@gmail.com

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конференция «“Народная лингвистика”: взгляд носителей языка на язык»

19–21 ноября 2012 г. в Санкт-Петербурге состоялась первая международная конференция по народной лингвистике, организованная совместно Институтом лингвистических исследований РАН и Европейским университетом в Санкт-Петербурге в рамках программы Научно-образовательного центра «Языковые ареалы России». Приветствуя аудиторию перед докладами, многие участники назвали конференцию «актуальной». Многочисленность и представительность состава участников, обширная география приехавших издалека исследователей вместе с разнообразием тематики представленных докладов сделали конференцию событием научной жизни лингвистов.

Интернет как свободная площадка для выражения массового народного мнения по всем вопросам, включая лингвистические, этот новейший коммуникативный канал и арена социолингвистических событий, не мог быть обойден вниманием профессиональных лингвистов. Популярность языковых материй как предмета дебатов в Интернете дает возможность познакомиться не только с готовыми наивными взглядами на язык, но и наблюдать процесс их формирования в разных формах деятельности лингвистов-любителей. Приведа целый список сюжетов, которые вызвали бурное обсуждение в печати, на радио, но более всего в Интернете, приглашенный докладчик конференции, директор Института лингвистики РГГУ М.А. Кронгауз, в своей лекции о лингвистических конфликтах Нового времени нарисовал впечатляющую картину народной активности по самым разным лингвистическим поводам: орфографической реформе 2000-х гг., скандальной истории с четырьмя словарями (издательства АСТ), нормализовавшими *кофе* в среднем роде, *йогурт* с ударением на конце, *брачащихся* вместо *брачующихся* и т. д., проблемам с буквой Ё, лингво-идеологической оппозицией грамотность/анти-

грамотность/неграмотность и «национал-лингвистов Москвы» (группа Граммар наци/ Grammar-nazi), перешедших от слов к действиям против неграмотных. Партийный документ под названием «Манифест антиграмматности» выпустили, естественно, олбанцы, носители языка падонкафф, борцы против спелчекеров и засилья установки на грамотность. К «нацикам» примыкают любители лингвистического троллинга, нацеленные на разрушение всякой коммуникации. Термины для лингво-группировок заимствованные, но страсти явно наши, незаемные. Предметы любительской критики, по наблюдениям М.А. Кронгауза, чаще всего тривиальные: орфографические ошибки, официальные (ре)нормативные нововведения (как ср. р. *кофе* и *йогурт*), просторечная орфоэпия и т. п. Спор сводится к двум-трем языковым единицам, но характеризуется неожиданно агрессивной манерой спорить, которая приводит скорее к заострению конфликта, чем к его разрешению. Читая в Интернете о новостях, касающихся лингвистических вопросов, приходишь к мысли о том, что языковые сюжеты – это повод для вывода в публичное пространство каких-то витальных социально-идеологических отношений, а не разрешение проблем грамотности, которыми вроде бы занимаются народные языковые активисты. Для проблем существует просвещение, которое предоставляют профессиональные сайты (www.gramota.ru, www.grammar.ru) и некоторые любительские сайты (www.tak-zhe.ru, www.tsya.ru), а деятельность антиграмматистов, хотя сами олбанцы люди грамотные и их антиорфография всего лишь языковая игра, служит индульгенцией для элементарно неграмотных и в перспективе работает на понижение массовой грамотности.

Продолжая линию анализа народных мнений о языке, Е.Н. Геккина (Санкт-Петербург) в выступлении «Речевые ошибки как фокусы языковой рефлексии» составила тщательную типологию объектов любительской критики: лексических и грамматических языковых единиц, орфоэпических и орфографи-

ческих отклонений от нормы; модусы критики (рациональный или эмоциональный) и содержательные типы аргументации в критических репликах; установила источники авторитетного мнения для любителей – словари с грамматиками или собственный опыт. В финале автор представила обобщенные портреты народных лингвистов: защитников правильной речи и защитников права не соблюдать требования грамотной речи.

Тема, с которой началась современная фольклористика, – **народная диалектология**. Несколько исследований из этой области было представлено на конференции. Взгляд жителей адыгейского аула Уляп на свой язык и, по необходимости, на соседские языки в условиях чрезвычайной пестроты языковой ситуации стал предметом исследования в двух докладах: А.А. Сомина (Москва) «Диалектная чересполосица» и наивная диалектология (на материале говора аула Уляп Республики Адыгея)» и Г.А. Мороза (Москва) «Адыгский, адыгейский, бесленеевский, уляпский: представления носителей уляпского говора о своем языке». Аул Уляп окружен аулами, в которых говорят на идиомах, отличных от уляпского. Кроме того, в самом Уляпе многие родственники и соседи говорят на разных диалектах. Жители аула Уляп, говорящие на бесленеевском диалекте кабардино-черкесского языка, по сведениям А.А. Сомина, считают свой идиом «единственным в своем роде» в Адыгее, причем называют его «языком». Его лингвистические особенности, считают уляпцы, известны не только им самим, но и носителям других адыгских идиомов. Между тем носители адыгейских диалектов уляпцев не понимают, поэтому для общения с ними уляпцы переходят на их диалект, хотя и не могут назвать исследователю, что именно они изменяют в своем языке при таком переключении кодов. Знание адыгейских диалектов уляпцы приписывают школьному обучению (литературному языку), а их привычку к переключению на язык собеседника можно рассматривать как факт жизни в районе «диалектной чересполосицы». В репертуар осознаваемых уляпцами языковых признаков, различающих идиомы, попадает, прежде всего, по данным А.А. Сомина, лексика: информанты приводят варианты самых частотных слов из нескольких диалектов. Следующий уровень – фонетический, где кабардинский язык характеризуется как более мягкий по сравнению с уляпским. В этой области часты расхождения в оценках, причем социального характера: «у нас так только дети говорят», а также практики передразнивания и насмешек. Грамматика – наименее осязаемый маркер

диалектных различий. Автор расценивает ситуации повторяющихся контактов говорящих с разной диалектной базой как механизм, повышающий их чувствительность к языковым деталям.

По данным Г.А. Мороза, носители уляпского говора (который также называется ими бесленеевским) используют термин «адыгабзэ» для обозначения языка всех адыгов и литературного адыгейского языка (на основе темиргоевского диалекта). Помимо этого понятия они проводят различие между темиргоевским, абадзехским, шапсугским и бжедугским диалектами, а кабардинский язык делят на «нальчинский» и «наш» (несколько аулов в Адыгее). Бесленеевский говор часть уляпцев (в отличие от наблюдений А.А. Сомина обо «всех» уляпцах) склонны считать самостоятельным идиомом, промежуточным между адыгейским и кабардинским языками, причем ближе к кабардинскому. Другая часть уляпцев считает, что они говорят на адыгейском с чертами кабардинского. Как мы видим, данные по языковой / диалектной принадлежности уляпского частично расходятся у московских исследователей. Как выявленные ими народные диалектологии соотносятся с официальной диалектной картиной, вопрос отдельный. Явно просматриваемые в диалектологии уляпцев смешанные черты их идиома Г.А. Мороз объясняет особенностями речевого поведения женщин предыдущих поколений: выходя замуж в Уляп, они сохраняли свой диалект, частично передавая его детям и тем привнося заимствования из своих идиомов в уляпский.

Привлекает внимание объемное исследование О.А. Казакевич (Москва) «Обыденные представления селькупов, кетов и эвенков о языке и языках (опыт полевой работы)». Автор представила результаты социолингвистических обследований 43 поселков на территориях Ямало-Ненецкого АО, Таймырского, Эвенкийского, Туруханского и Енисейского районов Красноярского края, а также районов Томской области за последние полтора десятка лет. Обыденные представления селькупов, кетов и западных эвенков автор суммировала по многим параметрам: 1) диалектное членение своих этнических языков («все полноценные носители признают наличие локальных вариантов»), причем свой язык оценивают как правильный, чистый, а чужой как неправильный, нечистый; 2) оценка сложности языков совпала у лингвистов и непрофессионалов; 3) одобрение многоязычия, которое считается способствующим умственному развитию ребенка, хотя в отношении русского действует установка на один язык, что означает исключение своего этнического языка. Родители,

таким образом, становятся переломным поколением именно по этой логике поведения. Говорящие отдают себе отчет в переключении кодов, а большое количество переключений называют «смешанным языком». Эти народы считают язык обязательной составляющей самоидентификации: «раз я селькуп/кет/эвенк, то мой родной язык – селькупский/кетский/эвенкийский». В ситуации сдвига говорящие ценят этнический язык за тайную функцию, а школьное преподавание критикуют за то, что преподается не местный идиом, а «язык учебника».

Еще более специальной общностью народных лингвистов оказываются искушенные литераторы, прибегающие к использованию грамматического термина «плюсквамперфект» для создания вольных метафорических построений в самых разных временах: Д.В. С и ч и н а в а (Москва) «Это уже плюсквамперфект: лингвистический термин как образ публицистики и эссеистики».

Сказать, что рядовой носитель языка имеет свой взгляд на язык и чувства по отношению к нему, мало: рядовой носитель языка может задаться целью создать язык и преуспеть в этом! В.В. Баранова (Санкт-Петербург) рассказала о кацком языке, удачном проекте, у которого есть автор, С.М. Темняткин, создавший кацкий язык (словарь и грамматическое описание выложены в Интернете), кацкую идентичность и этнографию, территорию расселения «Кацкий стан», музей кацкарей и газету «Кацкая летопись». Это не все: он создал гимн с большой идеологической нагрузкой и научную дисциплину «кацковедение», преподаваемую в детском саду и в школе. Проект обрел все основные признаки настоящего языка и социальные аспекты его присутствия в публичной жизни. Немного неясно, правда, какой жизненный смысл это имеет для жителей с. Мартыновка. В.В. Баранова изучает деятельность С.М. Темняткина как образец реализации народных представлений о языке, но ее герой явно не только народный лингвист: он эффективный языковой политик. Гораздо скромнее, но тоже интересно выглядит практика составления любительских словарей, о которой рассказала Е.Д. Казакова (Екатеринбург) в докладе «Авторский словарь диалектоносителя: прагматический аспект».

На вопросе о механизмах народной этимологии специально остановился приглашенный лектор конференции, известный японист и специалист по проблемам общей и социальной лингвистики В.М. Алпатов (Москва). Он показал на разном языковом материале (европ. *taverna* – япон. *taberuna*; *этруски* и *русские*,

руссы; Мартин Лютер и *лютый*) сходство аргументации народных этимологов в объяснении неизвестного через известное (связь звука и смысла в родном языке) и приравнивание неизвестных слов к известным на основе фонетического сходства. При этом фонетическое сходство может быть вполне приблизительным, а фантазия народного лингвиста в семантизации неизвестного слова вполне свободной. Еще одним признаком наивного сознания является представление о языке как неизменном предмете, равном сегодняшнему языку носителя. Но на наивную исследовательскую стезю может ступить и профессионал высокого ранга. Именно это произошло, по словам В.М. Алпатова, с Н.Я. Марром, который создал много ненаучных этимологий на основе исключительно звукового сходства и посеял сомнения в среде историков, назвав смердов «иборо-шумерской прослойкой русских». Отмечая активизацию народной лингвистики этого толка в последнее время, автор предупредил об опасности распространения антинаучного мышления, особенно в той его части, которая спекулирует квазинаучной аргументацией особой древности языка с целью повышения престижа народа, говорящего на нем. Владимир Михайлович подчеркнул, что наивное сознание – естественный продукт, воспроизводящийся в поколениях, поэтому владение несколькими языками и даже некоторое образование его не отменяют. Впрочем, профессионалы в разных культурах различаются степенью терпимости и, можно сказать, уважения к любительской лингвистике: так, японский научный журнал публикует псевдоэтимологический опус любителя (см. европ. *taverna* – япон. *taberuna*), что вряд ли возможно в современной России.

Но есть любители и любители. Профессионалы относятся в высшей степени уважительно к тем народным лингвистам, которые сочетают в своей работе языковое чутье наивного носителя с профессиональной лингвистической грамотностью, давшей им с большим трудом. Об одном таком человеке рассказал В.С. Кулешов (Санкт-Петербург) в сообщении «Из нивхской “народной” лексикографии и этнографии. Екатерина Кулькиновна Ланина – нивхский народный лексикограф и этнограф».

Если ложные этимологии – пример ненаучной лингвистики, то выявление отношения носителей языка к своему и другим языкам – разработанная область вполне научной народной лингвистики. Этот раздел с его проблематикой и мощным методическим аппаратом унаследован новой наукой от социолингвистики, но элемент новизны в рамках народной

лингвистики чувствуется во внимании ко всем говорящим, начиная от частной речевой общности до масштаба всей страны, как к активному фактору языковой ситуации.

С. Л и б е й р т (Бельгия) представила языковую ситуацию во Фландрии, территории Бельгии, говорящей по-фламандски. Уже много лет там существует *tussentaal*, смешанный (промежуточный) вариант языка между фламандским диалектом и стандартным голландским языком, который ранее использовался носителями диалекта в ситуациях, требующих стандартного языка. С недавних пор *tussentaal* «пошел в ход»: его стали использовать как в «сельских» ситуациях, так и в официальных. Видимо, отношение фламандцев к этому языковому варианту переменялось в сторону повышения его престижности. Автор доклада проводила проверку этого предположения в терминах фонетики (слышит ли рядовой носитель фонетические детали), статуса языка (осознает ли *tussentaal* как самостоятельный идиом) и отношения к нему (как оценивает его). Результаты данного этапа исследования, однако, получились неоднозначные.

Еще одна современная европейская языковая ситуация представлена в докладе Х. Ф а в р о (Франция) «Языковые оценки говорящих: генераторы или отражение социолингвистических перемен? Французский язык». Автором сделана попытка определить функции отношения к языку путем исследования вопроса о том, какую роль в современном народном дискурсе о языке занимают нормативные соображения. Как известно, носители языка судят свой идиом, отталкиваясь от нормативного варианта, играющего роль идеального языка. (Отметим, что такая постановка вопроса характерна именно для Франции, с ее жесткой языковой политикой легитимизации только стандартного языка.) Но в последнее время популярность и сила стандартной идеологии, веками царившая в мире франкофонов, ослабевает, и автор рассчитывает проследить изменения в межличностных отношениях и социальных структурах общества через изменение отношения к стандартному языку в возрастных, гендерных, сельских / городских и других социальных стратах. Кстати, Фавро вносит новый штрих в оценку роли стандартного языка в обществе, которую любой учебник характеризует только как объединяющую, когда указывает на сильную ноту разъединения общества по этому признаку.

Интересный сдвиг в отношении к своему языку описала А.А. Л о п у х и н а (Москва) в докладе «Изменение отношения носителей диалекта к своей речи (на примере одного диалекта Архангельской области)». Ей удалось захватить самое начало процесса повышения

оценки своего идиома носителями за счет разговоров последнего времени об этнической группе поморов, которые всколыхнули, по мнению автора, потребность жителей этого района в самоидентификации. Автор сравнила сведения об оценке своего языка жителями с. Тавреньга сто лет назад с результатами опросов 2012 г., когда – на фоне давно устоявшейся негативной оценки своего диалекта по сравнению с литературным языком – возникает положительная оценка своего диалекта: «говор чистой только у нас; здесь говорят по-русски». Наличие идентичности очевидным образом повышает статус языка. Вторая (обычная) линия сравнения своего языка с другими диалектами подтверждает ожидаемую реакцию, т. е. оказывается не в пользу других идиомов.

А. Д е б о з о р г и (Иран), в докладе «Социополитические факторы предпочтения британского английского американскому: ситуация в Иране» распространил материал исследования языковых оценок, обычно выполняемых на материале разных идиомов одного национального языка или соседствующих языков, на иностранный язык, а именно, американский и британский варианты английского языка. Автор занимается выяснением отношения к ним жителей четырех крупных городов Ирана. В Иране популярнее американский английский, и автор разъясняет, почему: сложившиеся военные, финансовые и культурные отношения указывают на значимость США, т. е. социально-политического фона для формирования отношения к языку. Но как, собственно, этот фактор влияет на эстетическое впечатление от звучания языкового варианта, насколько иранцы различают лингвистические признаки двух видов английского, автору еще предстоит выяснить.

Экспериментальная работа А. Приходкина (Швейцария) «Скажи мне, как тебя зовут, и я скажу, есть ли у тебя акцент в речи», выясняющая влияние фактора этнической принадлежности говорящих на восприятие и оценку их речи, обнаруживает «чувствительность» слухового восприятия речи к социальным установкам слушающих. В его эксперименте 150 швейцарцам, поделенным на две группы, предложили оценить несколько примеров идеальной стандартной французской речи с точки зрения пригодности диктора на должность менеджера по коммуникациям в швейцарском банке. Обе группы слушали одну и ту же группу дикторов (девушек с родным французским языком и магистерской степенью по французскому), но в инструкции слушателям сообщались разные имена дикторов, по звучанию похожие на швейцарские, арабские или африканские. Два последних типа харак-

терны для иммигрантов. Речь «иммигрантов» слушатели оценили хуже, чем речь «соотечественников». «Арабам» приписали заранее известный стереотипный акцент. Тот факт, что в основе отношения к языку лежит оценка социальной группы, говорящей на нем, известен в науке, но столь откровенная социальная заданность оценок среди, предположительно, толерантных швейцарцев шокирует. Значимость своего результата А. Приходкин суммировал так: «Эта тенденция находится в противоречии с решимостью правительства гарантировать абсолютно одинаковые права всем гражданам страны, независимо от их этнокультурной принадлежности».

Сложности многоязычной ситуации показаны Р. М и т ч е л (Великобритания) в докладе «Мало быть англофоном: язык, гражданство и членство в группе в Камеруне». Автор провела многокомпонентный социолингвистический опрос в Камеруне, полиэтнической и полиязычной африканской стране с 280-ю языками, с целью выяснения роли родного малого и иных языков для самоидентификации камерунцев. Четыре предложенные ею позиции распределения возможных этно-лингвоидентичностей информанта выявили следующую иерархию: информант прежде всего африканец, затем камерунец, затем член своей этнической группы/клана (со своим языком) и, наконец, англофон или франкофон. Четвертая часть информантов назвала французский или английский «камерунским» языком. Многие сочли билингвальность характерным признаком камерунской национальной идентичности. При этом отмечена тенденция к снижению активного воспитания камерунцами детей на своем малом языке.

В Уганде, как выяснила Й. Б е к к е р (Германия) в работе «Отношение к языку в Уганде: народная лингвистика как инструмент доступа к речевому поведению носителей», тоже не закончено определение национального языка, а ведь прошло много лет со времени получения страной независимости! Профессиональные политики не смогли сойтись на одном языке-кандидате, хотя их разные точки зрения можно считать вполне логичными. Тема отношения к языку – предмет накала страстей в Уганде, а разрыв между народными представлениями о языках – «язык горя», «язык воров», «язык презрения» – и профессиональной их квалификацией мало способствует разрешению проблемы. Но понимать отношение простых людей к этому вопросу важно для понимания ситуации в целом.

Судя по тому, как описывает языковую ситуацию В. С е р р е л и (Египет) «О роли отношения к языку для сохранения малых языков.

Описание ситуации в оазисе Сива (Египет)», простая, но стабильная система функционального распределения языков и определенность их связи с идентичностью хорошо работает на сохранение малых языков. Речь идет о небольшом языке берберского анклава Сива в Египте. Существующие в окружении арабского языка, жители анклава продолжают пользоваться языком сиви, которому матери обучают детей с самого детства, позднее добавляя язык амийя (для связи с внешним миром) и арабский, изучаемый в школе. Методики анкетирования, интервью и включенного наблюдения, которые автор применил в этом исследовании, говорят о четком разведении функций сиви как родного языка и символа самоидентификации от амийя как удобного средства общения и не более и от необходимого для карьеры и удовлетворительной социальной жизни арабского.

Языковые оценки – принципиально иной материал, чем представления о языке, зачастую «готовые», стереотипные. Языковые оценки – это спонтанные реакции носителя на слуховой стимул. В последнее время признанный социолингвистический метод парных масок подвергается критике за стереотипность и «неспонтанность» получаемых данных. Предполагается, что при опросе информанты включают механизм отбора общественно одобряемых оценок, в то время как их собственное речевое поведение им не соответствует. Проблема столь существенна, что на международном конгрессе лингвистов в июле 2013 г. в Женеве планируется секция под руководством Д. Престона, посвященная анализу зависимости результатов опроса от формы запроса (International congress of linguists, 21–27 July, 2013, Geneva. Workshop: Socio-cognitive aspects of language attitude variation).

Поиску подходящей формы запроса посвящен доклад «Данные языковых оценок русского словесного ударения: народная лингвистика и проблема спонтанности» (В.Б. Гулида, Санкт-Петербург), в котором предлагается новый для социолингвистики, но известный в психолингвистике метод ассоциативного эксперимента (АЭ), чья процедура запроса обеспечивает наиболее прямую адресацию к спонтанным реакциям информантов. Условие моментальности реакции на слышимый стимул снимает этап контролирования говорящим своего ответа, а отсутствие списка заданных терминов (ярлыков) для выбора, способствующее разнообразию форм реагирования, «приоткрывает» информацию об источниках языковых оценок, не сводимых к шкалам социального статуса и солидарности, заложенным в методе скрытых масок. Анализ ответов,

полученных в АЭ, указывает на качественно различные источники языковых оценок: индивидуальный опыт и формальное знание, социальные типажи своей локальной общности и идеологические концепты. Остро маркированные временные (т. е. идущие на смену или уходящие) варианты языковых единиц позволяют извлечь разнообразную информацию об изменениях социума через изменение отношения носителей к языку.

К исследованию языковых оценок можно отнести и фоносемантический сюжет, которым занимается М. Уиллет (Великобритания). В докладе «Фонестема /gl/: насколько англоговорящие осознают ее связь со значением “свет”» автор рассказал об исследованиях силы ассоциации звука и смысла в языковом сознании носителя. В частности, его интересовала степень вычленимости /gl/, сегмента слова как самостоятельной единицы благодаря его семантике. В результате выяснилось, однако, что носители привязывают смысл к слову целиком, не к его части.

И еще один сюжет в области отношения к языку, а именно, отношения к смешению кодов в двух речевых общностях Нью-Йорка, русской и испанской: Е. Давидяк (США) «Восприятие и продукция переключения кодов билингвами». Ее доклад – иллюстрация лабовского положения об асимметрии продукции и рецепции речи, проявляющаяся в ситуациях, когда оценки чужой речи и собственное говорение человека расходятся, и он порождает такую речь, которую критикует у других. Нормально относящиеся к смешению английского с испанским испанцы и неодобрительно относящиеся к русско-английскому смешению этнические русские широко используют смешение в своей речи, хотя у русских его несколько меньше по количеству, чем у испанцев. Как справедливо замечает автор, дело здесь не столько в разнице схемы пользования языком, сколько в принятости этой практики в речевом сообществе: в отличие от русскоязычных испаноговорящие пользуются таким форматом общения уже не в первом поколении.

Идея словаря-тезауруса бытовой терминологии русского языка, которую представил на конференции Б.Л. Иомдин (Москва) в выступлении «Наивные представления о значениях слов», выглядит как начальный шаг принципиально новой стратегии создания словарей с учетом языковой компетенции массового носителя языка. Можно назвать это направление фольклористики **наивной лексикографией**. Материал такого типа обещает быть более объективным, чем индивидуальная компетенция профессионального составителя

словаря, значительную часть которой неизбежно составляют традиционные толкования. Авторы отталкивались от обнаруженного ими факта несовпадения значений простейших бытовых слов (терминов) в словарях и в опыте носителей. Методики запрашивания значений, выяснение их иерархии, выявление признаков слова, «наводящих» на опознание референта, показанные в докладе Б.Л. Иомдина, разнообразны и временами неожиданны, как, например, в случае со «шляпой» (модной языковой игрой в качестве методики), но они убеждают.

К этой же области относится анализ расхождений между профессиональным и наивным толкованием слов-концептов *любовь, верность, дружба, свобода*, представленный в докладе Н.Г. Брагиной (Москва) «Наивные толкования концептуальных слов». Учитывая неизбежный индивидуальный опыт, на который накладываются исследуемые понятия в речевом опыте говорящих, логично выглядят и разнообразные стратегии означивания понятий, и использование метафоричности, и в целом вариативность «наивного» материала, подчеркиваемая автором.

В выступлении Е.В. Колосько (Санкт-Петербург) «Смысловые примитивы в толкованиях идиоматических выражений» рассматривался языковой репертуар наивного носителя в поисках лексически простой и функционально четкой формы для передачи смысла частотных фразеологизмов. Это нужно иностранцам, изучающим русский язык. Речь идет о таких сочетаниях, как *а ну-ка; фу ты, ну ты; а ну тебя; где ему (ей, мне) ...!*, и т. д. Их словарные определения (если они есть) бесполезны для иностранцев из-за их лексической сложности, а «смысловые примитивы», предлагаемые автором: *а ну-ка = давай, сделай это сейчас; да ну тебя = мне надоело. Я не хочу больше говорить об этом* – лексически просты и понятны, поскольку указывают на речевое действие, связанное с данным выражением.

В выступлении «О народной этимологии и количественных сочетаниях прилагательного в русском языке» И.А. Шаронов (Москва) описал процесс языкового изменения, по типу относящийся к аналогическому упрощению структуры. Носитель языка участвует в этом процессе, совершая выбор между традиционным или новым вариантом социопеременной всякий раз, когда ему нужно использовать какую-либо социопеременную. Естественно, возникает вопрос о мотивации выбора. Для данной ситуации ответственной за предпочтение инновационной структуры автор предлагает считать народную этимологизацию. Именно этот аспект проблемы связывает описываемый

структурный процесс с народной лингвистикой.

Интерес к сопоставлению наивного и профессионального описания языковой структуры распространяется и на область фонетики. В докладе «Наивный взгляд на супрасегментные характеристики» Е.В. Перехвальская (Санкт-Петербург) рассказала о языке мона, из южной семьи языков манде, нигер-конго. Это тональный язык, в котором смысл звучащей фразы определяется сложным переплетением восьми (трех ровных и пяти со звуковысотным движением) лексических, грамматических и контекстных тонов. Люди мона прекрасно осознают тоновую природу своего языка и значимость тональных различий. У них есть термин для понятия «тон» (*wele, голос*), они фиксируют тональную ошибку словами «you do not have a right voice», но начальную форму слова с тоном они, как правило, вычленить не могут, поскольку звучащей реальностью для них является мелодия фразы, а не отдельные слова. Этот факт, по мнению автора, указывает на то, что слова в мона и других языках манде менее самостоятельны, чем в европейских языках. Слова со своими тонами входят во фразу, адаптируясь к целому. Мелодия фразы легко вычленяется, более того, мона ее насвистывают отдельно в качестве приема обучения. Впоследствии обозначение тона каждого элемента фразы при помощи букв французского алфавита, известного им из школьного обучения, позволит создавать осмысленные печатные тексты. Второй представленный язык – удэгейский, характеризующийся высотным ударением (разновидностью тональной системы). Говорящие на удэгейском тоже осознают значимость этой просодии, называя ее русским словом «ударение», взятым из известного им русского языка. (Отметим, что мона не имеют подходящего термина во французском.) Четыре вида гласных (краткие, долгие, долгие глоттализированные и долгие придыхательные) рассматриваются ими как гласные со своим видом ударения: ошибки в гласных у молодых или изучающих язык удэгейцы называют «неправильным ударением». Автор обращает особое внимание на тот факт, что неспособность молодого поколения (до 60 лет) овладеть тональным аспектом языковой структуры указывает на значительную степень языкового сдвига.

Н.В. Кузнецова (Санкт-Петербург) в докладе «Редукция гласных в нижнелужском диалекте ижорского языка: научное и “народное” восприятие» сопоставила фонетическое описание структурно-фонологических последствий редукции гласных в неначальной позиции в слове в ижорском языке с фиксацией этого процесса на письме носителями языка.

Предположительно, то, как слышат и записывают слышимое знатоки языка, должно отразить фонологическую значимость редукции. Оказалось, что, при совпадении тенденции для гласных в целом, есть некоторые отличия, указывающие на «ножницы» в профессиональном (фонетическом) и наивном (фонологическом) осмыслении этого раздела языка.

Голландская исследовательница С. Оде в выступлении «Почему нет согласия в вопросах орфографии юкагирского» рассмотрела трудности в орфографии, которые испытывают учителя, дети, изучающие юкагирский язык, лингвисты и все интересующиеся языком. А язык уже введен с 1990 г. в детском саду, начальной и средней школе села Андриюшкино, а также в воскресной школе в Черском. Дело в том, что написание слов разнится от текста к тексту (т. е. от носителя к носителю), что сильно затрудняет пользование юкагирско-русским словарем, не говоря уже об ощущении неразберихи, никак не способствующей овладению языком. За орфографической неупорядоченностью стоит проблема адекватного описания современной системы гласных в юкагирском: причиной орфографических разногласий могут быть как диалектные отличия или сдвиги в системе гласных, так и влияние русского и/или соседних малых языков, не говоря уже о вероятности ошибок восприятия индивидуального характера. С. Оде предложила сделать первый шаг к облегчению положения: в каждом тексте составить список отклонений от орфографии Г.Н. Курилова, автора юкагирско-русского словаря и юкагирской грамматики, с тем, чтобы можно было пользоваться этими источниками.

В последний день выступали **полевые лингвисты**, посвятившие слушателей в сложности своих отношений с **информантами**.

Современный городской пользователь Интернета лишь относительно наивен: что-нибудь из школьного курса о языке он да помнит, слово *Википедия* знает, даже зайти на образовательный сайт по русскому языку может. Д.Ф. Мищенко (Санкт-Петербург) с докладом «Профессия: информант» имеет дело с истинно наивным носителем неизвестного науке языка в далекой стране. В начале совместной работы от наивного носителя, впоследствии «информанта», ожидается владение процедурой передачи своей языковой компетенции лингвисту. При налаженной процедуре работа становится эффективной. Но по мере набирания опыта языковое сознание информанта перестраивается: он осознает категории своего языка, начинает пользоваться терминами, полученными от лингвиста, становится способным к произвольным лингвистическим построениям. Лингвист

же вплотную подходит к границе наивного в языковом сознании информанта и к проблеме надежности получаемого от него языкового материала. Об изменениях лингвист судит по лингвистическому и бытовому поведению информанта, вплоть до некоторой «деформации» его личности. Исследователь сталкивается со сложными случаями «реальных и мнимых» лингвистических «прозрений» информанта и должен вынести решение о допустимых пределах использования метода интроспекции. Фактически оба участника процесса меняют свои позиции в ходе сотрудничества. Со второй половины XX в. этическая установка исследователя на равенство и уважение в межличностных отношениях с информантом становится обязательным условием их лингвистического взаимодействия.

Изучая небольшую изолированную общину Муйлаке, говорящую на языке аймара, в удаленном районе Перуанских гор, М. Коулер (Нидерланды) в докладе «От имплицитного знания к количественным данным: метод сотрудничества в документации языка и культуры малоизвестных языков» предложил исследовательскую процедуру, которую можно назвать «массированным сотрудничеством» с информантами. Этот метод побуждал носителей языка к активному участию в транскрибировании, переводе и документировании материалов сказок и мифов, которые лингвист собирал от них. Участие носителей, по признанию автора, стоило больших затрат и создавало дополнительные сложности во взаимодействии, и это сказалось на грамматическом описании языка. Макрозадачей исследования являлось извлечение количественных данных из «молчаливого» знания информантов.

Замечательно оптимистическое сообщение пришло от полевых лингвистов М.З. Муслимова и Д.В. Сидоркевич (Санкт-Петербург), задавшихся суровым вопросом: «Миноритарные прибалтийско-финские идиомы: есть ли жизнь после языковой смерти?» и ответивших на него бодрим: «Да, немножко есть». Дело в том, что исследователи прибалтийско-финских языков имеют дело с языками на грани или за гранью языковой смерти. Это означает, что компетентных информантов нет, но остаются люди с ограниченным знанием языка, воспринятого в детстве и задержавшегося в памяти пожилого человека. Какого рода лингвистическая информация доступна исследователю в таком случае? Как показывает сравнение хэвасского диалекта ижорского языка, описанного Лаанестом в 1960–1980-х гг. еще в действующем состоянии, с данными авторов 2002 г., из некоторых слов и выражений, оставшихся в памяти слабокомпетентных носителей, можно извлечь нетри-

виальную информацию диалектологического, лексического и даже морфонологического свойства. Авторы доклада проследили это явление на материале записей остаточной компетенции жителей четырех ингерманландских сел, которых судьба разнесла в самые разные уголки бывшего Союза, от Ленинградской области до Омска и Красноярского края.

Сложность суммы впечатлений от разнообразия и качественных отличий тем и аспектов жизни языка (см. выделенные шрифтом ключевые слова в тексте), по которым мнение носителей языка, судя по докладам, представляет ценность для лингвистики, точно суммировал в названии лекции «Какое место в ряду наук о языке занимает народная лингвистика?» приглашенный докладчик конференции (и по совместительству председатель оргкомитета) Е.В. Головки (Санкт-Петербург). Если принять в расчет то несомненное обстоятельство, что язык представляет собой одну из культурных практик, исследователь, точно так же, как это делается в случае изучения любой другой культурной практики (свадьба, похороны, родильный обряд, приготовление пищи и т. д.), вправе поинтересоваться точкой зрения информанта и на язык, на то, что, как и в каких случаях, по мнению информанта, говорится самим информантом и его партнерами по коммуникации. Разумеется, получив такой комментарий, исследователь не обязан принимать полученную информацию за чистую монету, скатываться в постмодернизм, уверяя, что это еще одна, альтернативная, «народная наука». Напротив, оставаясь в рамках вполне традиционной науки, надо постараться ответить на вопрос, какие социальные и культурные факторы побуждают информанта рассуждать о языке именно так, а не иначе. В докладе было подчеркнута, что выяснение того, что информанты думают о языке, – это всего лишь хорошо известный «эмный» подход (противопоставленный «этному» подходу – термины введены Кеннетом Пайком, учеником Э. Сепира), а изучение народной лингвистики полностью укладывается в одну из четырех выделенных Ф. Боасом областей антропологии, – лингвистическую антропологию: именно в извлечении культурного смысла из собранных народных представлений о языке состоит задача исследователя. В заключение докладчик обратил внимание на тот аспект народной лингвистики, которому в докладах было уделено, пожалуй, меньше всего места – проблеме возможности осознания носителями языка языковых единиц, которыми оперируют профессиональные лингвисты. Этот вопрос в свое время был поднят М. Сильверстейном. По мнению Е.В. Головки, такому осознанию (а это

является необходимой предпосылкой так называемого народного языкового планирования, т. е. внесения сознательных изменений в языковую структуру) способствуют ситуации многоязычия, когда информант владеет по крайней мере двумя языками. Такие ситуации (было приведено несколько примеров, в том числе из собственного полевого опыта) представляют собой хорошую базу для интуитивного осознания отдельных элементов языковой структуры и внесения в нее изменений. При всей ограни-

ченности числа случаев такого рода народного планирования этот материал нельзя упускать из виду.

В.Б. Гулида

Сведения об авторе:

Виктория Борисовна Гулида
Санкт-Петербургский государственный университет
v-gulida@yandex.ru

IX Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей

С 22 по 24 ноября 2012 г. в Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) прошла IX Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей.

Первая подобная конференция состоялась осенью 2004 г. По замыслу организаторов, целью встреч должен был стать обмен опытом и научными идеями между молодыми специалистами, работающими в области типологии и теоретической грамматики в России и за рубежом. Непрерывающаяся традиция проведения конференций свидетельствует о том, что идеи организаторов успешно воплотились в жизнь: высокий уровень лекций и докладов и актуальность обсуждаемых проблем неизменно привлекают внимание к конференции как со стороны уже сложившихся лингвистов, так и со стороны начинающих исследователей.

Нынешняя, девятая по счету, конференция в определенном смысле стала «юбилейной»: дни ее проведения совпали по времени с празднованием 80-летия руководителя Лаборатории типологических исследований языков Виктора Самуиловича Храковского. В связи с этим оргкомитет принял решение посвятить заседания конференции этому торжественному событию.

Тематика конференции, как всегда, была достаточно разнообразна, однако большая часть докладов оказалась посвящена проблемам типологии глагольных категорий, лексической типологии, описанию редких явлений в языках различной генетической и ареальной принадлежности. Значительное место в программе конференции заняло описание фактов грамматики русского языка и языков народов России, ориентированное на современные синтаксические теории и типологический подход.

Программа конференции, которая в этом году прошла при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, включала восемь пленарных заседаний и секцию стендовых докладов. Формат конференции предполагал

выступления двух типов: лекции приглашенных профессоров и доклады молодых исследователей. Всего в конференции приняли участие 39 молодых ученых – студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей, представлявших различные научно-исследовательские организации (Институт лингвистических исследований РАН, Институт языкознания РАН, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Институт славяноведения РАН) и вузы (МГУ, СПбГУ, РГГУ).

Открыл конференцию директор Института лингвистических исследований РАН академик Н.Н. Казанский. На утреннем заседании первого дня конференции выступили три докладчика. Н.М. Стойнова (Москва) описала в докладе показатели редитива – глагольные показатели со значением обратного движения. Проанализировав материал разноструктурных языков, она выяснила, что для разных подтипов редитивного значения могут быть релевантны следующие семантические параметры: а) фиксированная / нефиксированная траектория (возвращаться в ту же точку по любому маршруту / по исходному маршруту), б) фиксированная / нефиксированная ориентация (в направлении исходного пункта / в направлении, обратном направлению движения («назад»)); в) фиксированная / нефиксированная цель движения (в исходную точку / в точку обычного пребывания («домой»)). По словам Н.М. Стойновой, отдельный параметр типологического варьирования представляет собой взаимодействие редитивного значения с глагольной основой: так, редитивный показатель может давать разное результирующее значение, присоединяясь к глаголам каузации движения (типа «нести»): 'обратно туда, где был каузируемый' vs. 'обратно туда, где был каузатор (вернуться, принеся с собой X)'.
В докладе Н.В. Перковой (Швеция) рассматривалось противопоставление двух типов комитативных конструкций в латышском языке, выражающееся в смещении фокуса эмпатии на

одного из участников ситуации. Н.В. Перкова определила основные семантические и морфосинтаксические свойства обеих конструкций и выделила типологические параллели в языках циркумбалтийского ареала.

П.М. Аркадьев (Москва) рассмотрел «неканоническое» падежное маркирование объекта в целевых инфинитивных оборотах литовского языка. В этих конструкциях объект может быть оформлен генитивом (в инфинитивных клаузах при глаголах перемещения) или дативом (в целевых инфинитивных клаузах при других типах глаголов и при именах). Такого рода нестандартное маркирование объекта в нефинитных клаузах мало изучено типологически и редко встречается в языках мира. По словам П.М. Аркадьева, история возникновения этих конструкций показывает, что в результате нетривиального конвергентного морфосинтаксического развития конструкции со сходными синтаксическими свойствами могут происходить из исходно совершенно различных синтаксических структур.

Дневное заседание открылось выступлением А.Б. Летучего (Москва). Он рассказал о русских конструкциях со словом «один», позволяющих акцентировать внимание на количестве предметов и тем самым придать большую значимость участникам ситуации. Слово «одно» в составе подобных конструкций способно вводить не только именные группы, но и сентенциальные актанты. Поведение именных и сентенциальных зависимых при этом не полностью совпадает. Особенно подробно докладчик остановился на тех случаях, когда форма предиката сентенциального актанта не полностью повторяет ту, которая возможна в конструкции без слова «одно». А.Б. Летучий представил возможные объяснения и проанализировал их применимость в данном случае. По его мнению, стоит считать, что после слова «одно» возможными становятся те модели, которые являются центральными для данной семантики, однако в силу каких-либо причин невозможны при данном глаголе. Снятие этих ограничений означает, что они не носят строгого синтаксического характера.

Н.В. Сердобольская (Москва) подробно проанализировала систему конструкций с сентенциальными актантами в осетинском языке. В своем докладе она показала, что в осетинских актантных предложениях союз служит для выражения семантики зависимой предикации (в терминах «факт», «событие», «генерическое событие» и т. п.), а местоимение-коррелят выражает принадлежность зависимой клаузы пресуппозиции / ассерции.

О.И. Беляев (Москва) представил материал аштынского диалекта кубачинского языка,

где нестандартным образом ведут себя экспериенциальные предикаты, рефлексивные предикации и, что особенно важно, непереходные глаголы, в которых возможно употребление как «переходных», так и «непереходных» показателей, причем «непереходные» показатели в целом предполагают большую степень контролируемости ситуации. Он продемонстрировал, что ни один из существующих подходов к проблеме переходности не может дать адекватного объяснения наблюдаемым в аштынском диалекте фактам. Взамен О.И. Беляев предложил характеризовать данную грамматическую категорию как выражающую степень контролируемости ситуации со стороны абсолютива. Важно отметить, что подобное явление не засвидетельствовано в других языках мира и представляет интерес с точки зрения типологии грамматических категорий глагола.

В докладе А.А. Сомина (Москва) описывались два случая глагольной редупликации в уляпском говоре бесленеевского диалекта кабардино-черкесского языка. В конструкциях, которым был посвящен доклад, с помощью редупликации маркируется длительность / регулярность ситуации, а сами конструкции являются антонимичными. Кроме того, по словам А.А. Сомина, одна из конструкций обнаруживает дальнейшее семантическое развитие и обозначает также прототипичность объекта, обозначенного предикатом.

Выступление Д.К. Привознова (Москва), открывшее вечернее заседание, было посвящено семантике показателя *-š* в мишарском диалекте татарского языка. В грамматиках тюркских языков не раз отмечалась многозначность этого показателя, но Д.К. Привознов первым попытался сформулировать его инвариантное значение, из которого с учетом свойств исходного глагола выводилось бы каждое конкретное значение. Он выделил четыре основных значения этого показателя в мишарском диалекте: реципрокальное, ассистивное, депациентивное и итеративное. Проанализировав употребления показателя *-š* с 80 глаголами, обладающими различными свойствами, докладчик пришел к выводу, что все деривации на *-š* образуют от исходного глагола, обозначающего одну ситуацию с одним агенсом, предикат, обозначающий множество ситуаций, в каждой из которых есть свой участник с семантической ролью агенса.

Е.А. Ренковская (Москва) сообщила о явлении элизии в диалекте сорьяли языка кумаони. Особое внимание в своем докладе она уделила тем случаям, когда конечные гласные не подвергаются элизии. Согласно гипотезе Е.А. Ренковской, на сохранение конечных гласных может влиять ряд грамматических

черт диалекта сорьяли, которых нет в других диалектах.

В докладе С.В. Краснощековой (Санкт-Петербург) было показано, что притяжательные местоимения 3-го лица занимают в языковой системе ребенка особое положение. Они находятся между собственно «ядерными» притяжательными местоимениями типа «мой» и формами родительного падежа имен. По словам С.В. Краснощековой, ребенок начинает употреблять их позже, чем другие способы выражения притяжательности (конструкция типа «у меня», притяжательные прилагательные и т. д.), и с их помощью осваивает посессивное значение родительного падежа.

Второй день конференции открылся докладом О.Ю. Чуйковой (Санкт-Петербург). В нем были приведены некоторые наблюдения над поведением глаголов со значениями 'есть' и 'пить' в русском языке. О.Ю. Чуйкова рассмотрела особенности, отличающие данные глаголы от прототипических переходных: возможность употребления без прямого дополнения и способность к специфической для русского языка сатуративной деривации с циркумфиксом *на-...-ся*. В докладе были приведены результаты количественного анализа способности образованных от 'есть' и 'пить' глаголов совершенного вида к непереходному употреблению и выражению делимитативного/комплетивного значения. Для переходных употреблений глаголов совершенного вида О.Ю. Чуйкова рассмотрела предпочтительные способы падежного маркирования объекта.

М.А. Холодилова (Санкт-Петербург) подробно рассмотрела ситуацию с несогласованными зависимыми в русской именной группе, которые в обычном случае следуют за вершиной. Препозиция таких зависимых оказывается возможной и сравнительно частотной, в случае если зависимое выражено местоимением и занимает в именной группе нена начальную позицию, как, например, в сочетании «твое к этому отношение». Согласно гипотезе М.А. Холодиловой, позиция, занимаемая такими зависимыми, соотносима с позицией Ваккернагеля, а предпочтительность в ней местоимений свидетельствует об их клитизации.

Е.В. Сидорова (Москва) посвятила доклад исторической перестройке восточнославянской референциальной системы, т. е. переходу от глагольных окончаний к личным местоимениям как ведущим редуцированным референциальным показателям. По словам Е.В. Сидоровой, это типологически необычное явление, не свойственное другим славянским языкам. Существует несколько различных гипотез, которые в той или иной мере объясняют данный переход, однако до сих пор не проводи-

лось их проверки на достаточно широком материале. В своем исследовании Е.В. Сидорова путем хронологического анализа ряда древне- и великорусских памятников попыталась объяснить данный процесс и проверить имеющиеся гипотезы.

Во время дневных заседаний состоялись три лекции. Первую лекцию «Грамматика глагола в активном словаре» прочитал академик РАН Ю.Д. Апресян (Москва). Отправным пунктом размышлений в лекции Е.В. Рахилиной (Москва) «Метафора в семантической теории и практике» стала конструкция «X-у стукнуло Y», ее выступление было посвящено юбилею. Член-корреспондент РАН В.А. Плунгян (Москва) прочитал лекцию «Вокруг субъектного имперсонала» о возможностях типологического изучения этой категории.

Завершила второй день конференции секция стендовых докладов. Ее предваряли краткие устные презентации. Как показала в своем докладе П.С. Антонова (Москва), среди наречий, с помощью которых можно охарактеризовать состояние участника ситуации, в русском и польском языках выделяется особая группа наречий, включающая русские наречия на *-ом* (*босиком, голышом, нагишом*) и польские наречия *nago, boso, trzeźwo, młodo, staro*. Наречия данной группы по своим свойствам больше похожи на вторичные предикаты, чем на остальные наречия состояния. Они могут иметь интерпретацию, близкую к сирконстантной интерпретации вторичных предикатов; большинство из них может относиться к тем же участникам, что и вторичные предикаты; они имеют характерные для вторичных предикатов коммуникативные статусы. Существование данной группы наречий подтверждает идею о близости значений, выражаемых адвербиальной конструкцией и конструкцией вторичной предикации: по мнению П.С. Антоновой, в сознании носителей языка эти конструкции настолько близки, что произошел перенос значения, обычно выражаемого одной конструкцией, на другую.

В.В. Дьячков (Москва) проанализировал особенности посессивных конструкций в языке томо-кан, распространенном на территории Мали. В докладе он попытался объяснить различия между двумя типами посессивных групп: аппозитивной и послеложной, в которой обладаемое маркируется особым послелогом. Согласно гипотезе В.В. Дьячкова, их дистрибуция определяется различиями в референциальном статусе существительных. Особое внимание В.В. Дьячков уделил семантической эволюции посессивного послелого.

Доклад Е.В. Кашкина (Москва) представлял собой изложение результатов исследования

в рамках лексической типологии. Предметом рассмотрения стали прилагательные, описывающие отсутствие неровностей на поверхности объекта, в ряде уральских языков. Исследователь выделил основные семантические противопоставления, релевантные для исследуемой лексической группы, и проанализировал модели развития метафорических значений.

К.А. Кожанов (Москва) проанализировал семантику приставки *da-* в литовском языке. Данная приставка, с одной стороны, не признается литературной, а с другой, широко употребляется в разговорной речи и ряде диалектов. По словам К.А. Кожанова, семантика приставки очень близка к семантике ее соответствия в славянских языках. Наряду с этим фиксируется калькирование словообразовательных моделей, свойственных славянским языкам. По мнению К.А. Кожанова, семантика и употребление приставки *da-* свидетельствует как о самостоятельном развитии ее семантики, так и о влиянии нескольких других языков.

В совместном докладе А.А. Козлова и М.Ю. Привизенцевой (Москва) было предложено лексико-типологическое исследование прилагательных размера в тегинском говоре хантыйского языка. В качестве типологического фона были использованы данные русского, немецкого и коми языков. Авторы исследования выявили основные особенности системы прилагательных размера тегинского говора: совпадение значений «низкий» и «неглубокий» в одной лексеме при использовании двух разных для обозначения «высокого» и «глубокого» и существующая на уровне топологических классов асимметрия прилагательных с положительным и отрицательным значением, описывающих ширину и толщину объекта.

В выступлении Н.А. Коротаяева (Москва) рассматривались примеры сложноподчиненных объектных конструкций в устной русской речи, в которых формальным средством выражения межклаузуальных отношений выступает сочетание «то что». Согласно гипотезе Н.А. Коротаяева, данное сочетание функционирует как единый союзный комплекс, не сводимый к соединению опорного местоимения с союзом «что». Этот комплекс характеризуется интонационной нерасчлененностью; кроме того, круг использования нового союза оказывается шире, чем у расчлененного варианта «то / что». Анализ синтаксических контекстов, в которых употребляется «то что» в устной речи, позволил автору предположить, что это сочетание захватывает ряд стандартных употреблений союза «что».

М.И. Кудринский (Москва), Д.П. Попова (США), А.П. Симоненко (Канада) посвятили свой доклад анализу примененных

употреблений фокусных частиц *pa* и *s'i* в хантыйском языке. Авторам удалось показать, что в основе как аддитивной, так и контрастивной фокусной семантики лежат анафорические отношения между выражением, маркированным фокусной частицей, и некоторым другим выражением, входящим в контекст. Различная поверхностная семантика именных групп, в состав которых входят аддитивная или контрастивная фокусная частица, возникает в результате того, что анафорическая связь может устанавливаться в отношении различных свойств.

А.А. Малько (Санкт-Петербург) рассмотрел феномен интерференции при согласовании. Он изложил результаты эксперимента, в котором изучалась интерференция при согласовании по роду на материале русского языка. Полученные результаты А.А. Малько сравнил с результатами аналогичного эксперимента на материале словацкого языка.

В докладе Н.А. Муравьева (Москва) рассматривалась проблематика нефинитных глагольных форм, выступающих как средство выражения одновременного таксиса в финно-угорских языках. К исследованию был привлечен материал коми, удмуртского, финского и хантыйского языков, и в каждом из них было обнаружено более одного такого средства. По словам Н.А. Муравьева, речь преимущественно идет о деепричастиях, но вместе с тем к их числу можно отнести также послеложные и падежные формы глагольных имен и причастий. Как показал исследователь, собственно таксис одновременности представлен как сложная семантическая структура сочетания двух действий с одинаковыми или различающимися аспектуальными свойствами, одно из которых помещено во временной контекст другого. Данная модель позволяет решить задачу по описанию и сравнению дистрибуции исследуемых глагольных форм.

Одной из проблем грамматики башкирского языка было посвящено выступление С.А. Оскольской (Санкт-Петербург). Каритивный суффикс *-həð* в башкирском языке традиционно считается деривационным суффиксом прилагательного, однако обладает высокой продуктивностью. В докладе С.А. Оскольская рассмотрела синтаксические (способность иметь зависимые разного типа, способность выступать зависимым вершин разного типа) и морфологические (способность данного суффикса сочетаться с грамматическими показателями прилагательного и существительного) свойства формы на *-həð*. Ее анализ позволил исследователю прийти к выводу о том, что рассматриваемая форма проявляет свойства и прилагательных, и существительных и не может быть однозначно отнесена к одной из этих категорий.

А.Ч. Пиперски (Москва) обратился к теме соотношения длины слова и сохранности сильных глаголов в истории немецкого языка. По его словам, сохранность слов в языке зависит от их частотности и выразительности. Эти факторы по-разному влияют на длину слова: более частотные слова короче, но более короткие слова менее выразительны. Изучив влияние длины слов на их сохранность, можно установить, какой фактор побеждает, частотность или выразительность. Исследование немецких сильных глаголов, проведенное автором, показало, что фактор выразительности в этом случае оказался важнее: более длинные основы сохраняются лучше, чем более короткие. При этом выяснилось, что длина основы не влияет на сохранность словоизменительного типа: если глагол сохранился, вероятность его перехода в слабое спряжение не зависит от длины основы.

Исследование М.Г. Тагабилевой (Москва) было посвящено описанию двух синонимичных словообразовательных моделей: модели образования композитов со значением имени деятеля с нулевым суффиксом и с суффиксом *-ец* – в русском языке. Целью работы М.Г. Тагабилевой было выявление ограничений на реализацию данных моделей, а также факторов, влияющих на выбор одной из синонимичных моделей при образовании производного. Она также описала модели образования соотносительных имен женского рода с суффиксами *-к(а)* и *-иц(а)* и нестандартные случаи реализации исследуемых моделей.

Утреннее заседание третьего дня конференции оказалось целиком посвящено исследованиям африканских языков. В докладе О.В. Кузнецовой (Санкт-Петербург) рассматривалась проблема выделения превербов в языке гуро (южная группа семьи манде). По словам О.В. Кузнецовой, в большинстве языков манде выделяются локативные превербы, восходящие к релятивным именам слокативной семантикой и слабо отделимые от глагольной основы. В языке гуро подобные единицы гораздо сильнее отделимы от глагола, тем самым они по своим свойствам сближаются с некоторыми другими релятивными и автосемантическими именами, способными занимать ту же синтаксическую позицию. Свойства «превербов» О.В. Кузнецова рассмотрела в сравнении с этими именами, проанализировав возможность выделения превербов как отдельного класса морфем.

Проблемам грамматики другого языка южной группы семьи манде был посвящен доклад Е.Л. Кушнир (Москва), в котором шла речь о некоторых грамматических свойствах топикизации в языке яурэ. Е.Л. Кушнир описала свойства глагольного маркера топикизо-

ванного актанта, а также свойства показателя топики *le''* как клитики. По ее словам, данные особенности топикизаторов в яурэ не похожи на свойства соответствующих показателей в близкородственных языках, кроме того, их поведение нарушает некоторые важные правила морфосинтаксиса.

М.Б. Коношенко (Москва) предложила подробный анализ морфосинтаксиса притяжательных именных групп в языках манде. Как отметила М.Б. Коношенко, языки манде отличаются единообразием в том, что касается базовой синтаксической структуры. Все они имеют очень строгий порядок слов SOVX, а также одинаковый порядок следования элементов внутри именной группы. В атрибутивной группе определение всегда следует за определяемым (N + Adj), в притяжательной группе обладатель предшествует вершине (NP_{poss} + NP). Однако при более подробном рассмотрении притяжательных групп с отчуждаемой принадлежностью в языках манде оказывается, что это единообразие не более чем поверхностно, поскольку в разных языках такие группы имеют различную синтаксическую структуру. В одних языках притяжательный показатель синтаксически относится к обладателю (зависимому), в других – к обладаемому (вершине).

Наконец, в докладе А.Б. Шлуинского (Москва) было предложено сопоставление структурных характеристик «сериальных конструкций» в языках ква на материале 20 языков этой семьи. Как показал докладчик, несмотря на многочисленные попытки определять сериальные конструкции через набор формальных признаков, даже в рамках одной языковой семьи имеется целый ряд типологических возможностей. В своем докладе он рассмотрел такие признаки, как общий синтаксический субъект, общее модально-видо-временное маркирование, общее отрицание у глаголов в сериальной конструкции и отсутствие показателя синтаксической связи между ними.

Дневное заседание открыло выступление Ю. Конумы (Санкт-Петербург), посвященное так называемым ограничителям – аспектуальным операторам, участвующим в акциональной модификации – в японском языке. В системе этого языка имеется три ограничителя, представленные суффиксами конверба со вспомогательными глаголами. В качестве последних в двух из трех ограничителей функционируют дейктические ориентиры: центростремительный и центробежный. Целью доклада было определить функционально-семантическую компетенцию двух дейктических ограничителей, центростремительного *tek-* и центробежного *-te-ik-*, в системе японского глагольного аспекта.

Д.Ф. Мищенко (Санкт-Петербург / Франция) сосредоточилась на нескольких наиболее интересных аспектах функционирования сложных глаголов в башкирском языке: степени их грамматикализованности, ограничениях на сочетаемость компонентов в зависимости от значения и формальных свойств главного глагола и акциональной характеристики глагола в форме деепричастия, на семантике сложных глаголов и на их морфосинтаксических особенностях. На основании ряда критериев она противопоставила сложные глаголы свободным бипредикативным сочетаниям, лексикализациям и синонимическим конструкциям.

К.А. Ершова (Москва) описала пути грамматикализации нескольких форм, образованных от глагола *ž'əʔe-* 'говорить', в бесленевском диалекте кабардино-черкесского языка. К.А. Ершова рассмотрела три конструкции: конверб, вводящий чужую речь и целевые придаточные, адвербиальную конструкцию, используемую в сочетании с прохибитивом и отрицательным оптативом, и форму, выступающую в качестве цитативной частицы. По мнению автора доклада, рассматриваемые формы от глагола *ž'əʔe-* 'говорить' находятся на разных путях грамматикализации и в различной степени утратили черты полноценных словоформ.

Заключительную секцию конференции открыл доклад М.Л. Федотова (Санкт-Петербург), посвященный анализу значений перфектива и имперфектива (дуратива) как соотносящих «время ассерции» ('topic time' по В. Клейну) с «точкой отсчета» ('point of reference' по Г. Рейхенбаху), то есть в качестве таксисных значений. По словам М.Л. Федотова, при таком анализе происходит отказ от выделения в составе значений перфектива и дуратива фазовых компонентов («вложенность» времени ситуации во время ассерции и наоборот). Значение (широкого) перфектива формулируется при этом следующим образом: «Время ассерции не пересекается со временем отсчета». Значение дуратива формулируется так: «На протяжении времени ассерции реализуется только срединная стадия ситуации; время ассерции пересекается со временем отсчета».

В выступлении И.М. Горбуновой (Москва) на основе экспедиционного материала демонстрировалась проблема построения типологически-ориентированной акциональной классификации по методу С.Г. Татевосова для языка, видо-временная система которого включает в себя форму фактатива. К языкам с такой структурой видо-временной системы метод С.Г. Татевосова не может быть применен без некоторых поправок, поскольку, с одной стороны, форма фактатива для многих предикатов

является единственной доступной, а с другой стороны, эта форма не может приниматься в расчет при построении классификации. И.М. Горбунова продемонстрировала наличие такой формы в языке атаял австронезийской семьи, не учтенной в существующих описаниях видо-временной системы данного языка, и предложила ряд поправок к методу С.Г. Татевосова, которые позволяют построить акциональную классификацию для данного языка, обладающую хорошей предсказательной силой и отвечающую ограничениям на акциональные системы.

Г.А. Мороз (Москва) рассмотрел ареальное распределение и морфологию адвербиальной конструкции временной частотности, использующей схему «(X) что X» в значении 'каждый X', отмеченной в ряде языков Восточной Европы. Как показал исследователь, распределение языков, в которых представлена данная конструкция, во многом совпадает с территорией Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой: это белорусский, кашубский, литовский, польский и украинский. Особняком стоят чешский и словацкий языки, в которых конструкция имеет вид «X со/šo X». По словам Г.А. Мороза, эта конструкция интересна своей падежной вариативностью (именная группа может быть в именительном, винительном или родительном падежах); ее описание, выполненное с опорой на корпуса текстов, также было приведено в докладе.

В заключительном докладе конференции Д.С. Ганенков (Москва) рассказал о результатах исследования диахронических изменений в семантике, синтаксисе и морфологии формы конъюнктива на материале языков даргинской группы нахско-дагестанской семьи. Он показал, что в некоторых языках конъюнктив претерпел эволюцию от чисто обстоятельственной формы к форме, используемой преимущественно в конструкциях с обязательным референциальным контролем субъекта зависимой клаузы. Такое изменение сферы употребления конъюнктива, по словам Д.С. Ганенкова, сопровождалось изменением в морфологии конъюнктива и синтаксическом статусе возглавляемой им клаузы.

По уже сложившейся традиции, материалы всех выступлений будут опубликованы в периодическом издании «Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований».

Д.Ф. Мищенко

Сведения об авторе:

Дарья Федоровна Мищенко
Институт лингвистических исследований РАН
zenitchiki@yandex.ru

Международная конференция
«Понимание в коммуникации. Человек в информационном пространстве»

22–24 ноября 2012 г. в Ярославле состоялась конференция «Понимание в коммуникации. Человек в информационном пространстве», организованная ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и МГПУ при поддержке РОПРЯЛ, которая объединила два научных мероприятия: ежегодную конференцию ярославцев и проводящуюся каждые два года междисциплинарную конференцию, которая в 2009 и 2011 гг. проходила в Московском городском педагогическом университете, а до того в МГУ и других вузах. Поскольку тематика обеих встреч близка, объединение оказалось плодотворным: число участников превысило 300 человек. А благодаря гранту РОПРЯЛ удалось организовать лекции специальных гостей, опубликовать доклады.

Характерной особенностью встречи было объединение усилий практиков, описывающих функционирование языка и других знаковых систем в современных информационных пространствах – медиа, рекламе, интернет-коммуникациях, – с глубоким анализом языковых, психологических и социальных основ коммуникации. Тон здесь задавали вынесенные на пленарное заседание выступления признанных корифеев теории коммуникации. В докладе известного психолингвиста Е.Ф. Тарасова (Москва) формулировались онтологические и гносеологические основы теории понимания, взятые в деятельностном (в соответствии с традицией советской психологической школы) аспекте. Доклад одного из основателей лингвокультурологии В.А. Масловой (Белоруссия) демонстрировал возможности использования лингвокультурологического аппарата для вскрытия особенностей процесса понимания, в частности, художественных текстов. В выступлениях В.И. Жельвиса (Ярославль) и Г. Кундротаса (Литва) рассматривались две стороны речевого этикета: оскорбление и вежливость (последняя – в сравнении речевых формул русского и литовского). Усилия по вскрытию фундаментальных основ понимания были предприняты и в лекциях приглашенных гостей – А.А. Кибрика (Москва), А. Мустайоки (Финляндия) – автора давно разрабатываемой теории непонимания, Ж. Вершурена (Бельгия), который дал блестящий анализ понимания ряда концептов в дипломатическом и обыденном дискурсе. Лекция Е. Протасовой (Финляндия), посвященная пониманию в смешанных семьях, и лекция А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского (Москва), анализирующих понимание фразеологизмов в зависимости от известности и

структуры, объединяли в себе глубину анализа и обращение к интересному материалу.

Аналогичные задачи решал и круглый стол – мероприятие, традиционное для конференций по пониманию. В данном случае организаторы сосредоточили внимание на проблемах направления, называемого «юрлингвистика», т. е. языковые основы лингвистической судебной экспертизы. Впрочем, в выступлении А.Н. Баранова, известного как практической экспертной деятельностью, так и осмыслением ее в учебном пособии «Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика», было предложено говорить о более широком виде деятельности – лингвистическом консультировании, так как не всегда дело доходит до суда. А.Н. Баранов отметил такие ждущие своего решения теоретические проблемы, как возможность использования в экспертизе имплицитной информации, создание метаязыка для учета взаимодействия вербальной и невербальной частей анализируемого сообщения и ряд других. В дискуссии выступили такие признанные специалисты в области лингвистической экспертизы, как Е.С. Кара-Мурза, Е.Г. Борисова (Москва), В.И. Жельвис (Ярославль) и многие лингвисты, имеющие практический опыт проведения экспертиз. А если добавить сюда доклад известного прагмалингвиста И.А. Стернина (Воронеж), посвященного проблемам экспертизы, можно признать, что обсуждение получилось разно-сторонним и действительно необходимым экспертному сообществу.

Секционные заседания были посвящены темам, традиционным для конференций по пониманию. Одной из самых многочисленных традиционно оказалась секция «Лингвистические основы понимания», где в докладах – сделанных и представленных в сети в отсутствие исследователей – изучались структурные единицы языка в функциональном или когнитивном аспекте. Так, К. Инчауральде (Испания) пытался использовать представление о знании для описания особенностей лексики и фразеологии японского языка. Т.В. Белошапкина (Москва) предлагала использовать для описания видов глагола когнитивные и прагматические факторы (например, роль видов в организации нарратива). Активно использовались когнитивные методы, а также анализ концептов при описании лексики в докладах С.Ю. Семеновой (Москва), А. Лабутиной (Самара), Т.М. Цветковой (Москва), А.Э. Левицкого (Украина), Е.А. Чернявской, О. Печенкиной (Брянск), А.С. Бут

(Москва). Глубокий онтологический анализ концепта дан в докладе А.Е. Бочкарева (Нижний Новгород). А его землячка Е.А. Ванчикова продолжила разработку исследования синтаксисом с точки зрения выражения предикативности. Отдельного отзыва заслуживает доклад известного ярославского лингвиста и коммуникативиста В.Н. Степанова, показавшего тактики (в частности, провоцирование) эмоциогенности речи. Заметим, что наряду с докладом А.А. Котова и сообщением С. Корычанковой (Чехия) об эмоциональной чешской лексике, выступление В.Н. Степанова явно свидетельствует о фокусировании внимания коммуникативной и прагматической лингвистики на эмоциональной составляющей речи. Еще одна тема, выдвинувшаяся в центр внимания на данной конференции, это речевой этикет. Эта тема была затронута на лингвистической секции в докладе И.И. Валуйцевой и Г.Т. Хухуни (Москва). Она прозвучала также в сообщении А.С. Паниной (Москва) на секции межкультурной коммуникации и, как мы уже упоминали, на пленарном заседании.

Весьма многочисленная секция, посвященная пониманию произведений литературы и искусства, может свидетельствовать о восстановлении единства филологии, еще недавно непримиримо отвергавшегося большинством лингвистов, причем в ее лоне находится место и коммуникативным методам, и семиотике. В частности, большинство докладов демонстрировало, как современные лингвистические методы могут использоваться при анализе художественных текстов: выступления Е.Ю. Геймбух, Н.М. Девятовой (Москва), И.Р. Жиленко (Украина), О.А. Лукина (Белоруссия), О.Е. Ермилиной (Москва), А.В. Некрасовой (Тверь), Л.А. Якушевой и Е.Ю. Филипповой, а также Е. Ключниковой (Вологда), Н. Родионовой (Самара), Е. Комлевой (Германия), Н.Н. Кульчицкой (Орел), О.М. Мудриченко (Санкт-Петербург), А.А. Рыбаковой (Краснодарский край) и целой плеяды ярославских филологов: Л.А. Гавриловой, Л.А. Гусевой, С.С. Лобинской, М.В. Петровой и Г.Ю. Филипповского. Доклады хозяев конференции были посвящены также анализу феномена аудиокниги (А.А. Дмитриева, М.Г. Пономарева) и пониманию иконы в храме (Т.В. Юрьева).

Традиционно популярной на конференциях по пониманию является и секция, посвященная педагогическим проблемам. На этот раз эти вопросы рассматривали одновременно с психолингвистическими. Здесь прозвучали и собственно методические рекомендации, например, в выступлениях Н.В. Харченко и Г.В. Калмыкова (Украина), К.М. Стасько,

О.А. Сулеймановой (Москва), С.Ю. Тюрина (Иваново) и многих других, и общие психологические и психолингвистические соображения и результаты исследований в сообщениях Н.П. Пешковой (Уфа), З. Кармановой, О.Н. Барановой (Москва), Е.А. Барашкиной (Самара), Л.И. Беляевой (Орел) и др. Заметим, что некоторые психологи и педагоги выступали на других секциях, посвященных анализу массовых и межкультурных коммуникаций, что сделало соответствующие обсуждения многограннее. Так, психолог Т.Я. Аникеева (Москва) говорила о психологии деятелей СМИ, Е.Г. Тарева (Москва), Г.В. Токарева (Иваново), А.Е. Оторочкина (Ярославль), А.К. Доммазян, Е.Ю. Колышева (Москва) и другие говорили об учете межкультурных различий в преподавании неродных языков и культур.

В целом секция «**Понимание в межкультурной коммуникации**» собрала немало интересных докладов, опирающихся преимущественно на данные языков. Это выступления уже практически постоянных участников О.И. Максименко (Москва), Н.М. Нестеровой (Пермь) об особенностях понимания в переводе, Е.А. Масленниковой (Тверь), а также сообщение М.Ю. Евтеевой (Москва), опиравшееся на анализ немецких залоговых конструкций, Л.Г. Видуловой и А.В. Завриной (Москва) по истории графемки, И. Токаревой (Санкт-Петербург) о языках русских городов и др. Немало сообщений затрагивало коммуникативные аспекты межкультурной коммуникации, в частности, выступления Л.Г. Дмитриевой (Уфа), К.М. Шилихиной (Воронеж) и Е.В. Якушевой (Волгоград), рассмотревшей ту же тему внутрисемейной коммуникации, которая уже звучала в лекции Е.Ю. Протасовой.

Секция «**Понимание в системе “человек – компьютер”**» была посвящена двум аспектам этой проблемы: созданию и использованию компьютерных программ, обеспечивающих такую коммуникацию, в том числе, в учебных целях: это доклады О.К. Королевой, И.А. Каннуниковой (Москва), А.А. Певзнера и С.С. Шахназарова, С.Н. Прохоровой, Н. Смоляковой (Ярославль), Е.Б. Староверовой (Иваново) по педагогической проблематике, В. Вдовина, А. Муравьева, А. Певзнера (Ярославль) о распознавании зрительных образов, а также представленные заочно доклады М.И. Канович и З.М. Шалыпиной (Москва) о синтезе русских текстов. А с другой стороны, множество докладов и сообщений анализировало речевое поведение в Интернете, в том числе и в социальных сетях. Это сообщения М.В. Белякова (Москва) о «юзабилити»

сайтов, О.Я. Гойхмана, А.А. Качановой (Москва), Э.М. Рянской и А.С. Балкуновой (Нижевартовск) по аспектам языковой личности в Интернете, Н.В. Трошиной (Брянск), А. Либшнер (Германия / Архангельск), Л.П. Сон и Л.П. Рыжовой, Н.В. Явцкой (Москва) по языку интернет-коммуникации.

Большой интерес вызвало заседание секции «**Понимание в массовых коммуникациях**», где выступили представители Санкт-Петербургской школы медиалогии Н.К. Карасева, рассмотревшая различия в языке разных каналов связи, Т.В. Жаркова, рассказавшая о языковом манипулировании. Кроме того, заочный доклад представила А. Потсар. Интересные доклады по отражению в СМИ актуальных политических событий были подготовлены студентами нескольких петербургских вузов – учениками Е.В. Ягуновой (СПбГУ), продемонстрировавшими владение широким спектром лингвистических методов, включая квантитативные, и умение использовать их в изучении массовой коммуникации. Высокий научный уровень был продемонстрирован в докладах А.В. Глазкова (Москва) о неактуальном (оторванном по времени) прочтении новостных текстов, Н.Г. Нестеровой (Томск) о стратегиях контроля понимания в радиодискурсе, О.И. Максименко и П.П. Зверевой о принципах имагологии, И.Ф. Беляевой (Москва) о комическом в новостях и Е.Ю. Баслиной (Ярославль) о демотиваторах. В заочных оказались ожидавшиеся доклады Е.И. Клинка (Барнаул) о PR-жанрах, Т.А. Мейкшане (Белоруссия) о представлении А. Брейвика в новостях, О.И. Северской (Москва) об «инфотейменте» и ряд других.

Близкой по подходам оказалась секция «**Понимание в общественно-политических коммуникациях**», где прозвучали сообщения по анализу политических текстов, в частности Е.С. Кара-Мурзы (Москва), проанализировавшей признаки агитации, И.В. Шустинной (Ярославль), давшей анализ предвыборной агитации в городе, М. Мартыненко (Москва) об отражении конфликта в Сирии, С.А. Дондо о лексике различных политических сил, Е. Севериновой (Москва) о предвыборных манипуляциях. Кроме того, участники секции рассказали об отражении в коммуникации общественных отношений: В.Н. Гурьянчик (Ярославль) рассмотрела коммуникацию в процессах менеджмента, Ю.А. Воронина (Москва) сообщила о медиа-холдингах Индии и Китая, А.А. Чернега (Пермь) о музейной коммуникации, П.Н. Хроменков (Москва) о социальном протесте и др. Привлекли внимание прозвучавшие и представленные заочно со-

общения С.А. Тихомирова (Москва), В.А. Малаховой (Волгоград), Г.М. и М.П. Концевых (Белоруссия), Р.К. Дроздова (Рязань), которые наряду с сообщениями на секции по массовым коммуникациям позволили достаточно полно и разносторонне рассмотреть современные медиа и другие коммуникационные средства.

Сходные проблемы, но уже конкретно по **маркетинговым коммуникациям**, решались на соответствующей секции, где особенно широко была представлена ярославская школа коммуникационного анализа. В докладах Н.В. Аниськиной об апелляции к семейным ценностям, Т.В. Колышкиной и Е.Л. Маркиной об упаковке, Л.В. Уховой об использовании стереотипов, А.А. Шустина о поликодовости, Т.П. Курановой о речевом манипулировании в наружной рекламе, Т. Роузовой о продвижении бренда были продемонстрированы фундаментальный (лингвистический, психолингвистический, культурологический) подход в сочетании с оперативной реакцией на новейшие тенденции рекламного рынка региона и России в целом. Наряду с хозяевами встречи интересные сообщения представили москвичи (Е.В. Кеслер о рекламных стереотипах, Ю.Б. Ионов об эдвертейменте, Л.М. Гончарова о рекламе в туризме, Н.В. Исаева, А.В. Солопенко, О.М. Сластикова и др.), жители Волгоды (А.М. Новоселов о территориальном бренде), Санкт-Петербурга (Л.В. Балахонская, Е.Н. Геккина, М.В. Ухватава). С учетом заочных докладов представителей Нижнего Тагила М.С. Алексеевой и Е.В. Полюговой, Самары (Т.П. Романова о нейминге) география рекламных исследований была представлена достаточно широко.

Интересные доклады, носящие обобщающий характер, были заслушаны на секции «**Общие проблемы понимания**». В частности, Я.А. Бондаренко (Украина) рассмотрела роль понимания в коммуникативной деятельности, А.Г. Лисицын (Москва) затронул вопрос о доверии в коммуникации, И.А. Соколова (Москва) сравнила понимание журнальных и книжных текстов, А.В. Алешковская (Санкт-Петербург) изучала читабельность в целом, В.В. Рыков (Москва) представил модель пространства понимания, а Е.Ф. Киров (Москва) предложил новый взгляд на знаки препинания, Е.Н. Цветаева (Москва) рассматривала понимание через призму мифосемантики. В заочном докладе А.В. Явцкого (Москва) ставился вопрос о презумпции осмысленности, В.И. Тармаева (Улан-Удэ) затрагивала дивинацию, Г.С. Попова (Якутск) писала о тексте культуры, Т.А. Чеботникова (Оренбург) – о речевой роли-маске.

Не все желавшие принять участие в конференции смогли попасть в Ярославль. Присланные ими доклады были выложены в Интернете, а к началу конференции напечатаны, что позволило обсуждать их в ходе конференции.

При подведении итогов выявились некоторые общие положения. Стало очевидно, что изучение современных условий функционирования языка является очень важной частью лингвистических исследований, необходимой и для моделирования речевой деятельности, и для описания структурных единиц языка – лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики и фонологии. Причем эти исследования вышли из состояния «описания и наименования» явлений, на которые просто никто раньше не успел обратить внимания (по крайней мере, в России). Этот этап тоже был нужен; теперь, опираясь на его результаты, необходимо и возможно делать серьезные описания коммуникативных аспектов речевой (и шире, речемыслительной) деятельности на уровне доказательности, достигнутом в других направлениях лингвистики (хотя бы семантики, типологии и т.п.).

Плодотворное сотрудничество представителей различных языковедческих школ, а также других гуманитарных дисциплин (психологии, социологии, компьютерной науки) – это уже общепризнанная тенденция, реализующаяся и в создании когнитивной науки, и в таких прикладных областях, как медиалогия, рекламистика. Поскольку конференция «Понимание в коммуникации» проводится уже в течение десяти лет, в ней проявилось интересное стремление многих исследователей выступать в различных областях (в реалиях конференции это означает – на разных секциях). Особенно важно то, что при этом активно используются матема-

тические и компьютерные методы исследований (тут хотелось бы отметить А.А. Котова (Москва) и Е.В. Ягунову (Санкт-Петербург), представивших очень интересные результаты в областях, где до сих пор обращение к математике было нечастым – в описании эмоций и политического дискурса). Это показывает, что период приблизительных рассуждений, который, по уверению их авторов, сменил структуралистскую эру строгости 60–70-х гг., подходит к концу.

И по-прежнему остается важным взаимодействие теоретиков и практиков, плодотворность которого уже вполне осознана и теми, и другими (впрочем, на конференции были участники, ранее выступавшие как практики, а теперь продемонстрировавшие новые теоретические подходы, в частности Е. Кеслер (Москва).

В заключение приятно заметить, что некоторые доклады и сообщения исследователей, например, сообщение об управлении пониманием, сделанное Е.Г. Борисовой, а также доклад Е.С. Кара-Мурза об избирательных спорах, Нели Ивановой (Болгария) о концептах, а до какой-то степени и теория непонимания А. Мустаюки и некоторые другие, явно являются результатом многолетнего участия авторов в программе «Понимание в коммуникации».

Е.Г. Борисова

Сведения об авторе:

Елена Георгиевна Борисова
Московский городской педагогический университет
efcomconf@list.ru

XLIV Виноградовские чтения в МГУ

16 января 2013 г. на филологическом факультете МГУ состоялись XLIV Виноградовские чтения. В программу чтений вошли девять докладов, объединенных темой «Учителя и ученики, соратники и последователи». Программа была сформирована таким образом, что тема личностных и научно-идеологических отношений в науке рассматривалась в историко-биографическом, науковедческом, системно-грамматическом, литературоведческом и текстологическом аспектах. В Виноградовских чтениях 2013 г. приняли участие лингвисты, литературоведы и историки науки, представители разных научных школ Москвы и Санкт-Петербурга.

В начале чтений прозвучало приветствие проф. кафедры русского языка МГУ М.Ю. Си-

доровой, которая говорила о непреходящем значении книги В.В. Виноградова «Русский язык (Грамматическое учение о слове)» и всего его научного творчества в целом для филологов всех поколений.

Научную программу чтений открыл доклад П.А. Леканта (Москва) «Синтаксис в виноградовской академической грамматике глазами преданного ученика». Докладчик рассказал, как, будучи аспирантом, он посещал блестящие, полемические лекции академика Виноградова, воспоминание о которых он сохранил на всю жизнь, и, хотя и не является прямым учеником В.В. Виноградова, в своей научной деятельности считает себя хранителем и продолжателем высокой виноградовской традиции. Обратившись к основной

теме, П.А. Лекант проанализировал структуру и содержание второго (синтаксического) тома академической грамматики 1952–1960 гг. Докладчик отметил определенную непоследовательность точек зрения, представленных в разных разделах, что, по его мнению, может быть объяснено продолжительным сроком работы над томом (работа была начата в 1946 г.) и значительно расширившимся кругом авторов. Особенностью синтаксического тома первой академической грамматики XX в. стало polemически окрашенное Введение, написанное главным редактором грамматики академиком В.В. Виноградовым; в этом введении Виноградов предлагает свое видение синтаксической системы русского языка и формулирует задачи синтаксической науки середины XX в. П.А. Лекант, остановившись на классических синтаксических объектах и идеях, назвал понятие предикативности, введенное В.В. Виноградовым, «спасением от морфологизма в синтаксисе». Высоко оценивая вклад виноградовской академической грамматики в описание системы русского языка, П.А. Лекант поставил эту грамматику в один ряд с замечательными грамматическими сочинениями М.В. Ломоносова и И.И. Давыдова. Каждую из этих книг отделяет от предшественницы сто лет; значительные исторические сроки соотносятся со значительными явлениями в истории грамматической науки.

В.Б. Крысько (Москва) в докладе «У истоков славянской литературы: канон первоучителю Кириллу» напомнил аудитории о забытом русском ученом А.Д. Воронове – авторе книги «Главнейшие источники для истории свв. Кирилла и Мефодия» (1877). Были подведены итоги работы по реконструкции оригинального греческого текста и славянского перевода канона Кириллу Философу. В реконструированном оригинале установлено наличие акростиha, означающего ‘славу Кириллу Василий Философу пою’. Канон является произведением греческого автора, по-видимому, проживавшего в Риме, – неизвестного по другим источникам Василия, а его создание датируется первыми годами после beatизации Кирилла Философа. Докладчик показал, что перевод канона на старославянский язык кажется естественным отнести ко времени процветания кирилло-мефодиевского дела в Великой Моравии и Паннонии, а авторство перевода представляется возможным приписать старшему из первоучителей, ни словом не упомянутому в каноне, – архиепископу Мефодию.

Два доклада в программе чтений были посвящены 75-летию безвременно ушедшего А.П. Чудакова – замечательного филолога, уче-

ника В.В. Виноградова, комментатора научного наследия академика.

В.Б. Катаев (Москва) прочитал доклад «А.П. Чудаков – ученый и человек». Говоря о таких сторонах личности А.П. Чудакова, как талант ученого и талант литератора, докладчик сопоставил А.П. Чудакова с Тыняновым и Шкловским, которые своим творчеством опровергли расхожее мнение, что удел филолога – это стихи в стенгазету и обсуждение чужих стихов. Докладчик говорил о том, как свою теорию художественного творчества, разработанную при исследовании Чехова, Чудаков-литератор воплотил в своем романе-идиллии «Ложится мгла на старые ступени», в котором в лице главного героя предстает alter ego создателя романа. Подробнейшие изображения вещного, предметного мира, в основе которых лежат детские впечатления, воспоминания о семье, разнообразные опыты физического труда, стали важной стороной романа и художественным воплощением в произведении Чудакова-литератора той филологической идеи, которую высказал Чудаков-чеховед – о принципиальной неотделимости героя от вещного мира. Другой творческой стороной романа стало внимательнейшее отношение к слову, автор «уловил и собрал летучий словесный материал», высказавшись прямо: «Мир не имел невербального существования, вещи не обладали предметной телесностью – они рисовались буквами, но это была не молчаливая буквенность – они звучали целостностью слова. И не одного – всплывала их вереница, весь синонимический ряд».

В докладе В.Н. Базылева (Москва) «Комментарий А.П. Чудакова к “Избранным трудам” В.В. Виноградова» речь шла о двух разных принципах научного комментирования, осуществленных А.П. Чудаковым в двух разных томах, выход которых разделяет более чем десятилетие, – это «Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя» (1990 г.) и «Язык и стиль русских писателей. От Гоголя до Ахматовой» (2003 г.). Докладчик проследил, как А.П. Чудаков переходит от комментирования в 1990 г. стиля и «темных, невразумительных мест» в текстах В.В. Виноградова к комментированию в 2003 г. исторической обстановки, подробностей биографии, которые были фоном для произведений В.В. Виноградова. Интерес к стилю в книге 1990 г. можно объяснить и особенностями культурологической ситуации в стране, и тем, что комментатор находился «в тени» другого редактора тома, великого Д.С. Лихачева, и тем, что самим А.П. Чудаковым научный стиль Виноградова был назван эзотерическим стилем лингвистико-философских медитаций, а следовательно, нуждался в пояснениях. Докладчик объяснил смену принципа коммен-

тирования «современным историизирующим сознанием начала XXI в.». В комментариях к книге 2003 г. на первый план выходит исторический факт, осознание напряжения между исследуемой эпохой и современностью, что соответствует одной из важнейших особенностей научного мышления В.В. Виноградова, отмеченной А.П. Чудаковым, – «напряженному историзму». При комментировании работ В.В. Виноградова, посвященных литературе XX в., А.П. Чудаков движется от футуристов к ОПОЯЗу и формалистам и далее к обсуждению позиции В.В. Виноградова; комментатор обобщает: мысль В.В. Виноградова, сделав круг, вернулась к тому, с чего он начинал, – к общим проблемам поэтики, поздние работы – это маленькие статьи о литературных персонах и большие теоретические книги.

А.Н. Дмитриев (Москва) в докладе «В.В. Виноградов и ленинградские “младоформалисты”» коснулся вопросов истории гуманитарной науки. Докладчик поставил своей целью показать, как младшее поколение формалистов, ученики Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума Л.Я. Гинзбург, Б.Я. Бухштаб, В. Гофман и др., в конце 20-х – начале 30-х гг., в условиях кризиса формальной школы в литературоведении, обратились к идеям В.В. Виноградова.

А.А. Смирнов (Москва) проанализировал взгляды В.В. Виноградова и К. Фосслера на язык и творчество, ученые предстали как соратники и единомышленники с близкими научно-идеологическими позициями, центральной для обоих была проблема эстетической функции поэтической речи. К. Фосслер, исходя из каузального начала в языке, признавал высшей дисциплиной стилистику, а морфология, фонетика, синтаксис должны были, по его мнению, занимать в науке о языке подчиненное положение. К. Фосслер интерпретировал соотношение языковой системы и поэтического творчества следующим образом: в искусстве господствует право личности, в грамматике право коллектива. По К. Фосслеру, грамматический порядок вызывает в личности желание нарушать его; интерпретируя суть индивидуального словесного творчества, мыслитель предлагает заостренную полемическую метафору: соотношение грамматического порядка и пользователей языка похоже на общество, где все политические партии недовольны властью. Обратившись к позиции В.В. Виноградова, докладчик отметил, что академик ставил целью через изучение стиля, т. е. языкового воплощения, дать эстетическую оценку творчества, поэтому объяснима его критическая оценка трудов советских литературоведов 1940–50-х гг. Докладчик провел параллель между позицией В.В. Виноградова и высказыванием Р.О. Якобсона, который с

сожалением говорил о сходном: литературоведы глухи к языковой стороне литературного произведения, лингвисты невосприимчивы к художественно-эстетической функции речи.

Н.В. Перцов (Москва) обратился к стихотворению Пушкина, которое в свое время анализировал Л.В. Щерба, учитель В.В. Виноградова. Н.В. Перцов в докладе «Текстология одного стихотворения (“Воспоминание” Пушкина)» сопоставил пунктуацию в двух прижизненных публикациях стихотворения Пушкина «Воспоминание» (обе 1829 г.), а также неоправданные пунктуационные отступления от второй из них в Большом (17-томном) академическом полном собрании сочинений Пушкина. Неучет тонкостей пунктуации в современных воспроизведениях старинных поэтических текстов приводит иногда к искажению ритмико-мелодического облика стиха. Были предложены некоторые элементы текстологической нотации для отображения рукописного текста, а именно: средства для фиксации небрежно-слитного написания слов, альтернативных смежных вариантов, альтернативных вариантов с наложением, непрочитанных (неразборчивых) фрагментов, предположительно читаемых фрагментов. Была предложена транскрипция чернового автографа стихотворения, а в ней выделена ситуация вариантной текстологической неопределенности (т. е. невозможности с полной определенностью выделить реально испробованные автором промежуточные варианты). В автографе «Воспоминания» есть 20 строк, имеющих высокий художественный статус, но при этом не допущенных автором в печать, поэтому, согласно действующим правилам публикации, они приводятся в разделе вариантов. В связи с этим в докладе был поставлен вопрос о повышении «эдиционного статуса» такого рода фрагментов, т. е. о возможности их подачи рядом с основным текстом произведения – разумеется, с описанием в комментарии их чернового статуса.

Тему учителей и учеников продолжил М.Я. Дымарский (Санкт-Петербург) в докладе «Присоединение как особый тип синтаксической связи: от Л.В. Щербы – к В.В. Виноградову... дальше?», показав, как развивались и менялись взгляды лингвистов на присоединение после Л.В. Щербы и В.В. Виноградова. М.Я. Дымарский обосновал позицию, согласно которой присоединение рассматривается лишь как особый тип синтаксической семантики (отношений); особым типом связи автор присоединение не признает, трактуя его как разновидность сочинительной связи. В докладе была также предложена обновленная субкатегоризация понятий сочинения и подчинения, в соответствии с которой присоединение пред-

стает как один из случаев «парасочинительных отношений».

А.Д. Шмелев (Санкт-Петербург) прочитал доклад «Учителя, ученики и другие имена реляционной семантики». Имена реляционной семантики – это существительные, которые обозначают лицо и передают некоторое отношение данного лица к другим лицам. Реляционные существительные имеют субъектную валентность (род. п., притяжательные прилагательные или местоимения). К таким существительным, в частности, относятся некоторые названия социальных функций – *ученик, соратник, единомышленник* и т. п., а также термины родства. Докладчик обсуждал условия абсолютного употребления реляционных имен, особенности их соединения с кванторным местоимением *один*, а также познакомил слушателей с историческими изменениями в лексической семантике некоторых имен данной группы.

Отличительной чертой Виноградовских чтений 2013 г. стал конструктивный диалог лин-

гвистов и литературоведов. Чтения показали, что союз лингвистики и литературоведения, в котором состоит суть виноградовской традиции, является надежной опорой современного исследователя.

Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко,
Е.Н. Никитина

Сведения об авторах:

Галина Александровна Золотова
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
РАН

Надежда Константиновна Онипенко
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
РАН
onipenko_n@mail.ru

Елена Николаевна Никитина
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
РАН
yelenon@mail.ru

ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2013 г.

24 января 2013 г. в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва) прошли очередные (сорок четвертые) Виноградовские чтения. В этом году они были посвящены проблемам изучения истории языка. Организаторы чтений приняли решение открыть заседание докладом, посвященным вопросам этимологии.

В докладе Ж.Ж. Варбот (Москва) «О соотношении структурного и семантического аспектов анализа в праславянской этимологии» рассматривается «вечный» для этимологической методики (поставленный еще в конце XIX в.) вопрос о соотношении (связи/ приоритете) одного из двух основных аспектов этимологического анализа: структурного и семантического. Докладчик предлагает различать обращение к этим двум аспектам на уровне оценки этимологического решения и на уровне стимула к разработке нового решения. История выработки этимологического толкования праслав. **tryzna* свидетельствует о приоритете структурного анализа как критерия оценки. На опыте этимологизации праслав. **pestunъ*, **ordlo*, русск. *куница* показана необходимость гибкого сочетания структурного анализа с семантическим при первичной ориентации как на структурные соответствия, так и на семантическую близость. Ж.Ж. Варбот отметила перспективность этимологических гипотез, основанных на семантической близости, для обнаружения

неизвестных исторической грамматике потенциальных фонетических изменений. Также в докладе на опыте этимологизации русск. диал. *бизой* 'близорукий' была обоснована перспективность системного этимологического исследования на базе сочетания гнездового анализа с анализом лексико-семантических полей.

В докладе А.М. Молдована (Москва) «К текстологии 16 Слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского» было показано, что большая часть текстологических особенностей списков древнейшей редакции Слов появилась позднее, когда уже были переведены Толкования, иначе говоря, переводчик Толкований пользовался более ранним славянским текстом Слов.

С.М. Михеев (Москва) в докладе «О древнерусских глаголических надписях» рассказал о выявленных в настоящее время глаголических надписях-граффити на территории Древней Руси: это три надписи из киевского Софийского собора, 22 надписи из новгородского Софийского собора и по одной из двух церквей, расположенных около Новгорода (церкви Благовещения на Городище и Георгиевского собора Юрьева монастыря). До недавнего времени в научный оборот были введены только 11 из этих надписей. Новгородские глаголические граффити содержат ценные антропонимические данные: уникальные имена *Стръи*, *Дедята*, **Нашьгои*, типичные новгородские имена *Воята* и *Завидь*, интересную форму

имени *Григории – Григория*. На основании данных стратиграфии и палеографии комплекс дошедших до нас древнерусских глаголических надписей датируется временем не раньше середины XI и не позже середины XII века. Судя по лингвистическим и другим особенностям, все рассматриваемые надписи были выполнены восточными славянами. По мнению докладчика, широкая распространенность глаголицы в Новгороде позволяет утверждать, что во второй половине XI – первой половине XII века этот город был одним из главных центров глаголической письменности.

С.М. Толстая (Москва) в сообщении «Из истории понятий: *честь* и *честность*» отмечает, что концепт «честь» имеет две стороны – «внешнюю» (почитание, уважение и далее – почет, почести, знаки уважения, награда) и «внутреннюю» (высокие моральные качества, моральный кодекс). В русском языке оба типа понятий выражаются словом *честь* и его дериватами: ср., с одной стороны, *оказать честь* (уважение), а с другой – *задеть (оскорбить) чью-нибудь честь* (моральные принципы). В истории русского языка заметна тенденция к фразеологизации «внешних» употреблений слова *честь*, закреплению слова за ограниченным числом конструкций типа *оказать честь, в честь кого-л./чего-л.*, разг. *не в чести*, разг. *много чести, быть в чести* и т. п. Однако в свободном употреблении слово *честь* и его дериваты (*честный, честно, честность*) развивают в русском языке главным образом «внутреннюю» семантику, связанную с моральными качествами и установками человека. При этом происходит резкое сужение значений наиболее частотных дериватов слова *честь*, прежде всего прилагательного *честный*, которое в современном языке имеет значение «правдивый, лишенный обмана», что свидетельствует о значимости «правды» в системе моральных ценностей.

В докладе А.А. Пичхадзе (Москва) «О взаиморасположении глагольной формы и прямого дополнения в придаточных предложениях в древнерусском языке» шла речь о порядке в группе «личная форма глагола + прямое объектное дополнение» в независимых и – подробно – зависимых предикациях. Для исследования были взяты четыре текста

(Житие Андрея Юродивого, «Пчела», История Иудейской войны, Новгородская I летопись), а также берестяные грамоты (бытовые письма); статистические данные анализа докладчик представила в таблице. Различие между книжными текстами и письмами на бересте состоит в том, что в церк.-слав. текстах порядок сказуемого и дополнения по-разному проявляется в разных типах придаточных, в то время как в берестяных грамотах зависимость словоупотребления от типа придаточного предложения не просматривается.

В докладе П.В. Петрухина (Москва) рассматривались древнерусские двойные глаголы – бессоюзные сочетания двух глаголов, обладающие рядом особых семантических, синтаксических и просодических свойств (*ходит ворчит, лежит думает, пойду куплю, забегу узнаю, напился-наелся* и т. п.). Докладчик представил материал, показывающий, что аналогичные конструкции были характерны и для древнерусского языка, в частности для летописей (начиная с Повести временных лет) и берестяных грамот.

М.А. Малыгина (Москва) в сообщении «Особенности восприятия греческого текста славянскими переводчиками» рассмотрела некоторые ошибки перевода с греческого языка в гимнографических текстах (Минейный стихирарь по древнерусским спискам XII в.). Отмечено, что, хотя случаи ошибочного перевода немногочисленны, в тексте были обнаружены следующие ошибки: смешение гласных и согласных, перестановка слогов в греческом слове, смешение корней, неправильное деление на слова. Как отметила докладчик, часто ошибочное, возникшее при переводе слово органично вписывается в контекст: перевод согласован с общим смыслом контекста. В заключение были рассмотрены примеры ошибок переписчиков.

Следующие Виноградовские чтения по традиции планируется провести в январе 2014 года.

Ю.С. Капитанова

Сведения об авторе:

Юлия Станиславовна Капитанова
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
РАН

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Правила предоставления рукописи:

1. Материалы для публикации отбираются на основе анонимного независимого внутреннего рецензирования и решения редколлегии журнала. Все публикации для авторов бесплатны.

2. Рукопись предоставляется в электронном виде по адресу: voprosy@mail.ru (и по запросу в распечатанном виде). Также необходимо прикладывать нестандартные шрифты, если такие использовались.

3. Необходимо также предоставить подписанный договор о передаче авторского права (см. www.ruslang.ru, раздел «Издания»).

4. В сопроводительном письме должны быть указаны сведения об авторе: ФИО полностью, город, страна, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон, электронный адрес. С 2010 г. издательство «Наука» рассылает авторские экземпляры оттисков только по электронной почте. В связи с этим просим авторов не забывать указывать свой электронный адрес при подаче материалов в редакцию.

5. Непринятые рукописи не возвращаются.

6. Материалы, опубликованные ранее или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

7. Рецензии должны присылаться в редакцию вместе с экземпляром рецензируемой книги (по просьбе автора рецензии книга будет ему возвращена).

Основные правила оформления текста статьи:

1. Текст статьи должен быть предоставлен в формате Microsoft Word for Windows. Размер шрифта – 12, размер межстрочного интервала – полуторный. Название статьи и заголовки первого уровня набираются полужирными прописными символами. Заголовки более низких уровней оформляются в обычном регистре. Все заголовки выравниваются по центру. После заголовка статьи приводятся аннотация (на русском и английском языке) и ключевые слова (на русском и английском языке).

2. Примеры в тексте статьи принято давать курсивом, а их переводы в одинарных кавычках или в кавычках-елочках.

3. Для смысловых выделений используется разрядка 2 пт или полужирный шрифт, термины выделяются кавычками (не курсивом).

4. В хроникальных заметках фамилии набираются разрядкой. После фамилий в круглых скобках указывается город для авторов докладов из России и страна для зарубежных участников конференции: И.И. Иванов (Москва), Дж. Смит (Великобритания).

5. Инициалы не разделяются пробелом, а между инициалами и фамилией просьба ставить неразрывный пробел.

6. Сноски должны быть постраничными.

7. В тексте статьи ссылки на работы заключаются в квадратные скобки: [Иванов 1998]. После года выпуска ставится двоеточие и номер(а) страниц(ы): [Иванов 1998: 35] или [Иванов 1998: 35–50], [Иванов 1998: 35, 45, 50], [Иванов 1998: 35 и сл.; Haspelmath 2008: 23 ff.]. Во избежание недоразумений укажите инициалы автора: [А.Е. Кибрик 2003; А.А. Кибрик 2003]. Если в библиографии упоминается несколько работ одного автора за один и тот же год, нужно использовать буквенные уточнения: [Иванов 1998а; Иванов 1998б; Bailyn 1995а; Bailyn 1995б].

Основные правила оформления библиографии:

1. Список использованной литературы дается в конце статьи и упорядочивается по алфавиту. В этот список включаются только те работы, ссылки на которые есть в тексте статьи.

2. Библиография оформляется следующим образом:

Фамилия год – *И.О. Фамилия*. Название монографии. Город, год.

Фамилия год – *И.О. Фамилия*. Название статьи // Название журнала. Год. №.

Фамилия год – *И.О. Фамилия*. Название статьи // Название сборника. Город, год.

Итак, в списке нужно указать «код работы» (фамилия, год выхода цитируемой работы). Если авторов больше двух, допустимо упомянуть только одного автора плюс выражение «и др.» или «et al.». Далее через короткое тире дается полная ссылка на работу: курсивом выделяются инициалы и фамилия автора, после точки (уже прямым шрифтом) дается название работы. Если это монография, то после названия ставится точка и сообщается место и год издания, например:

Успенский 1994 – *Б.А. Успенский*. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

Если это статья, то после двойной косой черты (//) следует название журнала или выходные данные сборника, например:

Трубецкой 1990 – *Н.С. Трубецкой*. Общеславянский элемент в русской культуре // Вопросы языкознания. 1990. № 2.

«Кодом» сборника или иного аналогичного издания может быть фамилия редактора (или редакторов) или сокращенное название сборника:

Greenberg 1978 – *J. Greenberg* (ed.). Universals of human language. V.I. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals 1978 – Universals of human language. V.I. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3. Номера страниц, названия издательств в списке не указываются.

4. В названиях иностранных работ с прописной буквы пишутся только те слова, написание которых с большой буквы обусловлено правилами орфографии соответствующего языка (например, названия языков в английском).

Основные правила предоставления электронной версии графического материала:

1. Иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы и т.п.), использованные в статье, прикладываются в формате TIF с разрешением 300–600 dpi.

2. Векторные рисунки должны предоставляться в формате программы Adobe Illustrator или в формате EPS.

Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами.